

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

П. В. Басинский (Москва)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: О. Н. Вялкова

Корректурa: Л. П. Челнокова

4/2018

Содержание

ПРОЗА

Геннадий БАШКУЕВ. Чемодан из Хайлара. Роман с одушевленными предметами.	3
Полина ДЕНИСОВА. Выкидыш. Рассказ.	56
Алексей ПАЛИЙ. Жизнь собачья. Рассказ.	70
Владимир ЗЛОБИН. Как скрипит горох. Рассказ.	88
Алексей СОЛОВЬЕВ. Птичий спорт. Рассказ.	108
Анатолий БИМАЕВ. Великое посольство профессора Петрова. Рассказ.	120
Наталья ЕЛИЗАРОВА. Плачущий Будда. Рассказ.	126

Новые имена

Давид ШАХНАЗАРОВ. Гора. Рассказ.	130
--	-----

ПОЭЗИЯ

Александр РАДАШКЕВИЧ. На Эоловых островах. Стихи.	51
Владимир БЕРЯЗЕВ. «Я устал забывать имена...» Стихи.	64
Вероника ШЕЛЛЕНБЕРГ. Снегопад в апреле. Стихи.	85
Игорь МУХАНОВ. «...Все то, что существует без названия». Стихи.	105

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Сергей ЗАПЛАВНЫЙ. «Непроливашка» Липатова.	141
Олег СИДОРОВ (АМГИН). «Мной оставленные песни в столетях сохранит народ...» О Платоне Ойунском.	159

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Михаил ХЛЕБНИКОВ. В ожидании топота «боевых лосей».	179
---	-----

Книжная полка

Лариса ПОДИСТОВА. В поисках главного смысла.	184
--	-----

Картинная галерея «Сибирских огней»

Тамара ДРАНИЦА. Аркадий Гутерзон.	187
---	-----

Авторы номера	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала "Сибирские огни"» М. Н. Шукин.

Геннадий БАШКУЕВ

ЧЕМОДАН ИЗ ХАЙЛАРА

Роман с одушевленными предметами

*Памяти дяди Мантыка,
мальчиком умершего от побоев
в провинции Хэйлуңцзян*

Вступление

...Они прорвали папиросную бумагу тумана, выпав из него с легким хлопком, — зыбкие и безликие, как и положено привидениям. Но не сразу — проявились по частям. По частям тела. Поэтому я не очень испугался. Успел привыкнуть к страху. Сначала плечо с погончиком, потом козырек кепи, красные петлицы, ботинки и обмотки с налипшей бурой глиной. Постепенно из бесцветного полотна соткались сизые ободки сабельных ножен, витая рукоять, ременная пряжка, штык-нож, пуговицы, кожаный подсумок. Обмотки и низ подвернутой шинели мокры и покрыты инеем. Части тела возникали и исчезали — непонятно, принадлежали они одному человеку или разным людям.

В городе еще не разожгли печи, однако пришельцы чего-то побаивались. Они вели себя словно собаки, забежавшие на чужую дальнюю улицу и долго нюхающие воздух, прежде чем броситься в драку.

Запахи у реки ранним утром тусклы. Их теснил свежий аромат коровьего навоза. Лоскуты тумана, потревоженные гулом с другого берега, колыхались сизым бельем на вешалах. Земля под ногами мелко дрожала. Мне представилось, что из страшной сказки вразвалку выполз дракон, которым пугал дядя Хамну, и на мощных коротких лапах двинулся в город, поочередно пригибая три головы к скользкой траве; дым из ноздрей мешался с пылью. Или это я дрожал от холода и страха?

Прежде был слабый плеск и скрип песка, я сначала принял их за незримое брожение стада за простыней речного тумана. Но потом слышался топот, покашливание, короткие команды. Шелест и скрип усилились. Сомнений быть не могло: лодку-плоскодонку вытащили на берег.

Туман проткнуло дуло винтовки. Из белесого омота выплыли лица. Заросшие подбородки, усы, капюшоны. Штык-ножи болтались на ремнях.

Кто-то вывалился передо мной во весь рост. Он озирался и пригибался, тяжелая шинель тянула к земле. Стало смешно: взрослые дяди, с ног до головы обвешанные оружием, боятся коров и пастушка!



При виде меня солдат дернулся, рука его сжала ножны. Смех застрял у меня в горле вместе с непрожеванным куском конины. Мгновение мы пялились друг на друга. Козырек мятого кепи надвинут на глаза, лицо нечистое, в прыщах, из-под тонких усов валил пар. Где-то шумно дышала корова. Солдат приложил палец ко рту; черный ноготь торчал из указательного пальца, палец — из обрезанной матерчатой перчатки. Он поманил меня пальцем с черным ногтем и ловко, как кошка, вырвал кусок мяса — мой завтрак.

Пока солдат чавкал, — кадык ходил вверх-вниз, — я стоял смирно. Рыгнув, он окунул кепи в туман и тихо свистнул. Проявился маленький, немногим выше меня, кривоногий японец, перемазанный с ног до каски — видать, падал не раз. Каска обтянута сеткой. Полы шинели отвернуты. Обмотки вообще превратились в желтые сапоги.

В этом изгибе реки Хайлар* имелся выход глины; русский купец даже наладил обжиг кирпича, но потом бежал в Америку, и заводик весну и лето стоял без хозяина, не чадил. Местный люд разломал заводской заборчик на берегу и безбоязненно брал сырец для печей и хозяйских нужд. Глиной дядя Хамну и другие пожилые хайларцы мазали больные колени, а женщины — руки, ноющие от стирки в холодной воде. Глины хватало на всех.

Неудачное место для переправы выбрали эти вояки. Про японцев в городе говорили давно — я сразу сообразил, что за гости такие тут. Мелькнуло: надо бы предупредить господина У, владельца лавки.

У перемазанного японца не было винтовки, зато в руке он еле удерживал большую катушку черного провода с палец толщиной. Провод уходил к реке. Расстелив на скользкой траве кусок брезента, пришельцы нырнули в туман и приволокли чемодан. Он был деревянный, лакированный, в стальных заклепках, видно, тяжеленный, будто набитый кирпичами из хайларской глины. Внутри оказался громоздкий телефон с ручкой, как у швейной машинки «зингер». Чемодан был не чета нашенскому.

История с чемоданом, украденным тревожной осенью 1935-го на маньчжурской станции Хайлар, вернее, подмененным на такой же, из слоеной фанеры, только с парой кирпичей внутри, стала родовой травмой нашей семьи, нашего рода.

Пропажа ценного чемодана была проклятием, но и обернулась силой, что не давала опустить руки. Ни перед плоским штыком, ни перед сытой, жующей серу продавщицей гастронома. Эта сила заставляла вставать затемно и с утра пораньше воевать с призраком голода; благодаря ей удалось дожить до амнистии, пережить трехпроцентные займы и очередное повышение цен, новые лики вождей на деньгах и разводы облигаций, переварить продуктовые карточки и водочные талоны, новую милицейскую форму и реформу, выдохнуть вонь примусов и нерафинированного масла в бараке, вытерпеть тесноту хрущевки и давку в трамвае. Эта потеря заставляла кипятить белье в чанах и биться в очередях за порезан-

* Хайлар — так в Китае называется река Аргунь в своем верхнем течении; на реке стоит одноименный город.



ным на куски счастьем: «Две штуки в одни руки, вон за той гражданкой в шляпке не занимать!»

Очередь осуждающе разворачивается: ну и шляпка! с розочками!..

В шляпке моя мама. Мужество высшего рода — каждого дня. Мама прошла, прожила японскую резню, ссылку, войну и похоронку, барачный быт, чьи свинцовые мерзости сродни рифам стиральной доски, — но продолжала делать маникюр, мазать кремом руки, чудовищно искривленные бесконечным мытьем и стиркой, из-за чанов с кипящим бельем бдительно следить за модой и ценами.

Она всю жизнь помнила о чемодане.

Каждый новый член семьи — новорожденный, невестка, родители невестки и иже с ними — в обязательном порядке выслушивал историю, трагедию и оду в одном фанерном футляре. Драматическую хронику утраты главной начинки чемодана — человеческого достоинства и обретения оно, что подразумевалось многозначительным поднятием бровей. Назло безымянному вору — пусть подавится ремнем от чемодана, что старикашка бараньим жиром!

Полвека спустя после японского вторжения баба Валя — так моя мама позиционировала себя после прибавлений в семействе — пыталась рассказать о пропаже чемодана грузчиком, ошибочно принятым за новых родственников со стороны моей жены. Грузчики слушать не стали, зато таксист, помогавший вносить вещи в квартиру, резюмировал:

— Суки! Ворье! Кирпичами расплющить! Шоб мокрое место!

В этом месте возникла моя жена — прямым из роддома, семенящая в обнимку со свертком, перемотанным синей лентой. Мама переключилась на нового родственника, в коем ошибиться невозможно.

Когда я с детской ванночкой на спине и ворохом тряпья под мышкой поднялся на пятый этаж, баба Валя держала сверток и второпях досказывала свежеепеченному внуку (его биологическая мать слышала эпос ранее) окончание хайларской трагедии, пока невестка распаковывала набухшую грудь. Рев младенца свидетельствовал о стихийном возмущении коварными замыслами похитителей чемоданов в частности и японской военщины в целом, а пинки изнутри роддомовского свертка однозначно требовали физической расправы над врагами народа в духе тех лет — без суда и следствия. Баба Валя с первого крика полюбила внука.

Я всегда поражался наглости и искусности маньчжурских воров. Поражаюсь по сию пору, философично покуривая на унитазе в третьем тысячелетии.

В новый дом и в новую жизнь я взял фибровый чемодан моего детства. В нем предметы перемешались и образовали пазл семейного и личного бытия последнего столетия. Смех, грех и страдания скрепила глина из Поднебесной. В известном смысле это тот же чемодан из Хайлара. Фибровый чемодан — правопреемник чемодана работы мастера Бельковича 1935 года. Законный наследник де-юре, исходя из де-факто.

Вместо шариков нафталина в чемодане со стуком перекатывались нефритовые близнецы — вдвое меньше пинг-понговых, но вдвое больше яичек стерилизованного кота Кеши, — отражаясь от фибровых стенок,

как от бортов детского бильярда размером с разворот газеты «Правда Бурятии».

Предварительная опись выполнена в порядке извлечения из чемодана. С виду сущие безделушки, укрытые тонкой ваткой памяти. Такой медицинской ватой прежде перекладывали стеклянные елочные игрушки.

Сбоку на посылке я нарисовал зонтик. И написал: «ППХ». Нет, не походно-полевой хер, как грузчик, ухватив чемодан, расшифровал пометку мелом сообразно личному кругозору. Чемодан грузчику я не доверил. Понес, кренясь, сам. Память, как хлеб, сама себя несет.

ППХ — «подлежит постоянному хранению», это из лексикона музейщиков. Отдаю отчет, что данные экспонаты до н. э., как и сам чемодан, выбросят внуки. И будут по-своему правы. Тем паче нижеуказанные экземпляры следует скорее описать. Описание лучше нафталина: никакая моль не страшна. Внуки прочтут — глядишь, не выбросят.

Порядковые номера я ставить не стал. Мало ли что, вдруг история вмешается и перемешает кости? Когда-то в прошлом веке, в эпоху фанерных посылок, сколачиваемых на почте сапожными гвоздиками, от клиента требовали составить опись вложения и оценить его. Иначе не принимали. Подразумевалось, что вложение может по пути следования немного эдак ужаться...

Отчего введения имеют свойство растягиваться наподобие хэйлунцзянской лапши? Оттого ли, что человек боится наступления холодного серого утра, завтрашнего дня? Тянет время. Верит сиюминутным ощущениям. Лапшу и удовольствие можно растянуть, а будет ли завтра маковая росинка иль рисинка во рту — иероглиф.

Надо бежать без оглядки, а он губы раскатал. Хайларца с соседней улицы предупредили, вспоминала мама. Хозяин задал корма коню, ну и сам решил заправиться перед дальней дорогой. Так, с лапшой во рту, его и обезглавили офицерской саблей с длинной рукоятью. Кровь залила обеденный стол томатным соусом, а лапшу в кастрюле доели солдаты. Сразу после ухода карателей мой дед Иста ходил в соседний дом успокоить вдову и позже рассказал жене, бабушке Елене, что голова с длинной лапшой на губах и с выпученными глазами лежала на столе. Ну а на чем ей было держаться?

Начало описи вложения положила Валентина Истаевна Мантосова в 1979 году, когда она без сожаления рассталась со вторым чемоданом работы Бельковича (первый, подмененный, был еще цел), одряхлевшим до Альцгеймера. Кругом одни евреи, выразился нетрезвый кочегар нашего барака дядя Володя, отправляя в топку останки рундука из Хайлара.

После акта кремации мама решительно щелкнула замками фибрового чемодана. Он был упруг, мускулист, приятной шоколадной масти, будто загорел на пляжах всесоюзных здравниц Крыма. Словно славно отдохнул вместе со мной в пионерском лагере «Орленок». Он задорно щелкал замками, вздымая скобку в пионерском салюте: «Всегда готов!» Готов сохранить семейные реликвии в кофре памяти.

Позднее вложения в посылку делал я. Толчком послужило новоселье. Я убоялся, что в грохоте ремонта канет в мусоропровод этот «компро-

мат», по словам жены. Так в фибровый чемодан попала, на сторонний взгляд, чепуха. Ворам тут пожить нечем. А с другого боку — дорогие вещи. Короче, ППХ.

Предлагаемое повествование, выходит, пояснительная записка к посылке. Опись вложения чемодана из Хайлара и его самого, пересылаемая в другое измерение. Опись прегрешений и суетливых телодвижений.

Ценность посылки из-за разности валют и времен не указана.

ОПИСЬ ВЛОЖЕНИЯ:

*чемодан фанерный работы Бельковича,
нефритовые шарики,
шапочка от куклы-нингё,
полкопейки СССР 1925 г.,
змеевик медный,
карандаш ВТО (огрызок),
номер газеты «Заря коммунизма»,
ракушка, варежки и монокуляр 8-кратного увеличения.*

P. S. В опись вложения не влез кирпич из Хайлара. Японский городской, не описывать же кирпич?!

Чемодан фанерный работы Бельковича

Фанерный чемодан, габаритами с больничную тумбочку, был для прочности обит железными уголками. В отличие от современных чемоданов, он был квадратного сечения. Уголки царапали пол. Чемодан опоясывали кожаные ремни, перетекавшие в кожаную же ручку. Возле ручки имелась дужка для замка. Вместо замка дед Иста, или Иван, как звали его русские товарищи (сам он был бурятом) по хайларскому участку КВЖД, приспособил скобу, которую стащил из тамошних мастерских.

Дед вообще тащил домой все, что плохо лежало, а в сумерках перекрашивал краденых лошадей. Сам Иста ничего не крал, у него духу не хватило бы. Это делали темные личности, хунхузы. По ночам они под уздцы приводили коней со стороны огорода.

Дело поставили на поток. Пришлым лошадиным навозом бабушка Елена удобряла огород, лук да картошку, иначе они бы на жесткой хайларской почве не выдюжили.

Виной сомнительному промыслу были не дурные склонности, а банальная нужда. Как ни бился глава семейства, как ни пластались по хозяйству его жена Елена и дочь Валя, моя мама, — бедность перла изо всех щелей. Все богатство семьи могло уместиться в фанерном чемодане.

Начать с того, что в Хайларе у них не было своего дома. Семья ютилась в избе, принадлежавшей богатому соплеменнику Шантыну. Посреди единственной комнаты возвышалась большая печь. Когда-то ее сложили русские люди, бежавшие от ужасов Гражданской войны. В Хайларе вообще было много русских. Избу отдали за долги Шантыну. И побежали дальше, кажется, в Австралию. Комнату перегораживали занавески: у Вали было две сестры и младший брат Мантык.

Вся семья была в услужении у Шантына — от мытья полов и стирки до огорода и пастьбы, потому что денег как таковых наши сроду не видели и отдать хозяину не могли. Иногда живыми деньгами — юанями или ланами серебра — с дедом расплачивались на заднем дворе за перекраску лошадей. В изменчивой атмосфере кануна гоминьдана дед Иста предпочитал ланы серебра. Бабушка Елена умоляла его бросить опасное занятие — докажи потом, что не крал, а лишь красил. Воровство в Китае самый страшный грех. Ты мог убить — и тебя могли оправдать, но за кражу — ни в жизнь! И жизнь, бывало, отнимали. Когда в Хайларе уже появился паровоз, притащивший из Чанчуня приметы цивилизации в виде телефона, фонарей и гулящих женщин, вора в Маньчжурии, случалось, прилюдно отрубали правую руку. Могу успокоить: чаще всего до подобных средневековых ужасов дело не доходило — воришек просто забивали на месте преступления.

Так вот о чемодане. И о ворах. Мало того что они не побоялись украсть среди бела дня на переполненном перроне — так обтяпали дельце изошренно. Пропажа была обнаружена лишь по прибытии в Верхнеудинск, незадолго до того переименованный в Улан-Удэ. Чужой чемодан походил на родимый, как похожи две капли воды. Вплоть до железных уголков, кожаных ремней и ручки и характерных разводов на фанере.

Чемоданы в Хайларе делали у еврея Бельковича, в единственной мастерской в городе в эпоху великого бегства, охватившего Евразию. Уродливые, но прочные чемоданы приносили неплохой гешефт. В принципе, подменить один экземпляр подобным было не так сложно. Однако дьявол — в деталях. Даже скобка вместо замка была схожей, не говоря о веревке из конского волоса, которой бабушка Елена для верности обмотала чемодан наиболее ценный. Чемодан № 1.

В этом чемодане заключалось богатство семьи, скопленное отчаянным, судорожным трудом. Сухой остаток многолетнего пота, пролитого на северном околотке континентального Китая. А именно: рулон зеленого шелка на полтора платья, четыре серебряные ложки, мешочек с кораллами Южно-Китайского моря, нитка неровного жемчуга, набор иглол к машинке «зингер», смазанные тарбаганьим жиром яловые сапоги, слесарные инструменты немецкой работы, с которыми дед Иста хотел начать новую жизнь в СССР, нефритовая статуэтка дракона...

— Валокордину-у-у!

Все детство мне слышалось:

— Валя! Картину!

Мама никогда до конца не завершала озвучку краденого: ей становилось дурно. Для меня так и остался тайной полный перечень похищенного движимого имущества, движимого через память, время и границы. Лишь дело доходило до нефритовой статуэтки дракона, случалось землетрясение, переполах, топот ног, шум воды на кухне, мама кулем валилась в кровать, кот Кеша орал благим матом и делал хвост трубой — в доме резко пахло валерьянкой и валокордином.

А теперь и спросить некого, что такого ценного было в чемоданной начинке далее пункта о нефритовом драконе. А может, там покоилась

свернутая в трубку картина работы неизвестного художника эпохи династии Тан, коей вообще нет цены?

Уцелели кое-какие документы: их везли во втором чемодане.

19 ноября 1935 г.

С.С.С.Р.

Консульство г. Маньчжурия

СПРАВКА

Справка настоящая дана гр. Мантосову Ивану Игнатьевичу и его жене гр. Мантосовой Елене Мантыковне в том, что 3/VII с. г. от них получены ходатайства о принятии их в гражданство Союза ССР.

(Печать, подпись.)

Они делали ноги, говорил еврей Радевич про своих должников.

Из бумажки с обтрепанными краями, насквозь прожженной лиловой печатью и чернильной подписью, видно, что мои старики, которых я никогда не видел, Елена и Иста, загодя готовились запрыгнуть если не в первый, то и не в последний вагон поезда, что тащился по Китайско-Восточной железной дороге на спасительный север мимо залитых кровью провинций. При этом дед Иста после вхождения японцев в Хайлар благоразумно стал Иваном официально (в августе 1935-го). Пятнадцатилетней дочери Валентине прибавили один год с целью получения советского паспорта. Но паспорт с серпом и молотом на обложке просто так не давался: серп резал руки, а молот плющил пальцы.

За коня выручили рулон шелка. Другую лошадь отдали старшему брату Исты — деду Хамну. Он сказал, что слишком стар, чтобы ехать за тыщу верст и получать от большевиков пулю в затылок. Корову и двух баранов забили. Мясо продали за бесценок за гоминьдановские юани. Кое-что, например конскую упряжь, пришлось подарить соседям. На гоминьдановские юани можно было купить разного добра, но только в Хайларе: в других местах они цены не имели. И набить тем же шелком третий чемодан.

По нормам ОВИРа, как и в случае с отъезжающим гр. Довлатовым С. Д., *выдворяемому* разрешалось три чемодана. У деда Исты и бабушки Елены накануне бегства в СССР было снаряжено два чемодана работы Бельковича плюс швейная машинка «зингер» в деревянном корпусе, весом и ценностью не уступавшая обоим чемоданам. Получалось три грузо-места — но уже для *водворяемого* в СССР. Так и объявили ходатаям в консульстве г. Маньчжурии. Советское учреждение задыхалось от наплыва желающих стать гражданами Союза ССР.

В голодной маньчжурской степи мирно уживались русские, китайцы, бурят-монголы, корейцы, евреи, татары, узбеки, казахи — в постоянных думах о том, что семьи будут кушать завтра. Паспортом сыт не будешь. Только японские штыки, пощекотав филейные места, подтолкнули их задуматься о гражданстве.





Стать гражданином СССР решил даже сосед Амгалан Хазагаев. Он был необычно высок для бурята, впрочем, утверждая, что не бурят вовсе, а казак. Хазагаев служил сперва у атамана Семенова, потом у барона Унгерна. Семеновцы, казаки и унгерновцы берегли форму и сапоги, надевали по воскресеньям. И тогда над низкими крышами Хайлара нестройно неслась казацкая песня:

За рекой Ляхэ загорались огни,
Грозно пушки в ночи грохотали.
Сотни храбрых орлов из казачьих полков
На Инкоу в набег поскакали!

С приходом японцев песни смолкли. Казацкую форму сложили на самый низ сундуков, и сами казаки легли на дно.

Хазагаев пришел к Исте сразу после возвращения моего деда из консульства. Принес настоящую водку, запечатанную сургучом. Валя слышала их разговор на кухне. Говорили о трех чемоданах. Оно верно, рассуждал Хазагаев, если каждый потащит с собой в Союз корову на веревке, то паровоз забуксует на подъеме к Большому Хингану. Гость с лошадиным лицом заржал, обнажив желтые прокуренные зубы. Оборвав смех, попросил никому не говорить, что он казак, и, если понадобится, подтвердить, что он работал на КВЖД в советских мастерских, хотя не пробыв там и недели, будучи уволенным за пьянство.

Припылил даже ростовщик Юрий Радевич. Без бутылки, но с другим подарком — прощением процентов с последнего долга. Уводя взгляд, он выспрашивал, какие бумаги надо заполнять для ходатайства. И есть ли там графы о национальности и происхождении.

— Какие графы? — переспросил дед Иста. — Которые бароны? Как Унгерн?

— Тсс! — зашипел Радевич. — Считаю, что я к тебе не приходил, понял? Так и быть, списываю с тебя долг!

Хозяин чуть не прослезился и заставил подслушивавшую дочь Валю целовать руку ростовщику. Радевич вырвал руку и ринулся к двери.

Чемоданы в магазине Бельковича разобрали в два дня.

Выходит, истоки нашей истории — в верхнем течении Аргуни, где на заре китайско-восточного форпоста советской бюрократии уже визировались три треклятых грузо-места. Только дорогие (сердцу) вещи. Только три грузо-места. Точка. Отдел виз и регистраций стоял на своем. ОВИР был всегда. ОВИР будет всегда. Пропускной пункт. Если не на этот, то на тот свет.

СПРАВКА

Дана настоящая гр-ке СССР тов. Мантосовой Елене Мантыковне, рожд. в г. Иркутске в 1885 г., по профессии домохозяйка, прибывшая по советскому заграничному паспорту за № 060510 от 16 авг. 1935 г. и в визе СССР г. Маньчжурия, которые сданы в Отдел виз и регистраций иностранцев УРКМ Кр. 14 I 36.*

* УРКМ — Управление рабоче-крестьянской милиции.



Дана для предъявления в паспортный отдел РК милиции на предмет получения советского паспорта для проживания в СССР.

*Отдел виз и регистраций иностранцев УРКМ Кр. — Колесников.
Упр. милиции УНКВД по Крыму — Булгаков.*

Справка датирована 1937 годом. Что характерно.

Смена имени на самое русское деду Исте не помогла — в недрах гигантского совдеповского канцелярата, на длинном этапе от Хайлара до Крыма, где-то близ Казлага, Ивана Игнатъевича прихлопнули тяжелым пресс-папье, что надоедливую муху. И размазали печатью энкаведэшной тройки.

Мама не рассказывала о судьбе своего отца по его прибытии в СССР. Уходила от расспросов. Рассказывать, собственно, было нечего. Пропал без справок. На запросы в бурятское отделение НКВД следовали ответы: такой-то по делам не проходил. Лишь много лет спустя земляк с одной улицы Хайлара сообщил, что видел Исту Мантосова на этапе, на пересылке в Казахстане.

Напрасно в конце ноября 1935-го родственница ждала хайларских беженцев на вокзале Верхнеудинска (новое название Улан-Удэ было не в ходу). Напрасно в поезде бабушка Елена, приближаясь к столице БМАССР*, распечатала чемодан, чтобы сразу же на перроне навесить двоюродной сестре серебряные сережки с кораллами (первое время они намеревались пожить у родственницы). Когда дед Иста заставил дочь встать с самого ценного, с рулоном шелка, чемодана № 1 (в дороге она на нем спала) и сорвал скобу возле ручки, то гортанным ревом он перекрыл гудок паровоза. На дне чемодана покоились два кирпича. На кирпиче из китайской глины четко красовалось: «Хайлар».

Кирпичом по башке.

При этом кирпичи были равномерно распределены по внутренности чемодана работы Бельковича, жестко закреплены деревянными распорками, чтобы своим перекачиванием не вызвать преждевременных подозрений. Ибо кара за воровство и в период Маньчжоу-Го была суровой и скорой (см. выше). Короче, работа мастерская. Я про воров — не про чемодан.

Как знать, если б на перроне рядом с растеряхой Вале́й была ее тетя Маня, Мария Игнатъевна, как и планировалось за пару месяцев до бегства, то чемодан был бы цел. Однако накануне отъезда Маня поругалась с мужем, который не хотел ехать в СССР. И отстегал жену волосяной веревкой.

В то же время и оставаться было опасно: японцы ходили по домам. Муж Мани решил бежать верхом на коне в Монголию. Но чемодан на коне что седло на корове. Тем более чемодан работы Бельковича. Он погрузил на заводную лошадь** пару мешков и по утреннему холодку тронулся на запад. Один, без жены. Отстеганная Маня спустя пару дней бежала вслед за мужем. Может, это и есть любовь?

* БМАССР — Бурят-Монгольская АССР, существовала с 1923 по 1958 г.

** Заводная лошадь — лошадь, которую ведут «в заводу», с собой, как вьючную или запасную.



Лошаденка под Маней была худая, ее без труда поймали монгольские пограничники. Монгольские цырики не были злыми. Они смеялись, вспоминала Маня, глядя на издохшую лошаденку, но все равно бросили нарушительницу в кутузку. А там уже томился муж. Кутузка представляла из себя яму. Яма мигом их примирила.

Монголы надавали супругам тумачков, вернули мужнину лошадь и отобрали заводную (мешки не тронули), выгнали из кутузки и сказали, чтобы те двигались на север — в СССР. На рассвете они пошли по степи, ведя под уздцы лошадь, одну на двоих, озаренные, крепко держась за руки...

У мамы была еще сестра Дарья. Она вышла замуж за монгола, косящего под китайца, или за китайца, косящего под корейца, и после японского вторжения спешно откочевала вместе с мужем вглубь материкового Китая. Далее ее следы теряются. Или я теряю нити моей родни с материнской стороны, угодившей в крутой замес теста, раскатанного стальной скалкой госпожи Клио. Ее кулинарное умение — смешивать в одном сосуде высокое и низкое, трагедию и фарс во времена, когда жизнь человеческая не стоила и чашки риса, — мы еще увидим далее. А пока я хочу скорее проскочить полустанок КВЖД, чтобы детально рассмотреть содержимое чемодана из Хайлара.

Понятно, далеко не все хайларцы устремились в СССР. С участниками и попутчиками белого движения — колчаковцами, семеновцами, унгерновцами — дело обстояло предельно ясно. Ловить им в стране победившего пролетариата было нечего: их самих переловили бы за первым углом, что тарбаганов на шкурки, и поставили перед фактом. В смысле — перед стенкой. Но и людей невнятного политического колера, серо-буро-желтых в красную крапинку, как моя бабушка Елена и ее муж Иста, неразборчиво мазали в свинцовый цвет. В казенный цвет учрежденный тех лет, замков, запоров, стен и застенков.

Дальше всех убежал — и от японцев, и от большевиков — дед Хамну. Оставшись в Хайларе единственным из нашего рода, он продал дареного коня и позвал на прощальную пирушку половину улицы (другая половина бежала). Стол ломился от яств, мяса и кишок забитого барана. Соседи, как полагается, на все лады хвалили хозяина. Впалые щеки деда Хамну лоснились от кровяной колбасы, потрохов, молочной водки, жира и не менее жирных славословий. По его лицу блуждала заговорщицкая улыбка.

Виновник торжества встал, пукнул, промочил водкой глотку для смазки... И под восторженные крики проглотил длинную полоску жира. Засим захрипел и упал под стол. Замертво.

Хитромудрый дед Хамну! И в тюрьму не сел, и мясо с водкой съел. По древнему обычаю. Таким пиром в старину провожали стариков, ставших обузой. Сочетали приятное с общепользным. Рекомендую, если жизнь припрет к стенке.

Участники застолья подняли теплый труп, отряхнули, усадили в деревянное кресло. Тело примотали к спинке сыромятной бечевой. Веселье и тосты продолжились. Гости обращались к хозяину как к живому.

Голова деда Хамну упала на грудь. Но все равно был виден белый хвостик жира, торчавший изо рта.

Состав из Маньчжурии, семь-восемь холодных вагонов, набитых семьями специалистов и рабочих КВЖД, отогнали за город на станцию Дивизионную. На насыпи торчали солдаты с собаками. Девочку Валю поразили длинные языки собак — длиннее, чем у безродных хайларских псин. Это были овчарки. Причем вояки и собаки были *толстыми*, говорила мама. Солдат к своим пятнадцати годам Валентина навидалась. Разных — японских, гомиьндановских, казаков, хунхузов, да и красноармейцы встречались в Хайларе. Все они были тощими. На Дивизионной же их встретили солдаты частей НКВД — сытые, высокие, перепоясанные ремнями, в яловых сапогах.

Несколько дней переселенцев продержали в подвалах Красных казарм, приспособленных под камеры; там вперемешку томились люди обоих полов, даже дети. К концу второго дня женщины не стесняясь справляли нужду в углу. Вонь стояла ужасающая. Спасало, что зарешеченные окошки не были застеклены. Дети кашляли. Потом бабушку Елену и Валю выпустили, а деда Исту перевели в другую камеру, где были одни мужики. При этом, как ни странно, вернули чемодан № 2 (с менее ценными вещами). Чемодан № 1 (подмененный) остался в Красных казармах. Командир и солдаты долго смеялись, увидев внутри кирпичи. Те были столь же красны, что кирпичные стены казармы. После тюрьмы, как метко сказано, человеку нравится все. Хозяева с легким сердцем отмахнулись от чемодана. Начальник сказал, что будет держать в нем особо важные дела.

С «зингером» тоже вышло особо важное дело. По тем временам стоимость швейной машинки приравнивалась к трем лошадям-четырёхлеткам (Радевич давал пять). Так вот, в Красных казармах освобожденным узникам — моей маме и маме моей мамы — драгоценную швейную машинку поначалу не вернули. Ее с трудом забрала родственница, у которой был любовник завхоз-энкаведэшник.

Пока бабушка Елена с дочкой Валентиной были в крымской ссылке, «зингер» находился у родственницы. По просьбе любовника она пошла на машинке из рваной верблюжьей шали (порвали при аресте) наколенники, исподнее и интимное белье, типа гульфика, чтобы милый не отморозил свое движимое достоинство на дежурствах в сырых подвалах. Это так тронуло завхоза, что он приволок к ней и чемодан, убедив следователя, что хранить дела в сундуке неудобно. Далее двоюродная сестра бабушки передала машинку и чемодан тете Мане, подоспевшей с мужем в Верхнеудинск кружной дорогой через Монголию. К шапочному разбору. Это их и спасло.

Большинство же бывших работников КВЖД, официально прибывших в СССР, стали его узниками. Бабушку Елену вместе с Валентиной, как ЧСИР, членов семьи изменника Родины, в столыпинском вагоне увезли в Крым, место ссылки. Валя там работала на табачной фабрике. Мальчишки от самых ворот фабрики шли за ней и дразнили: «Китай! Китай!» Тогда полуостров был с солнечного боку здравницей, а с другого,



заслоненный санаторным фасадом с белыми колоннами, — темной стороной Луны.

Точная судьба деда Исты неизвестна для самого НКВД. Думаю, он выпал из бешеного коловращения внутренних дел, с миллионными оборотами судеб, его слабый крик потонул в скрежете канцелярского конвейера. Делопроизводители, не снимая окровавленных нарукавников, не успели даже толком зарегистрировать Исту Мантосова, и он сгинул в лагере под безымянным номером. Без чемодана.

В лагерях первым делом люди лишались чемодана: его потрошила как вохра, так и воры, блатные. Чемодан был знаком благополучия, осколком прежней гражданской жизни, вызовом системе — и представлял угрозу. Острую, что заточка. Могли по инерции выпотрошить и владельца чемодана. Уже на пересылках по совету бывалых зэков и по собственному наитию шедшие по этапу стремились от ноши избавиться вместе с содержимым — по дешевке, за теплую вещицу, за пайку. Но формально чемоданы не воровали, их начинку досматривали, выменивали.

Посему дерзость хайларских воришек неопишима. Как я уже говорил, в Китае ворам прилюдно отрубали правую руку. Или забивали на месте преступления. Еще одна душевная ампутация нашей семьи тому пример.

«Отхончик» — так буряты любовно называют самого младшего в семье. Отхончик Мантык украл на хайларском базаре морковку. Бабушка Елена держала небольшой огород — сплошь картошка и лук; морковка считалась баловством. Десятилетний Мантык в тот злосчастный день был свободен от пастьбы коров, но и в школу не пошел (бесплатные завтраки давали лишь успевающим ученикам). Пойманный с пучком морковки, Мантык был нещадно избит торговцем, да так, что из уха пошла кровь. Никто из взрослых не подумал вмешаться. Домой его привез русский извозчик. Всю ночь мальчик кричал, а под утро затих...

Иногда мама, уже выйдя на пенсию, просыпалась среди ночи и плакала, вспоминая младшего братишку. Слезы копились в морщинках и изливались мне за ворот, холодя шею, когда я обнимал маму. Поводя плечами, я думал: дать бы по ушам торговцу морковкой и заодно вору, подменившему чемодан! Можно кирпичом. Рука бы не дрогнула. Рыночные торгаши и воры суть одно и то же. Две стороны одного кирпича.

Несомненно, пособниками воров стали паника и давка на перроне Хайлара. Здешний вокзал хоть и каменный, но одноэтажный, с окнами, заложеными деревянными щитами. Стыдливые кирпичные буквы «Хайларь» на торце (строили русские каменщики), зато на фасаде имя города китайскими иероглифами. Из-за наплыва отъезжающих вокзал закрыли. Билеты не продавались, кассу заколотили доской. Места в вагонах негласно предлагалось брать штурмом.

Так и случилось. Едва на мосту появился паровоз из Цицикара, пыхтящий и дымящий сизым дымком, что старый курильщик (видать, топили второсортным углем), люди обратились в стадо овец. В толпе случилось движение. Возгласы на русском, китайском, монгольском языках и плач детей металась по маленькой площади. Раздался гудок, завизжали тормозные колодки, в воздухе наперегонки со снежинками полетели чер-



ные мухи сажи. Толпа с пожитками рванулась навстречу паровозу, потом с протяжным вздохом сдала назад к вагонам, давя стариков и детей. Пространство перрона прорезал визг и стоны.

Быть бы трагедии, кабы не вмешались казаки во главе с Хазагаевым. Скинув изношенную военную форму и оружие, одетые как монгольские араты, они тем не менее с прежней сноровкой начали хлестать обезумевшую толпу нагайками, крича по-русски:

— Осади! Зашибу! Взад, кому сказано! Бар-раны!

Одному настырному рассекли лицо, и он с воем отпал от поручней вагона. В Хайларе бывших семеновцев и унгерновцев знали, потому подчинились. Посадка пошла ходко.

Морозный ветерок кусал уши, воняло креозотом, но этого никто не замечал. Воры — тем паче: у них была горячая пора. Они мышковали в толпе с чемоданами работы Бельковича, набитыми кирпичами, заранее просчитав вокзальную панику, страх и неразбериху.

Пятнадцатилетняя дуреха Валя, как ей и наказали родители, с самого появления на станции безотлучно сидела на чемодане № 1 и вертела головой, замотанной в платок. Она никогда не видела столько народу сразу. Да и где видеть? Школа для детей советских специалистов, куда она начала ходить после гимназии (построенной еще при царе) и японской пятилетки, состояла из одного выпускного класса (детей с началом японского вторжения начали вывозить в СССР); домашней работы куча: выделка шкур, дойка, огород, мытье полов и чистка котлов в доме Шантына... Сидеть на чемодане девической попкой было неудобно: скобка резала ляжку. К тому же хотелось пи-пи. Дома она напилась зеленого чаю с молоком без лепешек, их берегли в дорогу.

Нравы были простые, и мужчины справляли нужду не отходя от перрона, для приличия отвернувшись. Помучившись, Валя накрылась одеялом и сходила по-малому, обрызгав угол чемодана. Но она могла поклясться, что с чемодана не слезала. Или слезла на минуту, когда оправляла юбку.

И этой минуты хватило вора.

С подножки вагона их заметил сосед Хазагаев, взмахнул плетью, как бы прокладывая дорожку к вагону. Народ завистливо расступился. Дед Иста, бабушка Елена и их дочь заняли в вагоне лучшие места: одно спальное, одно сидячее и одно в проходе на чемодане, при том что спальных мест в общем вагоне не было задумано изначально. Валя с перепачканным паровозной сажей личиком была вполне счастлива. Они едут в СССР! Эти четыре буквы были куда заманчивей колючего иероглифа КВЖД.

Девочка Валя не обратила внимания, что угол чемодана не обрызган...

На память о бурной жизни моих родных в Маньчжурии остался чемодан № 2 с шелковой биркой на обороте крышке. Буквы стерлись, но прочитать можно: «Мастерская Бельковича. г. Хайларь. Доставка извощиком безъ оплаты».

Один кирпич из чемодана выбросили, один прибрала родственница и несколько зим использовала его как гнет в бочке для квашеной капусты.



Этот гнет, уже порядком изъеденный по краям, валялся у меня на даче, им подпирала калитку. Пока не был ошибочно при кладке печи уложен в основание трубы: печник был с похмелья. Труба — кирпичу! Пускай теперь пособник воров отбывает пожизненное заточение — эта мысль меня греет не хуже печи.

Чемодан № 2 побывал в крымской ссылке вместе с бабушкой Еленой и Вале́й и, амнистированный, вернулся домой. Правда, было неясно, по какому сторону советско-китайской границы находится дом.

Будучи репрессированным, чемодан работы Бельковича со временем саморазрушился, несмотря на то что трехслойная фанера проклеена спермой монгольских лошадок, а может, лошадей Пржевальского. Об этом хвастался Белькович в подпитии, когда разорился и коммерческий секрет утерьял всякую силу.

Работа еврейского мастера мало походила на чемодан в современном понимании. Изделие напоминало то ли персидский сундук, то ли пиратский рундук, то ли бурят-монгольский шэрээ*. Зато чемодан был емкий. Он торчал на моем балконе, я сидел на нем и душевно покуривал, потом пылился на антресолях, потом в темнушке. Чемодан по жизни сильно пинали. От рундука осталось днище и стенка. Вымер как динозавр — остался скелет.

Однако выбрасывать хайларскую тару было не с руки — мама не одобрила бы, дед Иста припечатал бы гулаговским ругательством с того света, — и я решил вопрос памяти, думается, изящно — шелковую бирку мастерской Бельковича переклеил на фибровый чемодан. Туда же посланы уцелевшие вещицы хайларского периода.

Скелет рундука Бельковича некоторое время еще собирал пыль под кроватью, пока его без всякого злого умысла не выбросили грузчики, посчитав обломки забытой опалубкой от ремонта.

Чемодан моих стариков — деда и бабушки — сыграл в ящик. Но приказал долго жить!

Нефритовые шарики

1.

Вообще-то шариков было три. Один укатился Колобком из сказки. Хотя нефритовый шарик был несъедобным, но в голодную пору мог быть ошибочно принят за клецку. Клецки вошли в меню стационарных буфетов Транссиба и КВЖД после рейда Чехословацкого корпуса в Гражданскую. Второй шарик брошен в смутное время. Не оставлен, а именно брошен как метательное средство в нетрезвых типов, пытавшихся отобрать у меня ваучер. Впрочем, потом он был подобран на поле брани. Чудом уцелел третий. Да и то его чуть не сожрали.

Соответственно, нефритовый дракон был трехголовым — как в другой сказке. Нефритовый сейсмограф в древней Поднебесной что дракону седло. Иных забот не было, что ли? Порох, петарды, компас и прочее,

* Шэрээ — деревянный престол, на котором раскладывается жертвенное подношение.



что изобрели за Китайской стеной, — с ними все ясно. Пугать врагов и друзей, коих часто путали без компаса, и ходить по нужде в тумане. А нефритовый дракон-предсказатель? Обитателям хижин и юрт тряска степи — по барабану. Скорее он нужен богачам, чтоб во время толчка не поперхнуться уткой по-пекински, вовремя слить с Китайской стены иль сигануть с пагоды. После землетрясения, продолжала сказочное повествование моя мама, пагода была похожа на Пизанскую башню. Ну, не знаю... Хотя маме виднее: она родилась в Китае.

Дракон размером с настольную лампу — это вам не безделушка. Он родом из восемнадцатого века, внушала баба Валя внуку, и предсказывал землетрясения. Дракон предупреждал богатых китайских мандаринов и упреждал судьбу бедных долек мандаринов.

Стоило деду Исте топнуть в доме даже не сапогами, а войлочными гутулами, как из бирюзовых пастей со стуком падали нефритовые шарики во врезанные чашки, в зависимости от силы удара или притопа — один, два или три. Три шарика, в испуге выплюнутые драконом, означали по шкале китайского Рихтера полный атас, туши свет, сливай воду, седлай коня, делай ноги.

Войдя в Хайлар в начале 1930-х, японцы принялись искать коммунистов. Но поселок советских специалистов обходили стороной: СССР — это вам не икебана с цветочками! Дед Иста устроился разноработчим на железную дорогу. То была удача после нескольких лет безработицы, когда с железной дороги пачками увольняли из-за вооруженных стычек на КВЖД. В Хайларе одно лето квартировала кавалерийская часть РККА — Красной армии. Моя мама пошла в советскую школу.

Иста старался. К 15-летию Октябрьской революции Ивана Мантосова наградили грамотой, вручили отрез материи бостон. Такой черный-черный и тяжелый, в нем начальников в гроб кладут. На грамоте была эмблема загадочной РСФСР (а где СССР, удивлялся в семейном кругу дед Иста), но так как на документе пропечатали красное знамя, то награжденный помалкивал. И прятал грамоту в укромном месте: уже тогда, лишь началась заварушка у Тяньцзиня, глава семейства подумывал о бегстве на север. Грамота должна была сыграть роль пропуска в новую жизнь.

Отрез бостона навевал траурные мысли. Бабушка плохо спала по ночам.

Была весна. За рекой алы́й, что сарана, диск подолгу не хотел садиться за сопки. Низко летали птицы. Пахло навозом и горелой сухой травой. В степи из нор повылазили тарбаганы.

Дед Иста на заднем дворе перекрашивал гнедую стреноженную кобылу в невнятную охристую масть. Вдруг в доме страшно закричала жена: из пастей дракона упали все три нефритовых шарика.

К тому времени японские патрули — в каждом два солдата с примкнутыми штыками и унтер-офицер — устали убивать.

Багровое светило над дальней сопкой больше напоминало флаг. Словно на простыне расплылось пятно крови... Размокшие улицы Хай-



лара, и без того разбитые копытами и колесами, с приходом заморской дивизии стали «худыми», по выражению русских хайларцев. Грязь из-за суглинка была жирной. У рядовых императорской армии ботинки промокали до обмоток. Японцы утомились шагать и убивать по весенней грязи. Устанешь убивать, коли приказано не стрелять, а резать — беречь патроны. Ну, и обувь берегли.

И патрули повадились ездить по домам на извозчиках, реже на китайских фургонах, у тех колеса больше, а запряжена малорослая лошадка. Никаких рикш и прочей экзотики. Это на мощеных мостовых Харбина и Шанхая можно бегать на своих двоих, что лошадь, в мыле, а на хайларских улицах мигом свернешь лодыжки. Японцы начали реквизировать для карательных акций экипажи русских извозчиков, запряженные парой или тройкой, смотря по достатку. Вместо чаевых, которые прежде щедро раздавали в подпитии белые офицеры, японские вояки отпускали тумачи и удары прикладами. Экипажи были удобны. Не всех подозрительных убивали на месте — штыком или саблей, на худой конец пулей; иных везли в штаб, зажав с двух сторон солдатскими плечами.

К дому «красного Исты» патруль подкатил в полном составе. Сзади сидели японцы, а рядом с извозчиком примостился лазутчик, полукровка Тозе. То ли сартул*, то ли татарин. Из-за горбатого носа Тозе обзывали Хозе. Он служил в ресторане, как именовали питейное заведение белые офицеры. Они и придумали — Хозе. Хозе-Тозе стоял «на дверях» — на высоком крыльце под вывеской «Ресторань». Принимал одежду, подносил, подметал, чистил обувь, выдавал калоши, вызывал извозчиков, а то и веселых женщин.

Кроме ресторана, белогвардейцы открыли в Хайларе синематограф и ломбард. Все три заведения, как три чемодана, говорили о самодостаточности и приличиях. Хайлар пыжился, дабы хотя б на вывеске выглядеть городом. Беглецы из России изо всех сил старались сохранить ушедший быт и приметы старой жизни. Пол-Хайлара говорило по-русски. Имелся даже дом терпимости с красным фонарем, но в официальную опись разрешенных мест не входил. Проходил как ручная кладь. Маленькой девочкой Валя бегала к красному фонарю, где на заднем крыльце дома с завешенными окнами курили полные, непохожие на местных женщины, накинув на голые плечи одеяла. Полные и добрые. Они угощали девочку «конфетами» и сахаром.

Японцы ресторан закрыли и разместили там свой штаб. Тозе-Хозе оказался без работы и чаевых. Когда новые хозяева стали искать красных, Хозе вызвался их показать. Странно, что белые офицеры, у которых было куда больше счетов, отнюдь не ресторанных, к большевикам, делать это категорически отказались. А Хозе знал в Хайларе многих. Знал и про грамоту деда Исты.

Учуяв тяжелый топот копыт, трехголовый нефритовый дракон сыграл полный атас. Когда крикнула бабушка Елена, дед понял: непрошеные гости. Тарбаганом нырнул в нору дома, рванул половицу, схватил грамоту и выскочил наружу, на ходу кроша документ и краюху хлеба. Это кроше-

* Сартулы — бурятская народность.



во он поднес к пасти недокрашенной кобылы, наполовину гнедой, наполовину рыжей, цвета дерьма. Одновременно хозяйка успела набросить на швейную машинку грязный половик из конского волоса: на «зингер» давно зарился Тозе, даже приходил с заказом — якобы пошить ему шапку. А сам косил, что лошадь, кровавым глазом полукровки на сияющие крутые бока немецкой машинки.

Во двор не спеша ввалился патруль. Спешил лишь Хозе. Ноздри его хрящеватого носа раздувались. Солдаты сняли винтовки и расселись на чурках. Один стал поправлять обмотки.

Затем появился коротышка офицер: сабля волочилась по земле, он был в сапогах с отстегнутыми шпорами и курил тоненькую дамскую сигарету, не снимая перчаток. Начальник патруля с ходу наорал на солдат. Те нехотя встали.

Кубарем выкатилась прикормленная собачонка по кличке Нохой и принялась отрабатывать хлеб — истошно лаять на гостей, норовя цапнуть за обмотки. Крайний солдат ткнул в нее штыком, но промахнулся. Нохой молча исчез.

Выше офицера на голову, Хозе пригнулся, норовя сравняться в росте. Ткнул мизинцем с длинным желтым ногтем в Исту:

— Господа, вот он и есть коммунист, пжалте!

Офицер, топорща усики, недоуменно воззрился на хозяина. Заляпанный краской Иста больше походил на китайского кули, чем на коммуниста-заговорщика. Стоптаные, дырявые в головках, обрезанные в лодыжках сапоги, рваные штаны в бурых пятнах и засаленная безрукавка с вылезшей ватой. К тому же на время дворовых работ дед Иста имел привычку надевать платок жены. Для удобства. Темное лицо с седоватой бородкой выглядывало из платка звериной мордашкой. Вдобавок от хозяина несло дерьмом, и явно не конским. Лишь члены семьи знали, что он для придания нужного колера добавляет в краску какашки собственных детей.

— Да он красный, клянусь, ваш бродь! У него ихний документ имеется! — брызгал слюной Хозе, забыв, что перед ним не белогвардейский, а японский офицер. Обернулся к хозяину, крикнул на халхасском* диалекте: — А ну, показывай советскую пайзу по-хорошему!

Под «пайзой», охранной бумагой времен Чингисхана, Хозе, не найдя нужного слова, подразумевал грамоту ударника социалистического труда. К тому времени недокрашенная лошадка, пованивая, благополучно сожрала пайзу-грамоту вместе с красным знаменем и загадочным «РСФСР».

Иста изобразил удивление. От возмущения наводчик содрал с него женский платок и втоптал в грязь. Замахнулся кулаком, но ударить не решился. Битье — привилегия японцев.

В доме устроили обыск. Нанесли грязи. Солдаты, подозревая, что золота и серебра тут не видать, вяло тыкали штыками в тряпье, гремели глиняной посудой, для вида поддели пару половиц, в том числе ту, оторванную Истой. Им было лень.

* Халхасцы — монгольская народность.



Дело было после обеда. Вояки перед набегом плотно закусили чем японский бог послал. Солдаты — мясом сваренного в котле ягненка, отобранного утром на окраине Старого города, офицер в штабной палатке — консервами из посылки с острова Кюсю да еще выпил харбинской водки.

Во время обыска офицер, развалившись в деревянном кресле, задумчиво гладил рукоять сабли, клонил голову набок, отчего его круглое лицо с коротким носом за счет набрякших щечек приняло форму японской сливы. Видно, его посетила одна и та же мысль: а не махнуть ли саблей на всю эту карательную акцию, отрубить чего-нибудь и пойти спать в палатку?

Удерживала слабая надежда, что в этом доме, как посулил проводник из местных, зреет большевистский заговор против экспедиционного корпуса его императорского величества. В штабе требовали не тупо резать острыми саблями. Резать баранов и дурак сможет. А за найденного шпиона полковник обещал отпуск на родину.

От плохой харбинской водки и грохота посуды у офицера разболелась голова. В доме воняло чем-то кислым. Так всегда пахнет в местных жилищах. Запах бедности.

Он махнул перчаткой и коротко сказал. Грохот прекратился. Солдаты под вой бабушки Елены выволокли главу семьи из дома и, поднимая пыль, пинками загнали его в огород. Выставили штыки. Офицер поправил кепи и наполовину обнажил саблю.

Бабушка Елена упала на землю. Недавно она потеряла младшего сына Мантыка, теперь пришел черед самого старшего в семье.

Заржала лошадь. Ее вел под уздцы Хозе, победно крича. В руке он зажимал клочок бумаги — обрывок недожеванной грамоты с уголком алого знамени.

— Вот она, красная зараза! А я что, ваш бродь, говорил? — орал Хозе.

Нос его в предчувствии поживы увеличился до размера клюва. По распоряжению штаба наводчику полагались остатки разграбленного дома.

Хозе подвел кобылу. От животного несло дерьмом.

Нет, эти китайцы — для офицера все местные были китайцами — не люди. Обрывок бумаги был в навозе. Офицеру стало дурно. Надо выпить еще.

В этот момент Нохой через дыру в чяхлом заборе пролез в огород со стороны улицы и, обнюхав драные полусапожки хозяина, зарычал на чужаков. И тут-то солдат проткнул вредную псину штыком. Раздался истошный визг и — хохот.

Плоский штык с обеих сторон обтерли о безрукавку хозяина. Офицер выругался и сплюнул.

Приговоренный к обезглавливанию поглядел в небо с редкими клочковатыми облачками. Там кружил в поисках добычи сапсан. Непокрытую макушку напекло. Хотелось пить. Дед Иста утерся платком. Хотел попросить жену, чтобы потом... перед погребением она пришила ему голову обратно, причем теми же крепкими нитками, что шила малахаи. Мелькнула дурацкая мысль: только не на «зингере»!



Дед Иста вздрогнул. Офицер с пристуком вбросил саблю в ножны. В прошлый раз, когда на спор срубил голову, то алым фонтанчиком испачкал китель. Прачка еле отстирала, остался бледный след. Спорили с лейтенантом третьего взвода на точность: при мастерском ударе обезглавленное тело не падает вслед за головой, а какое-то время стоит недвижно, да и крови мало. Сейчас же он пьян, сонлив, надо еще успеть отпрыгнуть после взмаха... А в кители ехать в отпуск. И початый кувшинчик sake ждет в палатке.

Базарным лаем — так кричат хэйлунцзянские торговки — офицер набрехал на провожатого и, чертя саблей кривую линию по земле, повалил со двора. Солдаты с облегчением забросили винтовки на плечи, за узкие погончики, и, весело переговариваясь, пошли следом за командиром, предвкушая короткий сон после вахты.

Их прислужник с досады ткнул кулаком недокрашенную лошадь в бок, она лягнула воздух, зато Хозе лягнул бабушку Елену, лежащую на земле, и, пообещав прийти позже, поспешил за солдатами.

Нохой валялся с вываленным языком, в стекленеющем зрачке отразилась фигурка бабушки Елены. Кровь уже впиталась в землю и потеряла цвет. А рядом пробивалась щепотка новой, ослепительно зеленой травки.

Собаку похоронили вечером того же дня с почестями. Ведь Нохой принял на себя весь удар карательной акции. Исполнил свой долг — защитил дом.

Пригласили шамана Ордо, родом из приангарских бурят. Из заначки под половицей дед Иста достал бутылку русской водки — подарок советского инженера с КВЖД, которому он выправил в мастерских велосипедную раму.

Шаман пришел уже навеселе: после обеда отводил черную силу на дальней улице, объяснил он. У него было рыжее пятно на щеке и шее. Он утверждал, что сие есть родовая отметина Вечного Синего Неба, хотя соседи болтали, что пятно появилось после того, как Ордо по пьяни упал в ритуальный костер.

Брызгая водкой и не забывая ее прихлебывать, шаман воздел на голову корону с рогами. Потом заявил, что брызгать надо молоком, а водку влить в него без остатка, как в священный сосуд. Видать, корона с рогами была тяжелой, если время от времени Ордо вело из стороны в сторону. Хозяева вежливо придерживали служителя черной веры за локотки.

Собака успела очоленеть. Даже хвост торчал палкой. Нохой опустили веки, уложили головой на запад, где японским флагом пламенел закат; шаман шепнул в недвижимое ухо благопожелание. Почудилось, Нохой дрогнул кончиком уха, услышав слова человека. Дабы избежать в следующей жизни перерождения животным, пояснил Ордо. В собачью пасть вложили горку топленого масла.

После обряда, уже за столом, Иста робко заметил: не грех ли, что собаку похоронили будто человека? Шаман, косясь на початую бутылку водки, вместо ответа рассказал легенду. Собака долго искала себе друга. Встречала на своем пути волка, тигра, медведя. Но они запрещали ей

лаять, боясь, что их услышат враги. И только человек разрешил собаке предупреждать об опасности.

Бубна у шамана не было в помине. Наверное, тоже боялся, что его услышат враги.

Дочь Валя непрерывно плакала. Приблудный беспородный пес был для нее другом. Провожал до самой школы, облаивал мальчишек из белогвардейской гимназии. Те хотели наказать ее за предательство — переход в советскую восьмилетку. Из-за Нохоя гимназистам приходилось довольствоваться бесполезной стрельбой из рогаток с дальнего расстояния и криками «Красная жопа!» с наглядной демонстрацией одной части тела. Однажды самый рослый и наглый подбежал близко, спустил брюки, ослепив белоснежной задницей. Нохой молча бросился на обидчика. Озорник от испуга запутался в штанах, уронил ремень и фуражку с кокардой, пес нагнал беглеца и — белая жопа вмиг стала красной. Гимназисты от Вали отстали.

— Не плачь, девочка, — молвил шаман Ордо, выпил водки, крикнул и ткнулся носом в девчачью макушку (то ли понюхал по обычаю, то ли занюхал выпитое). — Нохой за его славные дела наравне с человеком попадет в страну Диваажан.

— На диван? — перестала плакать Валя.

Кожаный диван стоял в приемной директора восьмилетки, на нем сидели важные дяди и тети, но никогда — ученики и собаки. Если Нохой попадет в другой жизни на диван, то это совсем неплохо. Он будет важным человеком. Человеком, а не животным.

— Да, дива-ан, да... Диваажан... — рассеянно кивнул шаман.

Кажется, он не знал, что такое диван. В любом случае, вытерла слезы Валя, в стране Диваажан наверняка много диванов.

Водка кончилась. Дед Иста с поклоном подал стаканчик самогонки. Хозяин гнал ее по рецепту советских товарищей из мастерских КВЖД. Принес оттуда медный змеевик.

— Ам-та-тэ! — крикнул, опрокинув стаканчик, Ордо. (Рыжее пятно на щеке потемнело.) — Умеют же русские делать водку!

Когда-то Ордо был ламой в цзицкарском дацане, но, по словам Сэ-сэн-ламы, его выгнали оттуда за пьянство и болтовню. Лишили священно-го сана. Он не растерялся и заделался шаманом. Перешел в смежный цех.

Придя в благодушное настроение, Ордо упал в деревянное кресло, в котором накануне дремал японский унтер-офицер, и закричал, что в Диваажан должны стремиться все благочестивые миряне. Потому что там получают перерождение после земной жизни. Путь туда далек. У кого меньше груза грехов, тот и долетит до райской страны, что находится на юго-западе от Сумбэр-Ула, центра Вселенной.

— Это такая... чуть накренившаяся планета. — Ордо привстал, накренился и чуть не упал. — Там царит вечное счастье, и ее обитатели питаются сплошь диковинными фруктами, наслаждаются чудодейственными напитками.

— Даже мяса не едят? — спросил дед Иста. И, получив утвердительный кивок, поцокал языком в знак восхищения. — Ух ты! И собаки мяса не едят?

Ордо ухватил кусок мяса со стола.

— Уважаемый Ис-ста, собаки в той жизни едят мясо земных животных. Земных, ясно? — Прожевав, дорогой гость с запинкой продолжил: — Потому что в Диваажан убийство з-запрещено. — И возвысил голос: — И не надо тут спорить по пустякам! Умники!

Ордо сделал нетерпеливый жест. Хозяин снова налил самогонки в граненый стаканчик.

— А собаки, те, что не переродились в людей, бегают на дальней от Сумбэр-Ула орбите, — чревоещал, уже еле ворочая языком, Ордо. — Но! — Шаман поднял палец, как учитель в школе. — Отдельные животные перерождаются в людей. Взять вашего пса... Он, точно, станет человеком! За заслуги перед человечеством...

Ордо икнул и рыгнул. Завоняло диким луком мангиром и сивушным духом.

Вале показалось, что ученый гость сочиняет на ходу. Тем не менее сочиняет «похвально», на хорошую оценку гимназии, или на пятерку, как в советской восьмилетке.

— Собачки бегают по небу не просто так, а ловят запах хозяина! — выкрикнул шаман и сполз с кресла, изображая небесного пса, а может, просто устал и хотел спать на полу в обнимку с рогатой короной.

Дед Иста вместе с женой с трудом водрузили священное тело обратно в кресло. Время от времени Ордо разлеплял один глаз и, размахивая граненым стаканчиком, требовал налить водки. Хозяин наливал вонючего самогону. Выпив, гость повторял:

— Вот умеют же русские водку делать! — И продолжал проповедь.

Наконец силы оставили рассказчика. На пухлой груди лежали отгрызанные вареных кишок: этим десертом на исходе трапезы закусывал гость. Похрапев с полчаса, Ордо забрал остатки самогона под видом русской водки, вытребовал лан серебра и удалился прочь с громким иканьем. Корона с рогами застряла было в калитке, но общими усилиями преграду одолели.

После шумного пребывания гостя наступила оглушительная тишина. Водка и самогон были споены не зря. Дочь Валя успокоилась. До визита шамана девочка не могла прийти в себя, ведь она видела зверства оккупантов и героическую смерть Нохоя во всех подробностях, тоненько скуля за углом сарая.

Хотя какие там зверства, рассуждала мама много лет спустя в моем присутствии, познав значение слова «оккупант» в сороковых годах. Никого (из людей) не зарезали. Отделались мелким испугом. Не оттого ли, что в руках она зажимала три нефритовых шарика? Слово талисман. Будь они поменьше, их следовало нанизать священными четками.

Эти шарики, твердила мама, спасли жизнь ее отцу. Они вовремя выпали из пасти дракона. Кабы нашли советскую грамоту — у японского унтера, как от подземного толчка, махом пропал бы послеобеденный сон.

2.

Нефритовые шарики болотного цвета спасли не только деда Исту.

В пору безденежья девяностых я понес их одному коллекционеру. Понес скрепя сердце, прося прощения пред желтыми, что хайларская глина, ликами деда Исты и бабушки Елены. Посулили хорошую цену. У коллекционера неизведанными путями очутился дракон с тремя головами, примерно такой же, что предсказал визит непрошенных гостей к деду Исте. А может, тот самый. Потому что шариков к дракону не прилагалось.

Придя к собирателю древностей, я в знак уважения снял кроссовки в прихожей, хотя пол нижайше просил веника и швабры. Пробалансировав по единственной чистой половине, я поклонился, как японец в офисе, и молвил, что до СССР из Китая докатилось только два шарика из трех штатных экземпляров. Хотя СССР к тому времени развалился от невиданного землетрясения. Видать, нефритовых драконов в эпицентре за Кремлевской стеной под рукой не имелось. И настала пора перемен.

Коллекционер оказался барыгой. Какая там династия Тан! Ни одной книги в доме, за исключением телефонной. Он был похож на уличного наркоторговца: бегающие глазки, опухшие веки, спутанные патлы постаревшего хиппи. И руки с нестриженными ногтями дрожат. Хозяин ломбарда был его кузенком.

Этот хунвейбин почему-то решил, что мне не хватает на бутылку.

Дракон выглядел пожилым, в царапинах и мелких сколах. Возможно, был с похмелья, как и хозяин. По крайней мере две из трех голов испытывали абстинентный синдром. У одной головы был выбит глаз, у другой — зубы.

Я вынул шарики из велюрового мешочка и просунул их в разинутые пасти. Но сцепления не произошло. Шарика падали обратно в чашки, не дожидаясь землетрясения. По всей видимости, шарики со временем обкатались, обтерлись. И выбитые зубы не прибавляли драконовской хватки. Тут и ногой топать не надо. Клыки должны не держать, а удерживать шарик — чувствуете разницу? Об этом мы и толковали, но каждый со своей башни, сбрасывая на голову оппонента ядра, камни и горящую смолу. Он мне про стертые шарики — я ему про выбитые зубы, напирая на слово «артефакт». Сцепления не хватало. А в «артефакте» оппонент узрел нечто оскорбительное, будто из арсенала лагерной фени.

Не сойдясь в цене, я второпях сунул шарики в мешочек из-под настольного лото, в которое играла мама с подругами, нацепил кроссовки и хлопнул дверью на три балла по шкале Рихтера. Чтоб у хозяина дракона выпали шарики из мозгов.

Дождавшись, когда выскочу из подъезда, коллекционер плюнул с балкона и что-то прокричал. И продолжал плевать, как со стрелковой башни, пока я торчал внизу.

Выйдя из сектора обстрела, я задумался. Ехать домой без денег не хотелось. Хотелось выпить. Что я скажу жене?

Коллекционер-барыга жил в стандартной пятиэтажке в дальнем микрорайоне. Я добирался до него с двумя пересадками. Этот тип не стоил и одной пересадки!



Рядом стояли дома-близнецы. На качелях визжали дети. В песочнице подростки пили баночное пиво. Пацаны помладше развлекались тем, что стучали по водосточным трубам, выколачивая мартовский лед. Грохот был вселенский. На пустыре у гаражей гоняли футбол. Толстый мужик в женской кофте держал на поводке маленькую собачку, хотя запросто мог спрятать ее за пазуху или в карман камуфляжных штанов. Люди были одеты как попало, кто в зимнюю, кто в весеннюю одежду. Смотря по мироощущению и достатку.

В межсезонье мир противоречив. У меня в карманах январская стужа, а гогочущая шпана, попивая в песочнице заморское баночное пиво на денежки от школьных завтраков, явно воображает себя на пляжах Флориды. Кому весна, а кому смерть красна.

Стройная девушка в красном пуховике выгуливала большого пса. Пес норовил угнаться то за кошкой, то за мячом, и девушка с трудом его удерживала, выгибаясь всем телом. Фигурка, машинально отметил, ничего себе. Правда, было не совсем ясно, кто кого выгуливал.

Я сел на скамейку, соображая, что делать дальше. В кармане было двести деноминированных (минированных, говорила жена) рублей. Хватало на портвейн, но супруга наказала купить хлеба, молока и лекарство от головы. Оно бы и мне не помешало.

На скамью с размаху присела девушка, утомившись от прогулки с собакой. Спинка лавки дрогнула, обдало запахом душистого мыла. Рядом с кроссовками приземлились модные остроносые ботильоны (жена мечтала о таких же). Девушка размяла кисть с полоской от поводка, обвязала им край скамьи. Однако пес и не думал убежать. Он вдруг заинтересовался мной.

Я поежился. Размером псина была с теленка. Или с жеребенка, перекрашенного дедом Истой. Голова лошадиная, зато пасть вполне драконовская. И этой пастью тираннозавр тянулся к моему карману.

— Не бойтесь, она смиренная, — сказала хозяйка. — Это пинчер.

У хозяйки пинчера было милое круглое личико с поплывшими щечками, тени под серыми глазами, тонкие розовые губы, чуть крупноватый нос и чистый, слегка выпуклый лоб. Такой лобик бывает у девушек из хороших семей. Хотя вблизи она оказалась не так молода. Из-под вязаной шапочки выбилась светлая прядь. Возможно, крашенная.

— Фу, Дина! — крикнула соседка по скамье, когда псина опять потянулась к карману куртки.

И рукой взялась за ошейник. Рука и выдала. С набрякшими венами, в крапинках. Лет сорок, не меньше. Непонятно отчего, я приободрился. И вспомнил про бутерброд с колбасой, который дала в дорогу жена. Супруга предположила, что, выручив деньги у коллекционера, я не удержусь и выпью. По привычке — без закуски. А у меня субатрофический гастрит, без пяти минут язва.

И теперь эта лошадиная морда теребила полу куртки, грозя вырвать содержимое кармана вместе с колбасой. Нюх не подвел, колбаса была конской. Карман с бутербродом находился на уровне мужской ватерлинии — в панике я рванул карман, боясь, что в глотке пинчера сгинет

часть моего достоинства. На влажную подтаявшую землю упал бутерброд в целлофане, а следом — нефритовые шарики.

Немолодая девушка закричала:

— Фу, Дина, фу! На-на-на!

Хозяйка, отвлекая, сунула под собачий нос надорванный пестрый пакетик с шариками корма. Но пинчер и ухом не повел. Проглотил бутерброд с целлофаном и — мама дорогая! — вместе с нефритовыми шариками. Слизнул будто корова языком.

На меня напал столбняк, как после укуса бешеной собаки. Псина выплюнула на землю жеванные клочки целлофана. Потом, чихая, отрыгнула шарик. Один. Второй бесследно пропал в пасти собачьего уroda. Сука и есть!

Я заорал так, что подростки в песочнице прекратили гогот, а бабка перестала выбивать половики у гаражей.

— С-собака! Отдавай, язык вырву! Тварь! В рот компот!

Я замахнулся. Псина добродушно оскалилась, зевнула и вывалила язык набок.

— Что вы орете, будто сожрали ваши яйца? — опомнилась хозяйка.

— Хуже! Сожрали меня!

Я обтер нефритовый шарик, сунул за пазуху. Перевел дух. Стараясь сохранять спокойствие, отчеканил:

— Сделайте что-нибудь, девушка.

— А что я могу сделать? — растерялась старая девушка и стала старее: щеки обвисли еще больше.

— Не знаю... Вызовите рвоту... два пальца в рот, — с отвращением вспомнив недавнее, забормотал я. — Ну, как это делают пьяницы...

— Вы когда-нибудь видели пьяную собаку, гражданин? — усмехнулись в ответ.

— Видел! Только что! — вскричал я.

Собака зарычала, обнажив клыки толщиной с палец. Пребывая в шоке, я ничуть не испугался. Хозяйка на всякий случай пристегнула поводок к ошейнику.

— Скажите, какая нормальная собака будет жрать нефритовые камни? Только пьяная!

— Наверное, она перепутала их с шариками корма... они похожие... — предположила владелица пьяного пса. — Так это камни? Драгоценные?

— Да, черт вас дерит вместе с вашей псиной!

— Это пинчер, — обиделась женщина.

— Да? Сделайте пинчеру клизму!

— Она что вам, человек?

Шапочка сбилась набок, обнажив чистый лоб. На нем пролегла легкая бороздка. Пинчер гавкнул: «Ага!»

— Вот что. Сколько стоит ваш камешек? Я заплачу. — Она стала рыться в сумочке.

— Он бриллиантовый, на сто карат! — взорвался я. — Семейная реликвия, ясно вам?

— Реликвия должна храниться дома, а не в кармане с бутербродом, — веско заметила оппонентка.



— Да? Небось, думаете, что я питаюсь собачьим кормом, девушка?
— За девушку, конечно, спасибо, — медленно сказала старая дева. — Да успокойтесь вы, сядьте... Выход есть.

— Ну? — присел я на скамью. — Где выход?

— Прямой выход. Через толстую кишку. У собак он еще прямее, — засмеялась хозяйка собаки и помолодела на глазах.

— Вы что же, издеваетесь? Предлагаете копать в собачьем дерьме?!

И тут я начал трясти женщину за плечи, как облепиху по первому морозцу. Кажется, при этом не совсем прилично выразался, точно не помню. Хотя слово «сука» можно трактовать двояко.

Низко забрехал пинчер, натягивая поводок. Внезапно я ощутил боль в паху и разжал пальцы. Собаки пинаться не умеют. Лягаются лишь недокрашенные лошади деда Исты, недовольные окрасом, да люди. Выходит, эта стерва меня пнула! Я заново потряс оппонентку. Ее шапочка упала.

Упал и я, сбитый с ног ударом мощных лап. Сука ярилась на поводке, вращая зрачками, что кобыла. Кабы поводок был длиннее сантиметров на двадцать, она бы сомкнула клыки на моем горле. Собака даже не лаяла, а хрипела, удушенная ошейником, тянулась ко мне драконьей пастью, грозя вырвать скамеечную доску. От красных десен и клыков до самой земли тянулась жемчужная нить слюны.

Я отполз, встал, отряхнулся, стараясь не терять достоинства. Мужского. Народ же кругом. И тут меня с двух сторон повязали менты.

Наручников тогда милиции не выдавали. Так что держали меня за локти крепко, как японский патруль. Ментов, очевидно, вызвали сторонние наблюдатели. Говорят, мы орали на весь двор. Будто лаялись.

Подали экипаж в сто лошадиных сил. Я торчал, сплюснутый, в узком багажном отсеке патрульного «уазика». На поворотах на меня падал пьяный до невменяемости амбал-визави. Дышать было нечем. Наконец, очумев, я нашел выход: уперся ногами в грудь амбалу, зафиксировав его вертикально, так что на виражах болталась только его квадратная башка.

...Дверь скрипнула — я очнулся с ужасающей головной болью. И обнаружил, что дремал на цементном полу. Нос заложило. Ныла шея и затылок. От амбре амбала спасал лишь насморк.

— Эй, дебошир, на выход с вещами, — зевнул сержант, звякнул связкой ключей.

Я перешагнул через храпящего в темнеющей лужице громилу. Из вещей у меня были только нефритовые шарики. Были... Уцелевший после собачьей пасти шарик вместе с двумястами рублями и шнурками от ботинок изъяли перед тем, как водворить в ментовский обезьянник — что-то вроде звериного вольера без единой скамьи. Сержант тогда с подозрением повертел в руке нефритовое ядрышко. Сунул под свет настольной лампы:

— Это чего? Не наркота, не взрывчатое?

— Это нефрит, семейная реликвия... Артефакт, ясно? — просипел я.

— Поматюгайся тут еще, приобшчу... Хм, вроде не пьян... А чего оно в мешочке? Может, в химлабораторию сдать? — постучал шариком о стол дежурный.



Широкоскулое его лицо выражало работу мысли. Я прощел, что круглый предмет — память о матери. Довод подействовал. Шарик внесли в опись.

И все равно, маясь в обезьяннике, я беспокоился, что последний уцелевший шарик укатают в химическую лабораторию, где подвергнут инквизиторским пыткам кислотой.

Но шарик вернули. На часах дежурной части было за полночь.

Зашнуровывая ботинки перед окошком, уловил запах душистого мыла. Потом увидел женские ботильоны. Они несмело придвинулись. Острые головки ботинок были в пыли. Я ощутил фантомную боль в паху. Медленно поднял голову. Голова была тяжелой.

Передо мной стояла смущенная хозяйка пинчера. Чего-то в ней не хватало. Она улыбнулась, не размыкая губ.

— Извините. — Поправила прядь, выбившуюся из-под вязаной шапочки. — Я не вызывала милицию. Это соседи...

Из-за стеклянной перегородки выкрикнули мою фамилию и чью-то еще.

— К товарищу капитану. Оба! — сказали как приказали.

В кабинете позади дежурки сидел капитан с мятыми погонами. На щеке у него отпечатался след от кобуры.

— Да-а, — пробежал глазами листок капитан, — тут на вас, гражданин, понаписали... Типа, покушение на убийство. И две подписи. Прилюдно душил, угрожал, сукой обзывал... Так, Наталья Петровна?

— Сука — это моя собака, да, милый? — развернулась ко мне потерпевшая с заговорщицким видом.

Я промычал. Милым меня в этой жизни называла только мама.

Офицер хмыкнул.

— И вообще он мой... ну, как это... хахаль, вот! — покраснела и поправила шапочку. — Мы просто поспорили немножко... про аборт.

Теперь хмыкнул я.

— Суки, хахали, кобели... И когда это все абортируется? — вперил взор куда-то выше нас капитан. Подавил веки. — Короче! Претензий не имеете? Прочитайте и распишитесь.

Когда мы вышли из отдела милиции, сияла ущербная луна. На ней темнели фиолетовые пятна, похожие на окрас Дины. Вот чего не хватало! Точнее, кого.

— А собака где? — спросил я и поднял воротник куртки.

— Дина дома. Она умница.

— Ага, собаки умницы, это мы дураки.

— Просто люди не умеют любить. А они умеют, — вздохнула женщина.

В ночи пролегла тонкая нить понимания. Она пунктирно убегала вдоль улицы гирляндой иллюминации к высотным домам, где неон горела реклама. По пустым улицам, шелестя шинами, колесили редкие авто. Темнота черной кошкой, электризуя волосы на макушке, вытягивала из меня головную боль.

Мимо медленно катило такси — со скоростью предложения. Таксист был уверен, что уж эта влюбленная парочка с разбегу плюхнется на за-



днее сиденье, а подвыпивший кавалер не пожалеет чаевых. Я похлопал по груди — бумажные деньги покорно хрупнули во внутреннем кармане. Дома меня потеряли, факт. Жена уверена, что я напился. Захотелось спать.

— Ну спасибо, Наталья Петровна, спасли от застенок. Всего хорошего, — торопливо выпалил я и, сунув пальцы в рот, свистнул.

Такси остановилось. Спасительница пропищала в спину.

Упав на сиденье, я назвал адрес и спросил цену доставки. Денег вроде хватало. Я сунул руку за пазуху и кроме двух бумажек наткнулся на нечто твердое — нефритовый шарик в мешочке.

— Сорри, шеф, на минуту.

Я выскочил из машины и скачками нагнал хозяйку собаки, она уже перешла улицу.

— Что на этот раз? — круто обернулась Наталья Петровна. — Желаете, пардон, изнасиловать?

Ее лицо, наполовину освещенное фонарем, показалось странно красивым.

— Простите, ваш телефон... — выдохнул я.

— А-а! Хотите стать хахалем?

— Да я про шарик нефритовый этот... то есть про собаку! Вы мне сообщите? Ну, когда она... когда из нее выйдет... э-э... наружу.

До женщины никак не доходило. Раздался гудок такси.

— Дура! — крикнул я. — Когда твоя сука высрет мой шарик! Аборт, усекла? Апорт!

— Успокойтесь. — Она коснулась перчаткой моего плеча и быстро назвала череду цифр. — Никуда он не денется, ваш шарик.

— Ручка есть? — Я начал шарить по карманам.

— Выпить хотите? — сказала вместо ответа.

Я замер. Все равно меня дома потеряли. Знобило.

Такси, невидное на другой стороне улицы, издало два гудка. Я встал под фонарь и сделал отмашку. Зажглись фары. Машина тронулась.

— Так хотите выпить или нет?

— Хочу!

Мы рассмеялись. Нить понимания окрепла. Гирлянда иллюминации стала ярче.

— Водка? А стакан у вас есть? У меня ёк, — деловито сказал я и зачем-то похлопал себя по карманам, будто каждый день хожу с граненным стаканом наизготовку.

— Нету, — серьезно ответила Наталья Петровна. — Стакан и бутылка дома. Я рядом живу.

— Пошли, — шагнул я решительно.

Следующие десять минут мы шли молча. Я шагал впереди, а хозяйка пинчера и бутылки корректировала поступательное движение к цели.

Около подъезда я напомнил:

— Не забудьте стакан.

В этом же доме жил коллекционер-барыга. Я сел на скамью. Она была влажной, и я переместился выше, усевшись на спинку лавки, как это делают подростки.



— И, если можно, хлеба, — попросил я и пощупал во внутреннем кармане куртки нефритовый колобок — не убежал, нет? — Не могу пить без з-закуски, — клацнул зубами.

Даже ходьба не согрела.

— Вот что. Пошли ко мне, — категоричным тоном объявила Наталья. — Дождетесь первого трамвая. Еще простудитесь, не затем из милции вызволяла... Давайте быстрее, а то Дина с ума сходит!

Дома, конечно, меня потеряли, но не впервой же?

— Ладно. Перекантуюсь на коврике, буду гавкать, ежели придут вас насиловать.

— Ха! Размечтался! Место занято! — И меня пропустили в подъезд, обдав запахом душистого мыла.

Ничего не было. Хотя хозяйка выпила пару стопок. За компанию.

Я дремал в кресле.

А на коврике у двери спала псина. Иногда, скребя линолеум, она ворчала: мое присутствие в доме было явно не по собачьему нутру. Однако послушаться строгого «фу» не смела. Видать, и в самом деле, умница.

Ничего не было. Но был момент.

— Вы уж простите, — подошла на кухне близко. — У вас не болит... там...

Она царапнула ноготком ниже ремня.

— Так уж вышло... учили в кружке женской самообороны... Я и Дину почему завела? Дальний район, шпана, раз сумочку вырвали...

У гостеприимной хозяйки были накрашены губы и подведены тени. Ночью? Или почудилось в неровном кухонном свете?

Я ответил, что у меня внизу все нормально.

Был еще момент, когда, насосавшись водки, дремал в кресле под пледом. И ко мне подкрались и вопросительно тронули за плечо. Не поправили плед, а именно спросили о чем-то. Впрочем, это могла быть собака. В темноте примерялась желтыми клыками к горлу. Спящая госпожа не крикнет «фу».

Сон был прерывистый.

...Утром на лестнице я столкнулся с коллекционером. Он жил этажом ниже и, пока я спускался, елозил ключом в двери.

— Исай, обожди! Мы идем! — крикнула сверху Наталья Петровна.

Исай — это я. Назвался Истой, именем деда. Деду все равно, а я женатый человек.

Завидев меня, барыга переменялся в лице. Хотел юркнуть обратно в дом, но тут в пролете натянула поводок Дина, ее с трудом удерживала хозяйка.

— А-а, старый знакомый! — тряхнул патлами скупщик краденого и похабно вильнул бедрами. — А я думал: кто это всю ночь надо мной скрипит на койке, спать не дает?

— Пададь! — рванулся я без поводка.

— Но-но-но! Тих-тих-тих! — упреждая дальнейший выпад, зачастил сосед. — Опять в ментовку захотел?

— Так это ты, тварь, ментов вызвал?

— И правильно сделал, — спустившись на полмарша, пролаял этот тип. — А тварь распутная не я, не я! Кобеля ей мало, мужика подавай!

— Врешь! Она сука!

— Оно и видно! — торжествующе хохотнул и кубарем скатился по лестнице.

Пока не догнали. Дверь подъезда ухнула.

Меня удерживала собака. То, что таилось у нее в кишках. Я боялся потерять Дину из виду. Этот теленок мог запросто проглотить бабушку с чемоданом и Красную Шапочку с корзинкой. Но мне много не надо. Уж на утренней-то прогулке должен выйти наружу нефритовый колобок. Куда ему деваться? Он от бабушки ушел, он от дедушки ушел, а от меня, Колобок, далеко не укачишься.

Во дворе было пустынно, цоканье каблучков спешащих на работу модниц эхом отражалось от железных гаражей. Ледяные лужицы весело трещали под ногой — как в детстве. Земля была твердой. Мы оба не выспались. Однако я зорко держал наготове совок, Наталья Петровна — пакетик.

Ничего не было. Ничего постороннего в эксcrementах Дины.

Иногда я звонил Наталье Петровне. Справлялся о самочувствии Дины.

— Здравствуйте, — выдыхал я в трубку. — Что новенького?

— Здравствуйте, — равнодушно отвечали на том конце провода. — Ничего старенького.

Где-то гавкали.

Говорить было не о чем. Ничего нового. Собака не овца какая, чтоб опорочиться идеально круглыми катышками. Хозяйка вполне могла проглядеть нефритовый шарик. Допустим, заболталась во дворе с соседкой во время выгула Дины. А может, пинчер переварил драгоценный камешек соляной кислотой собственного производства? Говорят, она у собак в разы ядреней человеческой, особенно у сук в частности и у стервозных особей в общем и целом.

Но я продолжал звонить. Честно говоря, в звонках было слабое оправдание моей попытки продать нефритовую реликвию семьи.

Эти телефонные переговоры протянулись через жаркое лето. На деревянных столбах вороны успели свить гнезда и успели разлететься их птенцы; провода перечеркнули чемпионат Европы по футболу — говорить ночью мешала прямая трансляция; кабели связи легли поперек грядок огурцов, нещадно горевших на шести сотках, — мне любезно разрешили сделать звонок из конторы дачного товарищества; провода пролегли через отпуск — слышимость была отвратительной, я орал в тесной кабине сельской почты... Сотовой связи тогда не было в помине.

Жена начала с подозрением относиться к странно коротким обменам репликами по домашнему телефону, смахивающими на шифровки о свиданиях. Что новенького? Ничего такого. Ничего новенького в собачьем дерьме. Конец связи.

Обычно я звонил утром перед работой (жена с сыном уходили раньше), когда, по моим расчетам, Дину уже сводили на улицу. Звонил



по привычке: было ясно — пиши пропало. Прошляпили шарик. Или хозяйка собаки его присвоила и продала соседу-коллекционеру.

С наступлением отопительного сезона Наталья Петровна начала грубить.

— Здра-асте, жопа, Новый год! Что ж вы хотите, в самом деле, гражданин говночист? — визжала она раненой дворняжкой. — Не верите мне — придите и спросите Дину!

Впоследствии, едва заслышав мое заискивающее «здрасте», в отдаленном микрорайоне бесцеремонно бросали трубку.

...Я добирался туда с двумя пересадками, чертыхаясь и обливаясь потом в автобусной давке. В одной руке торт, в другой — портфель с бутылкой венгерского десертного. Я решил зайти к Дине с другого боку. Не забыл и пакетик собачьего корма: гулять так гулять!

Хозяйка была в затрапезном байковом халате с разными пуговицами. И губы не накрашены. И тени не наведены. И это ей странным образом шло. В глубине великоватого разношенного халата угадывалась стройная фигура.

Наталья Петровна, завидев торт, страшно перепугалась. Бросила меня в прихожей с гостинцами, метнулась к шкафу, уронила плечико, пытаясь переодеться в платье под прикрытием дверцы, возилась, чертыхаясь, с молнией. Квартира была однокомнатной, старой планировки, с короткой прихожей, так что я видел все. Почти все.

Я покашлял. Покраснела, швырнула платье обратно в шкаф и заколола вырез халата брошью. Но я успел зацепить взглядом сильные ноги бегуни на короткие дистанции, ложбинку, убегающую в черный бюстгальтер, и втянутый живот. Побегай-ка наперегонки с пинчером! Хозяйка в ответ на нечаянный комплимент сообщила, что в старших классах занималась спортивной гимнастикой.

Дина легла поперек прихожей, вывалив язык и пустив слюну. Пришлось ее обойти, вжимаясь в стенку. Хозяйка крикнула «фу» — собака посторонилась. Я уже засек, что, несмотря на устрашающие габариты и пасть размером с обувную коробку, это чрезвычайно добродушное животное. Домашнее!

Наталья Петровна не могла усидеть в тесной кухоньке за столом, крытым вытертой клеенкой, то и дело порываясь что-то там разогреть. Ее волнение передалось мне. Я никак не решался коснуться цели своего визита. Тут кремовый торт, а там, пардон, шоколадный цех. И нефритовый шарик вместо вишенки.

«Наталья Петровна». Я держал дистанцию до последнего. Защищался от душистого запаха мыла. Меня она звала по имени, но это абсолютно ничего не значило.

Мы звякали ложечками-фужерами и вели беседу о высоком, к примеру о погоде и прохладных батареях, ругали власть и реформы — тщательно избегая низких тем, связанных с выгулом домашних животных. Я спросил про соседа.

Наталья Петровна оживилась:



— А знаете, Исай, она же его укусила! Представьте, это Дина-то! Она же кошки не обидит! Ей уличный кот морду расцарапал, водила к ветеринару...

Выяснилось, сосед-коллекционер обнаглел после того, как засек, что я ночевал у Натальи. Решил, что она водит к себе мужиков. Делал недвусмысленные намеки, в Пасху заявился на порог пьяный, с бутылкой водки. Наконец, утром перед собачьим променадом прижал на лестнице и хлопнул пониже спины. Дина укусила ухажера. Приревновала, спросил я. Она же сука, был ответ. Укусила и тут же испугалась, спряталась за хозяйку, чуть не сбила с ног. Сосед убежал с проклятьями и угрозами. Что отравит немецко-фашистскую овчарку, хотя Дина не овчарка. С тех пор, как увидит соседа, даже на балконе, — рычит. А раньше не рычала.

— Хм-м, — выдохнул сигаретный дым из ноздрей. — Наверно, Дина и на меня обижается, а, Наталья Петровна?

Я вытянул шею из-за стола: в глубине прихожей мерцали зрачки.

— По крайней мере, не рычит на вас, — жестом попросила сигарету хозяйка. — Я же говорю, умница. Дина видит мое отношение к вам и собачьим своим умом делает выводы.

Я дал прикурить. Собеседница прикуривала неумело. Я подождал, когда она прокашляется, и спросил нейтральным тоном:

— А как вы ко мне относитесь?

— Я-то?

— Вы-то!

— Да прекрати ты выкать Наталье Петровне!

И ее чистый круглый лоб отличницы разгладился. Серые глаза приблизились, пугающе потемнели.

— Я отношусь к вам... к тебе... не как к хахалю. Очень хорошо. Вот.

И попросила называть ее Таташей. Или Татой. Я едва успел загасить сигарету — хозяйка, демонстрируя поразительную гибкость бывшей гимнастки, перегнулась через стол. Мы поцеловались, едва не смахнув высокое горлышко венгерского десертного.

А у меня бзик, еще с сопливого отрочества. Теряюсь, как только ощущаю на губах партнерши табачный привкус. С тех пор, как старшеклассница поцеловала в тамбуре поезда Улан-Удэ — Москва. Наш класс премировали путевкой в столицу за сбор металлолома, а девица была племянницей завуча школы. Она умела курить взятяжку и целоваться умела, получается, взятяжку.

Для меня так и осталось загадкой, в какую минуту Наташа успела разложить диван-кровать.

За дверкой, отделяющей единственную комнату от прихожей, металась и выла Дина, стуча когтями по линолеуму. Я признался Наташе, что не могу соответствовать текущему моменту — из-за внешних раздражителей. Дескать, голой спиной чую холодную слюну, ниспадающую с клыков. В конце концов, укусила же Дина мужчину, хотя и поделом. Вдруг она решит, что хозяйку опять хлопают пониже спины? А против воли или по согласию — собаке неведомо.

Тата предложила поменяться местами. Теперь я был защищен с тыла. Но момент был упущен. Распластанный, я думал о собаке.

Таташа встала, слабо белея в свете уличного фонаря. Начала искать халат. Фигура, подсвеченная, выгравировалась в раме окна. Она прошлепала босыми ногами, заперла собаку в санузле, скрипнула диванной пружиной, скользнула соском по щеке. Ступни были холодными.

Дина завывала с новой силой, заскребла когтями в дверь ванной. Вой этот, протяжный, нутряной, прожигал дом-пятиэтажку насквозь. Чувала неладное. Ревновала, хоть и сука.

Попал впросак. Я предложил Тате остановиться. Просто полежать. И выпустить собаку.

Псина, повизгивая, чуть не вынесла дверь ванной. И разом заткнулась, что ребенок, заполучивший соску. Потом несмело прошла в комнату.

Глядя на геометрический рисунок строительного крана, который циркулем маячил в окне, на диковинные тени, царапающие потолок, мы немножко поболтали. Таташа, не поворачивая головы, спросила, зачем я *убиваюсь* из-за камешка?

Под собачьи вздохи я рассказал про нефритового дракона и шарики, спасшие наш род. Как пить дать (шаману Ордо), не сжуй крашенная дерьмом краденая кобыла коммунистическую грамоту, японцы вырезали бы семью деда Исты. Включая дочь Валу, мою маму. Выходит, шарики спасли жизнь и мне. Тут я непроизвольно вжал ухо в подушку. Про несостоявшуюся продажу нефритовых шариков соседу я умолчал.

Таташа гладила мою щеку. Я еще что-то говорил. Счастлив мужчина, которому в ночи внимает женщина.

Хозяйка слушала, как собака, ориентируясь на интонацию, не понимая слов. Но одно слово ее проняло: мама.

Тата, Таташа — так ее звала мама. А больше никто. Мужчин у нее практически не было. Так и сказала: практически. (Хм, бывают и «теоретически»?) А вот у мамы хахаль был. Этим определением она наградила гостя — немолодого, с животиком, в очках, — когда застала его с мамой, сидящих на кухне за бутылкой вина. И больше хахалья не видела.

Они так и прожили с мамой в этой квартире, им не было тесно. По ночам мама плакала на этом же диване. Как-то утром Тата сказала: пусть хахаль возвращается, она не против. Ляжет на раскладушке или уйдет на съемную квартиру. Поздно, шептала мама, белея непрокрашенными корнями волос.

Вот в наказание повторяет судьбу мамы, после паузы продолжила ровным голосом Тата. И даже носит мамин халат. Как собака, ловит запах, исходящий от халата, слабеющий год от года. Запах болгарского лицевое крема «Медовое молочко» и нерафинированного растительного масла. А еще детского мыла: мама верила, оно оберегает от морщин, — теперь она сама им пользуется...

Последние слова Таташа произнесла в нос и подозрительно умолкла.



По потолку ползло ромбовидное пятно от проезжающей машины; я проследил, как оно преломилось в углу, встал, деловито натянул трусы. Перешагнул через собаку, не зажигая света, принес из кухни остатки вина и чайник.

Тата громко высморкалась в наволочку и выпила воды прямо из носика чайника. А я, раскрутив бутылку, допил вино из горла. И мы облегченно рассмеялись.

Послышался стук. Дина беспокойно била хвостом. Псина не дремала. Сторожила, чтобы наш моральный облик находился выше уровня дивана-кровати. Защищала дом, как и положено псу. Спасала семью. Мою семью.

Так что хахаля из меня не случилось. Или он случился «теоретически».

Лунные потеки в окне, тихий разговор разнополых людей в горизонтальном положении, холодные ступни, вздохи и зевки большой собаки, чистый запах детского мыла — все это так и осталось лучшим кадром. Я часто прокручиваю эту короткометражку уходящей природы, потому что в ней нет ничего материального. С любого боку.

«Ни одну ночь он не ложился без женщины, но ни разу не пролил семени хотя бы с горчичное зернышко». Пролив более горчичного зернышка и дождавшись внуков, я наткнулся на зерно в жизнеописании Далай-ламы VI. Привет с китайской стороны. Оправдание слабости как проявление силы особого рода. Именно — рода.

Однажды раздался звонок. Трубку взяла жена. Спросили Исяя.

— Такого здесь нет.

— Нет, такого там есть, — твердо сказали в трубке.

Женский голос, чеканя согласные, сообщил, что звонит по просьбе Натальи Петровны: умерла Дина.

— Что? Кто? — крикнула жена.

Но трубку повесили, не дожидаясь соболезнований.

— Ничего не поняла. Кажется, ошиблись номером.

Не ошиблись. Звонили по мою душу.

Вряд ли Дину отравил укушенный сосед. Скорее скончалась от старости: собачий век короток. И унесла с собой тайну исчезновения второго нефритового шарика. В любом случае добродушная псина приняла и переварила, как Нохой, все зло и соблазны людского мира и ныне с чистой совестью бегаёт, согласно косноязычной теории опального ламы Ордо, по накренившейся планете на дальней от Сумбэр-Ула орбите, в юго-западной райской стране Диваажан, где много диванов-кроватей и все существа пьяны от вечного счастья.

— А кто это — Дина Петровна? — отвлекла от теоретизирования жена. — Ветеран войны? Пойдешь на вынос?

Я растерялся:

— Типа того... Ветеран тыла... Надо бы сходить. Хороший был... человек.

Шапочка от куклы-нингё

Я вышел из маминого животика. И сразу, как Геракл, совершил подвиг.

Неудачное начало, знаю. Сейчас даже дети «б+» не верят, что их нашли в капусте или их принес в клюве разносчик пиццы (аисты в наших краях не водятся). И в школе, кажется, просвещают. Говорят немыслимые в прежнее время вещи. Прежде пионерам глубже пестиков-тычинок знать не полагалось. Ни на пестик.

Теперь о подвиге.

Помню, мама, отвечая на мой вопрос, правду ли болтает во дворе рыжий Ренат, двоечник, силач, хулиган, короче, отличный пацан, — начала путаться в показаниях. Сначала: вроде бы меня нашел участковый уполномоченный в партии конфискованной капусты из ларька «Фрукты-овощи». Потом, тербя клеенку кухонного стола, выдавила, не смотря в глаза:

— Ты знаешь, сынок...

Мама сделала трагическую паузу. Я перестал хлебать компот.

— Ты вышел из маминого животика...

И покраснела, что пионерский галстук. Врать мама не умела. Она что-то еще лепетала на троечку, словно ее врасплох вызвали к доске.

Я хотел успокоить маму, что все давно знаю. Как-никак перешел в четвертый класс. Достаточно зайти в школьный туалет, чтобы понять из правдивых рисунков на стене и энергичных подписей к ним, откуда берутся дети. Да и на улице просветителей без Ренатов хватало. Но во время прикусил язык.

Успокоившись валокордином, мама дала следующее признательное показание:

— ...и родился недоношенным, семимесячным.

Минуточку. Выходит, я — недоносок?! Здрасте вам с кисточкой и косточкой из компота, которой я при вновь открывшемся обстоятельстве чуть не подавился.

В точности неизвестно, сколько я весил, выйдя в свет, но гирька весов стронулась лишь после вторичного завешивания синенького тельца и едва одолела первое деление. «Не жилец», — шептались нянечки родильного отделения. Мама притворилась спящей и слышала приговор. Если бы нянечки были японскими, они бы сказали: нингё. Дословно — игрушечный человек. Проще — кукла.

Тогда не было кюезов. Мне был уготован кювет дороги жизни.

При любом исходе заявляю в письменном виде, что уже одним фактом явления в мир я совершил подвиг. Причем не отходя от места рождения. Человечество я вряд ли осчастливил, зато сделал таковым одного человека. И этого вполне достаточно.

Мама была сердечницей, заядлым гипертоником. Значение слова «стенокардия» я узнал прежде правильного ударения в слове «писать» (не в стол — в горшок). Без отрыва от груди. Правда, долгое время, даже уже будучи октябренок, считал, что в плохую погоду маму душили стены. Вот вам и стенокардия. Возможно, так оно и было. Запах лекарств сопровождал меня с пеленок, заглушая кислый дух описанных ранее пеленок.



А в канун моего рождения верхнее давление беременной зашкаливало за риск «220». Ждали инсульта или инфаркта. Третьего не дано. Но я нашел третий путь. Сообразил головой. Просек кесарево решение и сечение. Без него мои шансы на эту жизнь равнялись нулю (похожему на голову куклы-пупса).

Самая большая кукла из семейства пупсов достигала размеров зрелой кошки, не считая хвоста. Дорогие экземпляры при наклоне говорили: «Ма-ма». Пластмассовых кукол на родильной фабрике одевали с головы до ножек. Туфельки, чулочки, платице, банты, даже сумочка и, наконец, шапочка. Она была из байки, сбоку пуговичка.

Тогда не было УЗИ, предсказывать пол ребенка не умели. Мама хотела дочку. Подруга подарила куклу-пупса. Нингё — с ходу назвала ее мама. Шапочка от куклы идеально подошла к моей бедовой головушке размером с мамин кулачок. Мягонькая байка не вызывала раздражения кожи, а петелька с пуговичкой уберегала от сквозняков.

Говорят, при наклоне я изрекал: «Ма-ма». Вжился в образ. И в жизнь в целом.

Мама вплоть до своей кончины в семидесятитрехлетнем возрасте хранила байковую шапочку. По семейным торжествам она извлекала ее на свет и приговаривала:

— Молодец какой... маму спас... Умница... вылез... не струсил...

Все эти славословия относились ко мне. Иначе говоря: не отсиживался в окопе, вылез под шквальным огнем калибра 220, закрыл тщедушным тельцем пулемет, обеспечил продвижение наших.

«Наши» — это мои внуки.

Со временем байка с мелким цветочным рисунком вылиняла, но благодарная мама хранила шапочку от пупса в дальнем углу комода, перекладывая ее богородской травой и крапивой. От моли. После мамы я вложил внутрь шапочки пакетик силикагеля, обернул ветхий головной убор чистой марлей — никакого целлофана! — и поместил его в боковой кармашек фибрового чемодана.

Я родился если не в рубашке, то в шапочке нингё. Как в каске.

Мама всерьез утверждала, что, едва высунув головку меж ее ног, я заорал что есть мочи: «Ура-а-а!» Хочется верить. Однако тут скорее преувеличение. И преуменьшение давления у роженицы до нормы. Так мама одолела седьмой месяц беременности, находясь на седьмом небе.

По поводу моей недоношенности она впоследствии особо не заморачивалась, то и дело повторяя: «Вырос не хуже других». Ну, не знаю. Сие спорно. Взять хотя бы бытовое пьянство... Впрочем, о том потом, потом.

Но тогда, на кухне, я помню, она понизила голос, хотя мы были одни. И строго наказала не рассказывать о нашей тайне. Выловив из компота абрикосовые косточки с целью извлечения на дворовой скамейке скользко-сладких ядрышек, я кивнул с набитым ртом. И в дальнейшем благо-разумно помалкивал во дворе. Еще обзовут недоноском.

А нынче чего терять? Ловить врагам нечего. Или некого. Пусть обзывают. Жизнь худо-бедно прожита. Состоялась, поправляет жена, наливая компот старшему внуку (младшему компот не рекомендован, а то подавится косточкой, пусть пока обходится морковным соком).



Но я не об этом. Все люди вышли оттуда, в конце концов. И не делают из этого далеко идущих оргвыводов.

Я вышел в люди из маминого низа, как из шинели участкового.

Мне не в чем было идти в детский сад. И мама на вывезенном из Хайлара «зингере» пошла пальтишко — из собственных теплых трусов производства китайской фирмы «Дружба».

Ни хао себе! Посылка со второй родины. Наложённым платежом.

Надо ли говорить, что китайские панталоны с начесом очень ценили торговки замороженными кругами молока, штукатуры-маляры, сообщницы воров на стреме, надсмотрщицы СИЗО, почтальонши, плакальщицы на похоронах, сторожихи, путевые обходчицы, дворничихи, вокзальные шалавы и другие женские лица, по роду занятий весь световой день, с захватом темного времени суток, пребывающие на свежем воздухе. Однако в первую голову их ценили роженицы — те же торговки, штукатуры-маляры... далее по списку выборочно.

Дамские панталоны были необъятными, до колен. Дружба не имела границ. Так что материи хватило не только мне на пальто, но и на капюшон. Тогда капюшоны, несмотря на очевидную их практичность, в Стране Советов почему-то носили лишь агрономы, постовые и рыбаки-моряки (вкуче с прорезиненными плащами).

Уже зачехляя «зингер», мама вдруг вспомнила капюшоны японских солдат, расквартированных в маньчжурском городе ее детства. В непогоду капюшоны пристегивались к шинелям. Будучи удобным изобретением японской военщины, капюшон однажды спас жизнь младшей сестре отца Мане. К ней, двадцатилетней девушке, пристал на улице солдат. Дернул за руку. День был пасмурный, а его намерения ясными. Маня толкнула вооруженного ухажера в грудь. Уязвленный отказом, он решил уточнить, кто в Маньчжурии хозяин. Хотел снять винтовку с плеча, но примкнутый штык зацепился за капюшон — и тот упал на глаза. Пользуясь заминкой, Маня со всех ног кинулась прочь. Прежде чем завернуть за угол, оглянулась: солдат тащил в проулок другую жертву...

На улицах Улан-Удэ незнакомые женщины подходили к нам, спешащим в детский сад, и спрашивали, где мама достала дивную вещицу с капюшоном, не «инпортная», нет? Мама краснела и лепетала про нингё.

В определенном смысле — импортная. Там еще на бирке иероглифы мелким шрифтом. От Магадана до Москвы интимные места советских граждан обоих полов натирал ярлык с каллиграфической вязью по-русски: «Дружба». Она украшала кальсоны и женские панталоны голубовато-тошнотного колера. Цвета детских горшков, ползунков и коридоров приемников-распределителей. Тогда слово «фирма», отдающее капитализмом, было под негласным запретом. А вот фирму «Дружба» широкие массы РСФСР знали и видели каждый день — во все глаза не китайского разреза. Эта «Дружба» не имела ничего общего с самой популярной в полевых условиях закуской — одноименным плавленным сырком за двенадцать копеек: он сплавлял дружбу случайной компании на время. Там, в кустах и за углом. А тут русский с китайцем — братья навек.

Пошитое пальтишко с капюшоном, прообраз модной парки-пуховика, мама перекрасила в химчистке в синий цвет. Чтобы по примеру деда



Исты, красившего ворованных коней, окончательно замутишь тайну происхождения ходкого товара.

Много лет я гадал, отчего столь высоким штилем обозвали изделия, призванные прикрыть срамные, как ни крути, места. Фирма-то государственная. И заключил, что здесь есть своя логика. Что может быть важнее сих мест? Заслон простатиту, циститу, мини-юбкам, бикини, сексу и прочему тлетворному влиянию Запада. Потому что там голый до гусиной кожи расчет, а тут взаимное чувство. С начесом.

Неслучайно в конце 1960-х стараниями хунвейбинов, бегавших в мягком климате без кальсон, дружба соседей резко пошла на убыль. «Дружба» исчезла с прилавков галантерейных магазинов. Начес вытерся — началась холодная война. Дутое чувство сдулось сразу после парада с шариками и транспарантами.

На память от пальтишка с капюшоном осталось фото, на котором я стою в нем рядом с мамой и шариками. Да бирка «Дружба» на капюшоне. Пальтишко сгнило, после того как молодая родственница, абитуриентка, гостившая у нас месяц, из чувства благодарности без спросу помыла им пол. К тому времени самошвейное изделие и в самом деле напоминало тряпку. Зато бирка и по сию пору как новая.

На байковую шапочку от куклы я осторожно (байка расплзлась) нашёл ярлык «Дружба». Вышло красиво — наподобие лейбла «Адидас». Фирма. Винтаж.

Любая фирменная вещь, не согретая памятью, по сути, половая тряпка. Но по молодости мы этой низости — ниже плинтуса — не понимаем.

«Не форсить» — с детства помню мамину присказку. Пусть некажисто, зато в тепле. А на взгляды девчонок плевать с ледяной катушки.

Сохранилось ещё фото. На нем, помимо валенок, на меня напялены полосатые штаны на ватине (не из матраса, нет?), причем штаны с напуском, чтобы в валенки не набился снег; далее цигейковая шубка и округлая шапка, намертво прикрепленная к башке резинкой, выдернутой из маминых панталонов «Дружба». Как это принято у кочевников, в дело шли субпродукты забитого животного — от шкуры до кишки-резинки. В довершение я на фото крест-накрест опоясан пуховым оренбургским платком, узел на спине сокрыт — только глазенки и видны. Ни повернуться, ни пукнуть. В овчинной рукавичке зажата веревка от санок. Санки в кадр не влезли, зато на втором плане впечатан санный след с горы. Также в углу снимка торчит собачий хвост. Полуовчарка Джек с лаем бежала рядом, покуда я на санках катился с пригорка. Однако и без Джека хватало опекунов.

Мама тряслась надо мной. Кутала. Одевала в сто одежек — что капусту, в которой меня едва не нашли. Но застежки были. Смутное воспоминание в поликлинике: мне невыносимо душно, давят стены (не стенокардия, нет?), за ворот течет струйка пота, а по слогам выразить протест не могу, ору что есть мочи, отчего потею еще больше.

Я потел и часто болел. Обратная сторона тотального материнского прессинга по всему полю. Сквозняк по левому флангу и навес в штрафную.

Во втором классе я едва не сыграл в жмурки от воспаления легких.

В третьем классе мне сделали проколы от гайморита.

В четвертом вырвали коренной зуб. Не молочный.

В пятом вырезали гланды.

В шестом классе из ложного чувства товарищества я выкурил полпачки «Шипки» без фильтра и угодил в реанимацию.

В четвертом десятилетии бытия я в бессознательном состоянии залег в наркологию...

Минуточку. Эдак мы ни в жисть не доберемся до предмета описи.

Проскакивая листы анамнеза, заострим внимание на пятом десятке лет, когда онкомаркер выдал положительный результат. Никаких положительных эмоций, сами понимаете.

А виной всему кальсоны фирмы «Дружба». То есть полное исчезновение их с прилавков. Этот факт нуждается в подробностях.

«С этого места поподробнее, пжалста!» — кричал в таких случаях мой однокурсник и жизнелюб Петена, когда рассказ опускался ниже пояса. Сережа Петенко был очкаст, патлат, круглолиц, похож на раннего Элтона Джона. Похожесть усиливали пальцы-сосиски, ими он виртуозно бегал по клавишам старенького пианино в фойе филфака, чем сражал филологинь наповал. Но сэр Джон оказался геем, о чем заявил для печати, а Серега был бабником, о чем неоднократно делал заявления не для печати. В обоих случаях не стреляйте в пианиста. По окончании универа Петена устроился клавишником в оркестр ресторана «Интурист». Серега всегда шел туда, где, как в биосферном заповеднике, в изобилии водилась дичь — доступные женщины, которые не боятся охотников-мужчин и берут корм из рук интуристов...

Но мы отвлеклись от просьбы. Пжалста. Со всеми подробностями.

В детстве я думал, что к урологу направляют уродов. Моральных, разумеется, ибо внешне пациенты не отличались от прочих людей. Пациенты во дворе разделяли мою точку зрения. Кабинет уролога находился наискосок от процедурной, где мне делали проколы в носоглотке. Никаких бивней, клыков, панцирей и рогов у сидевших в очереди пожилых мужчин и редких женщин не наблюдалось, сколько я ни всматривался. Вставая, они не стучали копытами и не прищемляли хвостов, торопливо закрывая за собой дверь с надписью «Уролог». И я решил, что изъяны у них кроются внутри, в уродливых склизких кишках. Недалеко от полупереваренной истины, кстати.

Однажды утром я испытал боль при мочеиспускании. Нет, не то, о чем подумал Петена. Французским насморком тут и не пахло — я нанес визит урологу и узкий специалист снизошел до философских обобщений.

Какой-то специфический антиген показал превышение. Антиген однозначно выступал против моего имени. «Предстательная железа» — звучало предательски.

Повторный анализ подтвердил тревожную динамику. Мне назначили биопсию. Знающие люди понимают, чем это пахнет. Дело пахло керосином, изрекал во дворе дядя Рома, описывая в сотый раз, как тонул после фашистской бомбежки при форсировании Днепра. Но дядя Рома

выплыл, сбросив шинель, вещмешок, котелок, сапоги — все, что тянуло ко дну. Все, кроме автомата ГППШ на шее.

Этот геморрой хуже любого гайморита. Эту беду не подпалить керосином. Не вырезать штык-ножом. Не выжечь ротным огнеметом. Опухоль расплзалась по-пластунски, пожирая здоровые клетки, а по ночам перегруппировывалась, подтягивала резервы для решающего броска.

Оставалось идти ко дну. В темно-свинцовые воды диагноза. И тут я запил.

Я бы, может, не сорвался в штопор, кабы не два случая накануне. Направляясь к урологу в черных очках (зачем нацепил, непонятно), завернул в магазин без всякой цели. На самом деле цель была: я неосознанно тянул время.

Дворник сгребал кучи рыхлого грязного снега с тротуара на обочину проезжей части. Я поднял воротник. Дул мартовский ветер. Низкое небо раздавило солнце, и оно подтекало яичным желтком из-под свинцовых пластинчатых туч.

Высокое крыльцо магазина обычно облепляли бабки, торговки луком, чесноком, серой, домашними соленьями, а то и чекушками паленой водки из-под полы. Дурная погода их распугала, на стульчике нахохлилась одинокая тетка. Пальцами в обрезанных шерстяных перчатках она раскладывала на ящике свой товар — бумажные и тканевые цветы. Такие носят на кладбище.

Я рванул тяжелую дверь универсама.

Купил сигарет, хотя дома лежал блок фальшивого «Винстона», и на выходе, в тамбуре, обнаружил попрошайку. Представители этой древней профессии выглядят одинаково: пуховик невнятной масти на размер больше, засаленная вязаная шапочка, растоптанная обувка, картонка с косыми буквами в руках и обязательно — смиренный и тусклый взор. А тут женщина средних лет, одетая не лучше, но и не хуже, чем посетительницы магазина, держала отпечатанный на принтере текст. И смотрела на проходящих не уводя взора, словно не просила подаяние, а находилась здесь по служебным обязанностям, рекламировала товар или кандидата в депутаты. А главное, у нее были накрашены губы!

Я замедлил шаг — меня толкнули, извинились — и взгляделся в листок бумаги, который был наклеен на кусок ДВП: «Внимание!!! Не проходите мимо! Срочно нужны деньги на лечение мальчика...» Н-да, текст не отличался оригинальностью. В шкодливые годы реформ сотни таких мамаш стояли в подземных переходах.

— На что деньги? — достал я пачку «Винстона».

— Здесь же написано! На операцию, — с достоинством разлепила кровавый рот просительница и выдавила ямочку на припудренной щечке.

Она не выглядела несчастной, всем видом показывая: гражданин, если любопытство праздно, то идите себе дальше.

— А какая... операция? — холодея от сквозняка и надвигающегося ужаса, спросил я, убеждая себя, что это очередная туфта, лапша на уши сердобольным простакам.

— От рака, мил человек, химиотерапия, вишь ты, не помогла... — пропела намеренно просторечно, с неким вызовом красногубая, как Смерть, женщина. — От рака, таки дела.

Я вздрогнул и мигом вспотел.

— Ты, это... давай ври, да не завирайся! — тонко выкрикнул и бросил в картонную тару у ног попрошайки нераспечатанную пачку сигарет. — Нашла чем шутить, мошенка!

Не мошенница, а мошенка. От волнения, не иначе. А ведь высшее филологическое образование, мля.

Я ломанулся к двери, расталкивая людей, срывая черные очки. И на крыльце чуть не перевернул ящик с кладбищенскими цветами. Торговка вскрикнула: пара бумажных гладиолусов упала на заплыванный цемент.

— Какого черта? — вскричал я, поднимая цветы. — До Родительского дня еще два месяца! Кого хоронить собралась?

— Простите, — донеслось из-под капюшона. — Хлеба купить... Не до хорошего... А цветочки кому мешают? Извиняйте уж...

— Но это же для мертвых! — оборвал я извинения. — Цветы для мертвых, понятно вам?

У врача я очутился не помня себя, взъерошенный, что воробей после долгой зимы. И зачем, дурак, отдал пачку сигарет? Чтобы больной раком мальчик закурил с горя? Глупость, тупость! К тому же, кажется, успел поругаться в очереди, крича, что повторные больные идут через одного. Куда торопился? Повторно на тот свет?

— Да вы садитесь, — сказала медсестра.

Но сидел я недолго, кратко отвечая на рутинные вопросы. Все было ясно без слов и биопсии. Уролог завел меня в соседнюю комнату, где стояла большая, чуть ли не двуспальная, кушетка. Я начал расшнуровывать туфли, но врач жестом показал, что ложиться не требуется.

Врач был молод, с модной недельной небритостью, под халатом вельветовые джинсы. В окне грачи, а может, вороны, я в них не разбираюсь, сидели на ветке старого тополя и глядели на меня. Захотелось их прогнать, даже рука дернулась.

Мне велели спустить штаны и повернуться.

— Нагнитесь.

Раздался легкий хлопок: уролог натянул перчатку.

— Раздвиньте...

До меня донесся запах табака. Интересно, где курит уролог? На крыльце, где с ним, с его модной небритостью, заигрывают медсестры, сексапильно держа сигаретки в алых ротиках? Вот лучше бы отдал «Винстон» урологу...

Меня пронзила боль. Ход мыслей спутался. Узкий специалист действовал широко, гуляя указательным пальцем, как у себя в квартире.

Боль усилилась. Наверное, я мычал, как бык в загоне убойного цеха мясокомбината, если в комнату заглянула медсестра. Я крикнул себе под ноги:

— Полегче там!.. Как Элтон Джон, ей-богу!

— Потерпите...



Правильно, что не отдал «Винстон» уроду урологу.

— Одевайтесь.

Снова раздался хлопок. Врач стянул перчатку и бросил под раковину. Вид у него был озадаченный.

— Хм... У вас гладкая мускулатура уретры... В общем, с ней не все гладко.

— Ага, я вам не Элтон, черт возьми, Джон, — буркнул я, затягивая ремень.

— Кстати, — потер небритый подбородок врач, — кто это?

Ворона за окном нетерпеливо каркнула.

— Как? Разве вы не слышали? — тянул я время. — Э... профессор урологии... Британское вторжение...

— Я так и думал, — кивнул доктор. — Видел в журнале у коллеги.

— Простите, доктор, мою невыдержанность. — Я сел на стул. — Но вы понимаете мое положение?..

— В вашем положении нет ничего унижительного.

— Скажите, дорогой... — назвал я врача по имени-отчеству, — только честно, сколько мне осталось?

Медсестра, молоденькая, с пухлыми губками, наморщив лобик, приготовилась писать.

— Не скажу, — покачал головой уролог. — Картина неясная. Нужно инструментальное исследование. Вам придется лечь в клинику... Таня, запиши. Если исключить в анамнезе инфекционную природу заболевания, то налицо длительное воздействие низких температур на мочеполовую сферу. Вы не строитель ведь? Плюс малоподвижный образ жизни, жирная пища, вредные привычки, застой венозной крови в малом тазу, ну и эректильная дисфункция, так?.. Вот направление и рецепт. Надеюсь, опухоль не злокачественная.

Он надеется!.. Приехали. Любишь кататься с горки — люби и саночки возить. Забыл мамин завет — носить теплые кальсоны фирмы «Дружба»? Теперь накроет медным тазом в области малого таза.

Между прочим, для операций в зимних условиях на севере Китая пехотинцам японской императорской армии выдавались шерстяные кальсоны. А поверх — шерстяные стеганые штаны. Будучи подростком, мама видела белеющее солдатское исподнее, в котором вояки без стыда копошились прямо на улицах Хайлара. При этом штаны были с напуском на ботинки — они их постоянно забрызгивали, справляя малую нужду. Двигаясь перебежками на утренние занятия в тети-Манином тулупчике, коротком, вытертом и холодноватом, ученица советской школы второй ступени Валентина Мантосова с завистью примечала, что даже для фляг и котелков у солдат имелись утепленные чехлы: они не давали остыть горячей пище.

Ведь что такое малый таз, философски поскреб щетину уролог, это не что иное, как походная емкость для естественного бульона. Если не поддерживать в ней тепло, то бульон становится питательной средой для болезнетворных бактерий. Страдает и детородная функция. Жизнь начинается и кончается в малом тазу.



Неудивительно, что японцы — хронические долгожители. Но войну они проиграли. А мы хронические победители. Над внешним врагом, не внутренним, который внутри тебя.

На худой конец, можно было поддевать под брюки женские или мамины рейтузы, как это практиковалось в старших классах, когда «Дружба» пошла на убыль. Так нет, надо было, козлу, форсить зимой в узких джинсах — под них едва хэбэшное трико и влезало. Теперь сливай воду. Ниже пояса.

«Кар! Кар! Кар!» К вороне на ветке подлетел ворон — несомненно, не грач, грачи, по Саврасову, символы весны и жизни, а эти твари только и знают, что вещать беду, — и воронье торжествующе закаркало с новой силой.

Рецепт я небрежно сунул в карман: поздно пить таблетки в салоне ритуальных услуг. Зато направление изучил вдоль и поперек, даже понюхал его. Пахло духами медсестры — тошнотворно. На листике с ладонь было наименование больницы, маленькая круглая печать врача, подпись и всего три буквы: РПЖ со знаком вопроса.

— И куда это меня послали на три буквы? — сунул я листок в окошко регистратуры и ногтем отчеркнул загадочную аббревиатуру, смутно надеясь, что буква Ж означает нечто жизнеутверждающее.

— А вам разве не объяснил узкий специалист? — осторожно ответил кто-то по ту сторону стеклянной перегородки (виднелся только белый колпак). — И кстати, тут знак вопроса... диагноз предварительный... Обратитесь к врачу.

— А я, как пациент, требую... Буду жаловаться в Минздрав, — громко постучал я костяшками пальцев по матовому стеклу.

— Ну хорошо... Но учтите знак вопроса. — Колпак пришел в движение, и мелодичный голос извещал: — Видите ли, РПЖ — это рак...

Дальнейшее я не слышал. На меня обрушилась стена тяжелого матового стекла.

«Рак! Рак! Рак!» — каркали во все горло черные птицы на корявом тополе, когда я вышел на крыльцо поликлиники, где жизнеутверждающе курил другой узкий специалист. Я решительно взял курс на универсам, где был накануне. Не за сигаретами — за водкой.

Слова из регистратуры догнали меня в пути и мерно, в такт шагам, ворочались остроугольным щебнем в черепной коробке: «Рак... предательски... железно...»

На крыльце и в тамбуре магазина было чисто, гулял сквозняк: накаркавшие диагноз торговка и попрошайка испарились. Нагадили и смылись.

Жены дома не оказалось, что в моем неунизительном положении было к лучшему. На плите стояла теплая кастрюлька.

Я сразу налил полстакана водки. Достал с полки граненый стакан (говорят, их больше не производят), выбросил из него карандаши и фломастеры, сдунул пыль. Граненый стакан символизирует мужество. Из него пили наши отцы в войну, пил я, когда был здоров как бык. Точнее, как дурак.



Полегчало. Отец говорил, пили перед боем и не пьянели. Но я опьянел быстро. И подбил бабки: стал вот дедкой — вырастил сына и дождался внуков. Дерево и то посадил на субботнике. Дом не хоромы, конечно, но с балконом, и санузел отдельный... Задача-минимум выполнена. А многие ровесники уже в земле. Недоносок зажился на этом свете.

Есть пара лет в запасе, болтали в очереди к урологу. А то и больше. Зависит от стадии и операции. Я почувствовал странную свободу. Да здравствуют вредные привычки, жирная пища и малоподвижный образ мыслей!

Я плеснул в граненый стакан еще. Проснулся аппетит. Выпив, крикнул и полез вилкой прямо в кастрюльку. Жена сварила мою любимую гречку со свининой. И заботливо накрыла кастрюльку полотенцем. Я чуть не заплакал. Свинья я изрядная, самого забивать пора. Ха, будет ли толк от моей опаленной шкуры и проспиритованной начинки?

Я с наслаждением бичевал и жалел себя, пил, чавкал и рыгал.

В очереди я наслушался страшилок, но теперь они не казались такими уж страшными. И умирать не так больно, как при других формах рака, вещал в очереди один тип. Видимо, он уже единожды умирал.

Рак как рок. Ну и плевать ниже пояса. На эректильную дисфункцию. По этой части есть что вспомнить. Успел, пока живой. Воспоминания — не так уж мало. Правда, помнил смутно, потому как одно удовольствие с одеялом накрывало другое. Не пил несколько лет, берег натруженную печень. И что в итоге?

Я закурил, хотя до того не осмеливался дымить в доме — лишь на балконе. Дым можно проветрить, а воспоминания не выветрить никаким инструментальным путем.

Рок как рок-н-ролл. Осталось хорошо повеселиться. Сниму со сберкнижки последнее, переведу в фунты, поеду в Англию, по местам боевой славы Битлов. Минуя Элтона Джона... Разгонять тоску и тамошний туман. На фига я учил аглицкий с первого класса и постигал прононс в лингафонном кабинете? Буду сдувать пену с запотевшей кружки на выносном столике под Вестминстерским аббатством. Пока не окочурюсь под Тауэрским мостом. Но сперва отведу душу ихним матом. Еще есть пабы Ист-Энда, дублинский скотч, премьер-лига...

Стоп. Положение вне игры.

Пора бы подумать о душе. Сбросить суету бытия, как дядя Рома. Все, что тянет ко дну. А ко дну тянет низкое. Спасает, понятно, высокое.

Водка явно способствовала духовному росту. Я налил еще. Делай добро молча, без громких слов, толковала мама, а там разберутся... «Там» — ясно где. В небесной канцелярии секретарша с пухлыми губками, похожая на урологическую медсестру, поставит штамп на входящем документе и присвоит номер курса мучения. Моральные уроды — те пойдут по этапу. В пункте назначения их изрешетят из автомата ПППШ — и так, изрешеченный, как дуршлаг, я, сепарируя ветер сквозь дырки в теле, побреду по кругу интенсивной химиотерапии...

Пол-литру я опростал менее чем за час, дальновидно не переодеваясь в домашнее. И готов был идти за второй.



В тамбуре круглосуточного магазина попрошаек стало больше: появился еще пацан. Оборванец, беспризорник, в летних замызганных кроссовках, я его видел у магазина ранее.

Перед походом к врачу я отложил энную сумму на дорогие лекарства. Хотел сразу от уролога бежать в аптеку, наивный. И вот всю ее, за вычетом водки и пары бутылок пива, бухнул в тару у ног попрошайки. Авось рак попятится раком.

Просительница добыла подаяние из обувной коробки с большим достоинством.

— Дяденька, дяденька! Ждите!

За углом магазина меня, глотавшего «жигулевское» из горла, нагнал мальчишка.

— Вы зачем дали столько денег, дяденька?! У нее и сына-то нет! И вообще детей нету! — запыхавшись, выпалил юный конкурент по промысловому цеху.

Я чуть не поперхнулся пивом:

— Такими вещами не шутят, парень.

— Да она в нашем бараке живет, могу показать, квартира двенадцать! Алимасова она. У ней сожитель, а не сын, Кривой Цыган. Вор, бабки на наркоту тратит!

Я отдал пиво пацану, нацепил черные очки и пошел обратно. Гордая попрошайка, урвав куш, считала мои деньги на крыльце.

— Минутку! — крикнул я издали. — Ваша фамилия — Алимасова?

— Ну, допустим, — прищурилась Алимасова. — А ты кто, прокурор?

— Вроде того. Верните деньги, они помечены и переписаны. Вы занимаетесь незаконным предпринимательством, согласно статье 128-бис Уголовного кодекса РСФСР в редакции 1994 года.

Статью я выдумал на ходу.

— Ага, незаконным, точно! — шмыгнул носом пацан и отхлебнул пива.

— Это была контрольная закупка, гражданка Алимасова, — продолжал я раздувать блеф и помахал красной корочкой члена общества садоводов. — Квартира двенадцать? Алло, как слышите, прием?

Я вытащил диковинный в ту пору мобильный телефон «Моторола» в нерабочем состоянии, купленный с рук по дешевке, и громко прокричал фамилию, номер квартиры нарушительницы и формулу «контрольная закупка». Последнее словосочетание обычно производит неизгладимое впечатление.

— Да подавись!

Пойманная с поличным, Алимасова отделила купюру от моего взноса в фонд борьбы с раком, спрятала ее внутри необъятной груди, остальное швырнула к ногам. Диагноз был верный: не мошенница, а мошенка. От слова «мошна».

Пацан успел подобрать сотенную и сунуть в кроссовку. Я сделал вид, что не заметил, и тщательно собрал деньги.

Торговка кладбищенскими цветами сматывала манатки, складывая ступльчик и засовывая бумажные гладиолусы в сумку на колесиках.



— Эй, а вы-то куда?

— Да ну вас! — махнула рукой хозяйка посмертной галантереи. — У вас там контрольная закупка, а у меня цветы ненастоящие. Последнее отбираете, менты несчастные! Будьте вы прокляты, империалисты!

Я живо смотался в магазин за добавочной чекушкой и догнал цветочницу, когда она с грохотом затаскивала сумку на крыльцо барака, что стоял на задах нашей пятиэтажки.

В подъезде было темно, воняло кошками, жареной картошкой и нерафинированным маслом. Деревянные ступеньки громко скрипели.

Женщина испуганно обернулась на лестнице:

— Вы зачем тут?.. Я больше не буду! Детьми клянусь! — И тут же гордо выпрямилась: — А хотите — общите! Нам терять нечего, кроме своих цепей!

Я давно заметил: чем больше прибудняется проситель, тем полнее у него дома чаша.

— А ну, пройдемте, гражданка. Чем докажете свою малообеспеченность?

Вторично делать из себя лоха я был не намерен.

На этот раз несчастье было настоящим. Углы клеенки на кухонном столе протерлись до дыр. В ведре шуршали тараканы. Края раковины со ржавым пятном посередине отбиты до черноты. Девочка играла на кухне пустыми бутылками.

— Мама! — заверещала дочка. — Хлеба принесла?

Она ринулась к сумке, рванула застежку, с победным вскриком подняла над головой буханку хлеба, дунула на кусочек рафинада, извлеченный из кармашка замызганного платяца. Хозяйка разложила на полу цветы и выставила грязные бутылки. Их у магазина много: дворники не успевают убирать. Еще один промысел торговли.

В комнате заплакал ребенок — почуял возвращение матери. Женщина быстро нажевала хлеба, ушла за занавеску и, как волчица, изрыгнула добычу в рот детенышу. Плач смолк.

— А я помогаю маме делать цветочки, — похвасталась девочка.

Под носом у нее было грязно. Она жевала хлеб с сахаром и была вполне довольна жизнью. Главное, в этой жизни у нее есть мама. Я понял, почему та предлагала кладбищенский товар задолго до Радуницы. Жить-то надо сегодня.

Я снял очки. Цветы — фальшивые, а нищета неподдельная. Когда вернулась хозяйка, я всучил ей ком денег.

Женщина села на табурет и заплакала:

— Господи! Счастье-то какое... — Она громко высморкалась в кухонное полотенце. — Благодарю дяденьку, живо! — закричала.

Девочка цапнула мою руку и начала слюнявить кисть, оставляя на ней мокрые сладкие крошки. За занавеской заплакал ребенок.

— Прекратите! Все! — рявкнул я.

Плач прекратился. За занавеской тоже.

Стало тошно от роли благодетеля. Дешевка. Таковую сумму оставляют в ресторане за обед на два лица.

— Выпить, — вырвалось у меня.

— А у нас нету, — растерялась хозяйка. — Пойдите... Еремеиха с первого этажа спирт разводит. Никто покамись не травился... Я махом.

— Не надо. У меня с собой, — показал я чекушку. — Стакан найдется?

— Вот, пжалте... — Хозяйка заискивающе протерла чашку тем же полотенцем, которым утиралась. — Счастье-то какое...

Она нарезала серого хлеба, не без гордости выставила тарелку квашеной капусты, покрошила вялую луковицу и полила закуску остатками растительного масла.

Я выпил. С опозданием предложил водки даме. Она отказалась — и мне это понравилось. Как понравился и ржаной хлеб с квашеной капусткой.

Доброта бедных людей куда слаще милости богатых. Слова мамы, как всегда, исполнены своевременной мудрости. О многом в жизни, сотворенном в пьяном виде, я жалел. Но о тех мятых деньгах — никогда. Я их списал, как старые долги, не хуже ростовщика Радевича из Хайлара.

На прощание, уже у двери, девочка подала мне бумажный гладиолус. Ее мать от ужаса прикрыла глаза — решила, что я заберу пожертвование обратно.

Я взял цветок. Авось не пригодится.

Так, с кладбищенским цветком в руке, меня свалила боль в паху. Острая, вошедшая вязальной спицей ниже пояса боль переросла в тягучую, будто у меня взяли биопсию на ходу. Кабы не скамейка у подъезда, я бы рухнул на грязный асфальт.

Дома закрылся в ванной. В мошонке слева опухло. Боль вроде притихла, но стоило встать под душ — ожила, да так, что в глазах потемнело. Туши свет. Пока не завалили охапками бумажных гладиолусов.

Я выпил еще водки для храбрости и позвонил другу. Храбрости требовалось мужество. Признать, что кое в чем не прав. Вот, и тут, перед лицом вечности (слова «смерть» я избегал), пытаюсь отделаться ничего не значащими, обтекаемыми фразами. Обтекающими подлость. Лингвист, твою мать.

У меня диплом филфака и справка иняза о незаконченном высшем. А у друга за плечами просто законченное высшее, само собой филфак. Фак! Дело даже не в дипломах. Товарищ был элементарно грамотнее, эрудированнее меня. Он и дал работу в смутное время. Свел со столичным издательством. Поначалу мы переводили гороскопы, эзотерику, брошюры типа «Как стать миллионером за 12 недель» или «Как забеременеть по лунному календарю», околонуточные опусы, эротику, даже комиксы, словом, макулатурный хлам, хлынувший из-за бугра. А не так давно на нас вышел солидный западный заказчик и посулил грант с ежемесячным долларовым содержанием. Подразумевалось, по завершении проекта последуют другие. Речь шла о религиозной литературе. В доказательство серьезности намерений из Москвы прислали новенький компьютер — редкую птицу в наших краях в те годы.

Компьютер был один. А нас — двое. Когда позвонил куратору, что-де забыли прислать второй «макинтош», тот сообщил, что европейские



партнеры ограничили состав грантополучателей. Из проекта в нашей группе выпадает крайний участник. Боливар не выдержит двоих.

И тут я ни с того ни с сего брякнул, что в прошлом друга вызывали в КГБ. Это было полуправдой. Действительно, вызывали, но без карательных санкций, провели беседу, поставили галочку. Однако моего навета по телефону, без документального подтверждения, оказалось достаточно, чтобы вычеркнуть товарища из долларовой ведомости. И компьютер отдали мне. Заказчики ненавидели спецслужбы не меньше нашего, но боялись за бизнес. Лавочку могли прикрыть за любой намек на неблагонадежность.

По трагическому совпадению в те дни товарища бросила жена. Оставила с ребенком на руках. Просто не вернулась из зарубежной командировки, попросив развод заочно. Ребенок от тоски заболел. И товарищ, найдя по объявлению няню, пошел на стройку.

Когда я позвонил, бывший компаньон спал. Отсыпался после смены. Голос был хмурый.

— Прости, я ухожу... — сказал я, сжимая трубку.

— Уходишь от жены? — проворчал товарищ. — Новый проект? У другой губы слаще?

— Проект старый. Я ухожу из него. Можешь забрать комп.

— Но они меня не возьмут! — Голос отвердел, друг окончательно проснулся. — Они же знают про меня, про то самое... про контору... Это не телефонный разговор.

О небо! Спустя восемь лет после профилактической беседы в здании с колоннами, когда рухнул Союз и сама «контора глубокого бурения», абонент на том конце провода продолжал бояться призраков прошлого.

— И сроки, наверное, поджимают? — приободрился компаньон. — Я не успею перевести, сверить...

— Вот именно — сроки. Им некуда деваться. Старых мерингов на переправе не меняют. Половину я сделал — в компьютере увидишь. Осталось только отредактировать.

— Вот как? Слушай, как раз на стройке сокращают всех, кому стукнуло сорок пять... Погоди, ты-то как? Что случилось? — спохватился друг.

По тону вопроса — дежурно-вежливому — я понял, что предложение принято.

— Скажем так: по состоянию здоровья. Устроит?

Это устраивало всех. Заказчика в том числе. «Проект завершит мой коллега, да вы его знаете...» Они его знали. Об изъеме в резюме коллеги никто не вспомнил. Сроки поджимали.

Товарищ позвонил через день. Поблагодарить.

— Старик, спасибо! Ты же знаешь про дочку. Уход ей нужен. А я после смены устаю, как бревно... Но ты ведь тоже... по состоянию здоровья. Могу первое время отдавать четверть... Треть.

Последние слова дались ему через силу.

— Ты мне ничего не должен, — членораздельно сказал я в трубку.

Перебив поток благодарностей, добавил, что именно я заложил его работодателю. Как последний сексот уходящей империи. Что мы квиты. И повесил трубку.

Товарищ больше не звонил.

В течение суток я лишился части накоплений, перспективной работы и родного очага. Последнего рубежа — в связи со звонком представителя заказчика. Он попросил быть дома, когда приедут забирать компьютер. Жена потребовала объяснений. Не у заказчика — у меня.

В пылу объяснений тема кухонной дискуссии вышла за малые рамки. Меня обвинили в моральной импотенции. От лирики перешли к физике твердого тела. Кое-что высосал из пальца я, кое-что припомнили мне. И предложили уматывать туда, где никто не обвинит в импотенции.

Я собрал «тревожную» сумку «Аидас». Только во дворе сообразил, что идти, собственно, некуда. Кювет жизни. Дачный домик выстудился за зиму до состояния ледяной избушки, а дров нет. Накануне знакомую одинокую женщину я по телефону и по пьяни обвинил в боли в паху, и она, заслышав мой голос, бросила трубку. Так тебе и надо, недоносок. Деньги я сдуру раздал. Съемная квартира, не говоря о гостинице, не то чтобы не по карману — неуместна. Лучше взять выпить и пожрать чего... а там видно будет.

И тут я нащупал в кармане джинсов бумажку — направление в больницу. Так-так, паспорт и прочие ксивы при мне. А что, в больничной палате можно бесплатно перекантоваться несколько дней! А что? Манная каша, перловый супчик, молоденькие медсестры (хоть поглазеть), чистая казенная койка, неспешные философские беседы с собратьями по диагнозу, сон-час...

Это был выход. И вход. В приемное отделение.

Жена, услышав от кого-то, что я в больнице, примчалась туда с кастрюлькой пельменей, укутанной в махровое полотенце.

А главное, обследование неопровержимо установило, что опухоль моя доброкачественная.

«Кар! Кар! Кар!» — жизнеутверждающе горланили вороны, пока мы с женой пересекали двор диспансера. Узкую асфальтовую дорожку взорвали корни деревьев. Супруга взяла меня под руку.

Синь разъедала белесые комки облаков. Теплый ветер доносил запах больничных щей. Солнце целовало в макушку. С модной недельной небритостью шагалось легко.

Я перехватил пакет с пустой кастрюлькой из-под пельменей, расстегнул пальто и гаркнул во все горло:

— Пр-ривет, вор-рона!

Немолодая санитарка в длинном ватнике с капюшоном, тащившая наволочки с бельем, не поленилась, остановилась, сняла руку с плеча и покрутила пальцем у виска.

Жена рассмеялась, метнула влюбленный взгляд, как в молодости, когда, неженатые, мы дружно шли в ногу на последний киносеанс, прижалась и шепнула ласково:

— Шиз!

А послышалось: жизнь.

С этого места, пожалуйста, подробнее.

(Продолжение следует.)

Александр РАДАШКЕВИЧ

НА ЭЛОВЫХ ОСТРОВАХ

Анатолию Кобенкову

Я написал тебе сегодня утром,
Толя, радуясь встрече в Москве.
Я написал сегодня, а ты умер,
дружище, в столице бывшей
родины вчера. Может, это так,
нарочно? Может, позвонишь и
отлетим все-таки в Баку за смуглым
солнцем над газельим раем Низами?
Или на Байкале глохнущему миру
отчитаем бранные облачно стихи?
«Эх, Толя, Толя, ты ли, ты ли?»
Уходит из-под ног недвижимая
земля. Ты думаешь, мы здесь
когда-то были, под неким небом,
которому плевать на наши небеса?
Тебе я написал сегодня утром,
Толя. В последний раз прошу
тебя как друга, не умирай,
не умирай
вчера.

7.IX.2006

Вермеер в Лувре

И мраморная струйка молока из неизбывного
кувшина, и пенка тишины парная на астроябии
миров, кристальный лепет лютни и клавесина
крышка расписная с ландшафтом пасторальной
немоты, струистые заморские шелка со снежной
оторочкой горностая и аллегория необоримой
веры, с которой кружевница разбитная корпеет
сквозь века, и жемчужная дымка на живом и
на мертвом в недвижимой, как время, серье,
несусветные сны обитаемой яви да краса
прописная угловатых землян.

* * *

Река времен в своем стремлении...
Державин

Непослушными сердцами мы перекачиваем
в небыль растерянную быль, и эта подноготная
река наполнила бы праведное море, распятое
в отвесных берегах, и этот гул оглохшего
биенья преследует намаявшихся нас до
сорванных ворот прибрежного негаданного
сада, где мы отхлынем в пламенную быль
по тальим тропам невозвратным из небыли
всамделишных миров, где сложим заскорузлые
сердца к пологому подножью, чтоб гулкой пульс
угасших солнц налил вдали цыплячью грудь
и какой-нибудь слепнувший Гендель над рекою
времен и видений заводил сарабанду сердец.

* * *

Заглянув в бархатистые сумерки твоих
одиноких глаз, я увидел бессонные прорвы
ночей без надежды на пегое утро, иконы,
отводящие глаза, и модные вещи, ладно
облегающие плечи, черные струи дорог
в лобовом невидящем стекле и закрытые
кассы иноземных вокзалов в отживших
городах, я увидел себя, кто, как тать,
неслышно прикрывает двери
в необитаемую ночь, где
угодил в твой взгляд,
в необратимый.

В Уфе

И в законном шорохе машин
я снова сетую о том,
пока отходит ночь в седое утро
первых сентябрей,
о тех, кого не тронет пена дней,
и ангелы бессонные
со мной, прозрачно помавая
рукавами, под ярое
шипение машин безмолвствуют
о ком-то о другом.



Школа смерти за школой жизни,
польй ранец за спиной
и за партой последний читатель,
не жалея, не зовя, не
плача, как тот рязанский Лель
жемчужногубый,
проливший млечные слова,
он вздыхает о тех, он
горюет о том и тоскует со мной
обо мне.

Воскресное

Разгуляю себя на ветрах на лету
облетающей яви, на серебряных
островах, где штрихи неразборчивых
чаек зачеркнули истлевший закат,
разброжу над рекой миновений
недвижимый, как прошлое, час,
тот, что вскользь успевали запомнить
обезглавленные короли.

Здесь, на набережной одиноких,
где пасут лебедей отраженья, колыхая
волною века, растворю в золотом
никогда безгласное, неверное
зазимовавших душ, колено-
преклоненное, поверившее в нас,
как голос отрешения на скате полых
круч и как Павловска донные тропы,
что навеки уперты в меня.

* * *

Мы получим неожиданные письма
о приезде родных и любимых,
только все это грянет без нас
и без них — в убывающем мире,
где гуляют в сандалях святые
по прогалинам росных лугов,
только вовсе не завтра, а ныне,
вот на этом диване, отплывшем
в лебединое озеро снов. Мы
поверим, что все-таки были и
смотрели немое кино золотой
нескончаемой были или небыли,
все равно, растворяясь над
Сеной весенней в хороводе
невольно живых.



На Эоловых островах

На Эоловых островах я напился тирренского ветра,
я наслушался в гроте ангелов занебесных безгласных
кантов, нагляделся в купальне Венериной на блик
пугливой наготы и знаю понурым знаньем гипербореев,
что лапы пальм, плюмажи кипарисов, олеандры
на райских крышах, эвкалиптов пятнистые шкуры
и гребешки араукарий на вулканическом закате
сойдут в боренье зим необоримых отбросить
лакомую тень недвижимого
морского минованья.

Слепые танцы прибрежной неги, и напоследок —
удар сирокко да пепел яви. Под сводом севера
свинцовым мне тот Эол зефирнощекий — сквозь
несложенья, сквозь чащи счастья и соль юдоли —
слагает сказку из Петергофа, и если что-то
за нас и чаёт, о нас и помнит, то только
ветер, нетленно юный.

Чувствительное путешествие по Невскому проспекту

*Я не понимаю, почему мой климат
находят дурным.*

Николай I

А невские чайки галдят за окном
на краю отведенного неба голосами
незнающих ночь. Я уже гостиничный,
я теперь не тот. Постоянно-непостоянная
здесь по-прежнему климатология, хотя
мастеровые, скидывая шапки, всё крестятся
на небо в пять утра на дождливых перекрестках
отмыкаемых веков, творя забытую молитву,
и высота домов на Руси по-старому равна
ширине мостовой, как в идеале готовальном,
а Невский начинается с пустых чертогов
белого царя и нисходит прямо к лавре, где
воззванных зряшныя заботы и старанья
преданы заботливо земле. И где он, Сукин
переулок, где Молчаливая и Проходная где?

Трактир для прибывающих с обеденным или
ужинным расположением? Кто, нежа прихоти,
здесь продает заморские помады для скорого
ращения волос? Кто поплеывает в воды
с несводимых мостов ради собственного
удовольствия?.. Я уже гостиничный, я
теперь не тот. «А воспоминания? О,
воспоминания!» И является немедленно,
и не спит восемьсот восемнадцатый
под свою отчалившую музыку
роговых хоров на островах.

На тему

Конечно, сны невероятны
и неразборчива беда,
конечно, хочется в обратно,
где всё в сей час и навсегда,
конечно, скатерть в алых пятнах
и в полночь смылись шулера.

Конечно, сердце виновато,
конечно, память коротка,
как на причалах воскресенья,
среди утопленников яви,
где, растворяя створки рая,
зареем в смежные снега.

Конечно, тайны запредельны
и упоительно просты
в немой и подлый понедельник,
когда слагаются стихи —
и в срок высокого томленья,
и в час понурой суеты.

Конечно, смерть, конечно, ветер
и перебиты все следы,
и даже морок этот светел,
где за душой клубится пепел
и, залетая в межнебесье,
где сквозь себя дрейфуешь ты.

Полина ДЕНИСОВА

ВЫКИДЫШ

Р а с с к а з

Сёма Розинов, он же Семен Вениаминович, акушер-гинеколог высшей категории из городского роддома номер один, убил ребенка. Это не был несчастный новорожденный малыш, который умер из-за халатности врачей, это и вовсе никак не было связано с работой Сёмы в роддоме. Нет, это был беспризорный мальчишка, на вид лет десяти или одиннадцати, а возможно, и старше, точного возраста которого в силу сложившихся обстоятельств так никогда и не узнали. Да и не хватился его никто, а если и были у него родственники, то, наверное, сидели где-нибудь в тюрьме и давно перестали заботиться о своих детях, рожденных в пьяном угаре.

Сёма никогда не был сильным, даже внешность его — длинный и худой, с неуклюжими руками и ногами, с копной темных вьющихся волос и бледной кожей — вряд ли говорила о силе. А потому героем и мечтой девочек он тоже никогда не был. Драться Сёма не умел категорически. Впрочем, его не трогали: это была математическая школа и откровенных хулиганов в ней не было. Но за спиной все же посмеивались.

После школы, когда Сёма легко и без протекции поступил на престижный лечебный факультет медицинского, его одноклассники лишь пожалы плечами: ботаник, чему тут удивляться? А Семен тем временем учился, по ночам подрабатывал сторожем в детском саду, а после мединститута пошел трудиться в роддом. Вот тогда и вспомнили о нем одноклассники. Особенно девочки — когда пришло время выходить замуж и рожать.

И Сёма Розинов внезапно стал популярным. Ему звонили, просили «посмотреть», а когда его бывшие одноклассницы — отяжелевшие, с расплывшимися губами, на разных сроках беременности — приходили к нему в кабинет, то их встречал уже совсем другой Сёма. Синяя хирургическая роба удивительно шла к его непокорным кудрям, а прикосновения тонких рук с нервными пальцами музыканта вселяли надежду, что все будет хорошо.

Сёма помогал. Принимал роды, устраивал в хорошие палаты, по дружбе лечил эрозии и даже делал по знакомству аборт.

Одноклассницы одна за другой приходили к выводу: с Семой нужно дружить. И бар в его старенькой «стенке», которая вместе с квартирой перешла к нему по наследству от бабушки, заполнялся бутылками дорогого коньяка.

Сам Семен отметил про себя перемены, которые принесла ему его новая профессия, и остался удовлетворенным. А кроме того, ему нравилось быть врачом-акушером, ему нравилась даже сама атмосфера родильного зала, где он на время становился пусть не богом, но кем-то очень-очень значительным и важным.

В тот вечер Семен как раз возвращался после работы и, выскочив из промерзшей маршрутки, в которой по известной лишь одному водителю-таджику причине не работала печка, почти побежал домой. До дома было недалеко — вернуться на полквартила назад, перейти на светофоре улицу — и вот она, громоздкая и в то же время довольно стильная пятиэтажка сталинской постройки. В торце ее на пятом этаже всю жизнь прожила бабушка Семы, к которой он очень любил в детстве приходиться в гости. Бабушка тихо умерла во сне, когда Сёме было пятнадцать, и еще долгих пять лет квартира простояла пустой: родители ревниво не желали сдавать ее чужим.

Квартира была хорошая: три просторные комнаты с окнами на три стороны, большая квадратная кухня с мусоропроводом, старинный паркетный пол. И много книг, с которых ленивый Сёма никогда не стирал пыль. Раз в году, перед Пасхой, в квартиру к нему прорывалась матушка, у которой был ровно один день, чтобы привести все «в божеский вид». Словно торнадо, она носилась с пылесосом и шваброй, чистила и натирала, мыла и выбивала, скребла и полировала. А потом Сёма опять на целый год расслаблялся и за пылесос брался только после уж очень больших гулянок или если ждал в гости редкую даму.

Светофор медлил, и, так и не дождавшись зеленого света, Сёма угрем метнулся между машинами и едва не грохнулся на скользких ступеньках маленького продовольственного, куда он каждый день заходил за продуктами. Хорошенькая блондинка-продавщица, которая года два назад родила у него почти пятикилограммового мальчишку, приветливо поздоровалась с Семой и выдала ему без очереди бутылку пива, свежий, специально для него оставленный багет, пачку пельменей и три пачки сигарет. На следующий день ему предстояло ночное дежурство, а потому сигаретами надо было запастись заранее.

Он почти не заметил их, когда вбегал в магазин, — четверых малолетних оборвышей, которые толпились возле батареи у входа, — лишь позднее, уже расплачиваясь, услышал, как громогласно прогоняла их другая продавщица:

— Давайте-давайте, идите отсюда, нечего вам тут делать! Еще и клей свой с собой приволокли! А ну, марш отсюда, ворье, пока милицию не вызвала!

Сёма невольно сморщился, когда малолетки, выходя, обложили и продавщицу, и всех, кто находился внутри, отборным матом. Хохо-



ча и сквернословья, они вывалились на улицу, крепко треснув дверь, и какое-то время их детские, но уже порочные голоса были слышны снаружи.

Впрочем, он сразу же забыл о них и уже завернул под арку, ведущую во двор, когда по ногам ему резко ударило что-то тяжелое. Согнувшись от неожиданности, Сёма тут же получил удар по голове, а когда он упал, на него градом посыпались увесистые пинки тяжелых ботинок. Он почувствовал, как кто-то с размаху плюхнулся ему на шею и голову, придавив к земле. Жесткие колючие льдинки безжалостно драли ему щеку, а потом Сёма понял, что его грубо обшаривают. Он попытался было дергаться и отбиваться, но лишь получил несколько умелых и точных ударов по голове, от которых потемнело в глазах.

Сёма пришел в себя очень быстро, а может, ему лишь так показалось. Профессионально оценив свое состояние, он констатировал, что ничего серьезного у него нет, хотя от шока и холода его тело совсем ничего не чувствовало. Дубленки и шапки на нем не оказалось, как не оказалось кошелек, мобильника, бумажника с документами и визитницы, а вот ключи от квартиры нашлись — они просто валялись рядом.

Сёма долго тыкал замерзшими пальцами в кнопки кодового замка, и ему все не удавалось набрать комбинацию из четырех незатейливых цифр. Голова гудела, словно пустая внутри, и Сёма долго сидел в прихожей, глядя на свои ноги в мокрых и грязных носках — то, что на нем не было и ботинок, он заметил уже дома.

Вечер прошел как в тумане. Сёма нашел в себе силы позвонить родителям и даже поговорил с матерью своим обычным тоном, а потом долго лежал в ванне. Куда делись купленные в магазине продукты, он не помнил, да и аппетита у него не было. Он рано лег в постель и проснулся уже в пять: сон куда-то пропал. Побриться толком не удалось: расцарапанная щека то и дело принималась кровоточить; и в целом вид у Сёмы был довольно плачевный. Хотя по большому счету он был в порядке: пара синяков на шее и плечах, царапина на щеке, довольно большая ссадина на лодыжке и весьма болезненная шишка на голове — вот, пожалуй, и всё.

Но дело было вовсе не в этом. Сёма не мог смириться, что отделали его не взрослые хулиганы, даже не подростки, а дети не старше двенадцати лет. Это было очевидно, но никак не укладывалось в голову.

Он видел их в магазине мельком и запомнил лишь, что у маленьких беспризорников были немые вороватые рожицы. Вряд ли он смог бы узнать именно тех четверых в толпе таких же, как они, оборванцев. Он помнил, что это не были обычные детские лица, это были мордочки зверенышей — неумных, злобных и готовых атаковать.

На работе Сёму встретили дружным хохотом. В их отделении обычно никто не церемонился, и к грубоватым шуткам коллег, так же как и к изысканному мату, Сёма давно привык. Впрочем, сам он никогда не был грубым, даже когда хотелось. А потому он лишь сдержанно улыбался, пока его коллеги упражнялись в остроумии.

— Говорил я тебе, Сёма, бабы нынче несговорчивые пошли! — веселился Левченко, маленький и кругленький бородач анестезиолог, который чаще всех дежурил в ночные смены.

Медсестра Леночка метнула на Сёму быстрый взгляд и вежливо улыбнулась.

— Говорю же, упал я, на ступеньках прямо грохнулся! — сконфуженно разводил длинными руками Сёма.

Шутники унялись лишь через пару дней. А еще через два дня, так же возвращаясь с работы, Сёма вдруг увидел своих налетчиков. Они стояли за остановкой, и Сёма наверняка бы их не заметил, если бы не знакомые голоса.

Он не сразу сообразил, что делать, и, растерянный, широко шагнул прямо на них. Злобы еще не было — она появилась позже, когда маленькие бандиты вдруг с хохотом сорвались с места и бросились бежать. Они бежали грамотно — врассыпную, и Сёма опять растерялся. Он никогда не был особенно шустрым, из-за этого его обычно и не брали в командные игры.

И тут он снова услышал этот мерзкий, хриплый, все еще детский и в то же время уже вульгарный смех: оборванцы, отбежав на безопасное расстояние, потешались над ним. Именно в этот момент в голове его словно сработал переключатель, и, раньше чем он начал соображать, его длинные ноги уже выбрали направление — в сторону одного мальчишки, который отбежал метров на двадцать и, кривляясь, что-то выкрикивал не то ему, Сёме, не то своим друзьям. Увидев, что погоня именно за ним, он легко подхватился и помчался — сначала в темный двор, потом снова на улицу, на дорогу.

Сёма бежал так, как, наверное, не бегал никогда в своей жизни. Не заметив, перепрыгнул через ограждение и даже не обратил внимания, есть ли на проезжей части машины. Трое других малолеток остались где-то там, в темных дворах, Сёма же видел перед собой только одну цель. Беспризорник уже не кривлялся и не останавливался, он уверенно шмыгнул в арку следующего за Сёминым дома.

Сёма не слишком соображал, что именно он сделает со своим маленьким и злобным врагом, он знал лишь одно — догонит. И когда по ногам ему знакомым приемом ударило что-то тяжелое, он даже не понял, что происходит. Но его тело, разгоряченное злостью и погоней, уже знало, что делать. Упав на землю, он резко откатился в сторону. Сантиметрах в двадцати от него гулко приземлился увесистый кусок не то арматуры, не то трубы. Вскочив на ноги, Сёма одновременно наступил ногой на это орудие и резко выбросил вперед руку в надежде схватить мальчишку. А тот уже и не думал бежать — стоя напротив Сёмы и будучи почти вдвое ниже его ростом, он злобно щерился, словно волчонок, выставив перед собой длинное лезвие ножа. В следующий момент он уже прыгнул на Сёму и при этом совсем не напоминал мальчишку-драчуна — нет, это был серьезный и опасный противник, который решил выйти из схватки победителем.

Однако и в Сёме уже проснулось нечто, чего он никогда раньше в себе не знал: ему хотелось драться! Драться жестоко, долго, до изнеможения, чтобы вколотить этому мерзкому крысенышу в горло его же собственную злобу.

Он резко выбросил вперед ногу, надеясь выбить нож из рук беспризорника, пока тот снова замер, выжидая момента, чтобы напасть. Получилось довольно неловко, и Сёма почувствовал, как по ноге резко полснуло холодное лезвие и почти сразу потекло что-то теплое. Но тут же у него в голове буквально вскипела ярость, и тогда он просто прыгнул на врага, прямо на нож, нелепо выставив вперед длинные руки и хватаясь за лезвие.

Он все же смял мальчишку, сомкал и придавил, тяжело упав на него сверху. Из обеих его ладоней текла кровь.

— Ты что же делаешь, мразь?! — проорал он оборвышу прямо в лицо и пару раз сильно его потрянул. — Ты что же делаешь?!

В ответ тот изловчился и сомкнул свои зубы на Сёмином запястье. Сёма взвыл от боли и другой рукой начал изо всех сил молотить мальчишку кулаком по голове. Он бил, бил и бил и остановился только тогда, когда кулак, потеряв силу, начал скользить от крови. Хулиган обмяк.

Не помня себя, Сёма поднялся, подхватил его под мышки и, не соображая зачем, поволок к своему дому. Бросив отяжелевшего беспризорника прямо на ступеньках, он набрал код на подъезде, открыл дверь и только тогда подумал: а что же теперь?

Руки Сёмы кровоточили не слишком сильно, а вот из порезанной ноги кровь текла, похоже, серьезно: Сёма чувствовал, как отяжелел его правый ботинок.

Он перебрал ключи и выбрал один, которым никогда раньше не пользовался — от подвала. Спуск туда был сразу за входной дверью. Сёма не враз справился со ржавым навесным замком, однако через несколько минут он уже волок мальчишку вниз по грязным, давно не мытым ступеням.

В подвале пахло затхлостью, пыльная лампа едва освещала помещение тусклым желтым светом, и Сёма вдруг не к месту вспомнил, что в последний раз был здесь еще десятилетним: они тогда вместе с бабушкой и дедом затаскивали в подвал картошку.

Он безошибочно нашел их ларь — грубо сколоченный из занозистых досок ящик, на котором ржавый замок во все времена висел лишь для виду. Сёме понадобилось всего несколько секунд, чтобы сбросить замок, откинуть визгливо заскрипевшую тяжелую крышку и грубо перевалить в ларь так и не пришедшего в себя беспризорника.

Захлопнув крышку, навесив замок обратно и умудрившись так ни разу и не взглянуть на своего маленького поверженного врага, Сёма, тяжело волоча ноги по подвальному полу, поплелся прочь. «Выкидыш, — билось у него в мозгу. — Это же просто выкидыш...» Слово, совсем неуместное здесь, в подвале, почему-то немного его успокоило.

Наверху он щелкнул выключателем и какое-то время постоял, прислушиваясь. За дверью было тихо.

Дома Сёма долго смотрел на темно-красную воду в раковине. Порезов на руках было несколько — все на ладонях, но особенно глубоким был укус на запястье. Вспомнив, с каким животным оскалом и злобой мальчишка впился ему в руку, Сёма помотал головой, пытаясь отогнать видение. Все произошедшее казалось просто нереальным.

Он снова, как и в первый раз, сначала позвонил матери. Лишь после этого обработал и перевязал руки, наложил повязку на лодыжку и долго сидел на кухне, курил.

То, что случилось, было просто невозможно осознать и тем более принять. Как ни пытался, Сёма все не мог найти причины всего этого кошмара. Почему он? Почему с ним?.. Выходило, что вся эта история была просто случайностью, и если бы Сёма не зашел тогда в магазин или продавщица не прогнала бы беспризорников, то не лежало бы в подвальном ларе сейчас это маленькое и гадкое тело...

Тело? Но ведь он жив? Нет? Идти вниз? Смотреть? Оказывать помощь?

Сёма замотал головой и даже тихонько не то завыл, не то застонал: идти сейчас в подвал, открывать картофельный ларь и снова видеть *это* он попросту не мог. Звонить в милицию? Садиться в тюрьму? За что? За то, что дважды пострадал от злобных малолетних беспредельщиков?

...Сёма проснулся от звонка. Машинально взглянув на часы, он увидел повязку на руке, и весь прошедший вечер, от которого он уже почти спрятался в коньячно-никотиновом сне, снова навалился на него. «Милиция», — обреченно подумал Сёма и решил ответить — будь что будет.

Но это была не милиция, звонил его бывший одноклассник Макс Божко. Его беременная жена Дина, которая вот уже полгода исправно приходила к Сёме на осмотр дважды в месяц, вдруг взялась рожать. «Тридцать шесть с половиной недель, нормально», — автоматически прикинул Сёма, доставая из коробки новенькие кроссовки. Ботинки, промокшие от крови, он завернул в пакет и выбросил в мусоропровод.

Он провозился с Диной до утра, и это здорово помогло не думать о том, что произошло накануне. А потом начался новый рабочий день, и Сёма всю смену провел в перчатках, чем опять вызвал веселый хохот своих коллег-шутников.

После работы он прямиком отправился к родителям. Была суббота, и мама так обрадовалась Сёмочкиному приходу, что не стала устраивать ему за ужином допроса с пристрастием и удовлетворилась его туманными объяснениями насчет порезанных рук и уже подсохшей царапины на щеке.

Они долго сидели все втроем: мама, папа и Сёма. Вспоминали Семино детство и бабушку с дедушкой, пересмотрели все семейные альбомы, и когда пришла пора идти домой, было уже почти одиннадцать. Сёма позволил матери уговорить его остаться, охотно улегся на свой старенький диван и, как в детстве, долго смотрел на карту мира на стене.

В воскресенье утром его разбудил звонок: Макс Божко приглашал отпраздновать рождение сына на горнолыжной турбазе, и, хотя Сёма совсем не катался, он все же поехал и с удовольствием гулял весь день



по зимнему лесу, кормил почти ручных белок и даже узнал, сколько стоит недельная путевка. А вечером он закатился к Максиму домой, где Максимова теща уже настряпала целый поднос пельменей, и они до самого утра просидели на кухне. Вспоминали учебу, выпили много коньяка и спать легли всего на пару часов.

Сёму «приперло» прямо на работе: он вдруг понял, что не может больше притворяться, что ничего не случилось. Случилось. В подвале его дома, в ларе для картошки до сих пор лежит пусть и озлобленный, но все же ребенок. А что, если не лежит? Сёма едва не задохнулся от этой мысли, а в следующий момент он уже переобувался из больничных тапочек в кроссовки.

Через двадцать минут он решительно подходил к своему дому. И тут энтузиазм его покинул: на лавочке возле подъезда удобно расположились три его соседки. Положив на холодную скамейку предусмотрительно захваченные из дому подушечки, старушки уселись с комфортом и надолго. Сёма остановился как вкопанный. Пройти мимо них в подвал незамеченным не было ни единого шанса. Он круто развернулся, почувствовал на короткий миг тошноту — и зашагал обратно к остановке.

Вечером, возвращаясь домой, он на миг замялся возле подвала, но в это время дверь подъезда широко распахнулась: соседи с первого этажа занесли домой коляску с малышом.

— Здравствуй, Семен! — приветливо поздоровалась с ним немолодая мама Лариса, которую Сёма в свое время пристроил наблюдать к своему приятелю Левченко.

Сёма смущенно и скомканно поздоровался в ответ и заспешил вверх по лестнице.

Вечером он улегся спать пораньше, устав прислушиваться к каждому хлопку двери и шуму снизу.

Его «припирало» еще несколько раз. Однажды он даже вызвал по-среди смены такси и смущенно попросил водителя объехать вокруг его дома. Старушки были на месте. Сёма, все так же конфузясь, попросил таксиста отвезти его обратно в роддом.

По субботам он привык ходить к родителям, и мама не могла теперь нарадоваться тому, что он всякий раз оставался ночевать. Вечерами, лежа на своем детском диване, Сёма убеждал себя, что маленькому оборванцу все же удалось спастись. Теоретически это было возможно, и Сёма почти видел, как раскачивается и слетает с железной петли навесной замок и из ящика шустро выбирается юркая фигурка. А дальше... А дальше Сёма не хотел представлять, но все же у него в голове бродили неясные образы дворника с его нехитрым инвентарем, водопроводчика в замызганной робе, старушек, чутко уловивших стук изнутри по запертой двери подвала... Он даже почти увидел, как шарахнулась старшая из бабушек, долго открывавшая неподатливый подвальный замок, когда дверь вдруг распахнулась и наружу быстро прошмыгнул взъерошенный, одичавший

подросток. Но в глубине души Сёма знал: все это не так. Он ещё помнил то, как проскальзывал от крови его непривычный к бою кулак, и неживую тяжесть, когда он волок мальчишку по грязному подвальному полу, и нелепую мысль о выкидыше, промелькнувшую в голове, когда тело беспризорника мешком свалилось в ларь.

Ближе к марту Сёма, посидев над календарем и просчитав сроки всех «своих» женщин, попросился в отпуск, и тогда оказалось, что за последние три года он отдыхал только раз, да и то всего неделю.

— Трудоголик хренов! — подытожил главный и отпуск подписал.

Сёма поехал в Питер, остановился у своего приятеля по мединституту, который перебрался в Северную столицу пару лет назад. Много гулял по городу, а за три дня до отъезда познакомился с Асей. Последние две ночи в промерзшем за зиму Питере оказались жаркими. Сигареты, коньяк, невероятно дорогие шоколадные конфеты и Ася, стыдливо прикрывавшая свою большую грудь его рубашкой в сером утреннем свете, — таким запомнился Сёме его питерский отпуск. Он пообещал ей приехать снова и какое-то время после возвращения даже подумывал, а не перебраться ли и вправду в Питер. Но в телефоне уже снова появились беременные знакомые, а мама затеяла большой ремонт в родительской квартире: Сёмочкину комнату нужно было срочно приводить в божеский вид. Постепенно его эсэмэски Асе становились все короче, а по вечерам он быстро шептал ей в трубку, что разговаривать не может — «у него роды». Со временем Ася звонить перестала.

Сёма был в родзале, когда нашли тело. Оперативник, который явился к нему прямо на работу, оказался одним из «его» папаш, а потому разговор получился очень коротким и больше формальным. К тому же одна из рожениц в зале кричала так громко и убедительно, что было совершенно ясно: задерживать доктора Розинава долго нельзя. На прощание Сёма, очень озабоченный здоровьем годовалой дочери оперативника, которая вдруг стала часто простужаться, пообещал свести их с хорошим педиатром.

Летом Сёма переехал в новый дом. Одна из его постоянных пациенток, владевшая агентством недвижимости, без проблем продала его «сталинку» и так же легко нашла для него трехкомнатную в новостройке, совсем недалеко от роддома. Переезд был тоже не сложным: мама две недели ежедневно трудилась в Сёмином жилище и в итоге все его имущество оказалось упаковано в ровненькие и крепкие коробки из-под бананов, которые нашлись на заднем дворе супермаркета.

— Банановый переезд! — смеялись Сёмины носильщики, которые все до одного были врачами.

В ответ Сёма, как всегда, только сдержанно улыбался.

Владимир БЕРЯЗЕВ

«Я УСТАЛ ЗАБЫВАТЬ ИМЕНА...»

* * *

Мало ли...
мало ли что...
Все перемелется, боже мой.
Жизнь перемелется тоже, но —
мало ли, мало ли что...

Силы небесной зерно
в нас не для чертовой мельницы:
в жизни одной не поместится
то, чему жить суждено.

Прах...
Ну да мало ли что.
Эти случайные записи
я оставляю как затеси.
Знать, не вернусь... ну и что?

Вечен... не вечен... зато —
болью, слезами, сиянием
полнилось без покаяния
бедной души решето.

Было!.. И вряд ли прошло.
Белые земли российские,
буйные ветры азийские
вызывают наше тепло.

Милая, милая — кто?
Кто нам сулит расставание?
Верю!
И нету названия.
Мало ли... мало ли что...

* * *

Снег ли выпал? Земля в неглиже...
Снова дворник скребет по душе.

Сообщает небес атташе:
Рай по-прежнему ждет в шалаше.

Что тревожишь? Что пухом томишь?
Запою про шумящий камыш!

Про июльский шалаш у реки,
Про возлюбленный трепет руки.

Но пустынная душа и бела —
С покаяния и с похмела,

Средь замерзших и замерших вод...
А железо скребет и скребет.

* * *

Пред холодами в испуге
Солнце садится на юге,
Прячется за горизонт...
— Боже мой, боже мой, Маша —
Уж не моложе, не краше!
И горевать не резон...

Тихо в бору Каракане,
Муха уснула в стакане,
Вреден для мух алкоголь.
Где моя новая склянка?
Рядом — по карте Сбербанка,
Через дорогу, изволь.

«Путинка» с сыром — в нагрузку.
Ладно, пойдет на закуску!
Все же — алтайский «Янтарь».
Друже мой, все миновалось,
Самая-самая малость
Держит нас, мой государь.

Это любовь и поминки,
Это когда без запинки
Старые строки твердишь.
Будет нам, будет прощенье
С ласкою на угощенье
В верные сроки, глядишь...





Случай на родине

Домик мой притулился на плече Транссибирки:
сектор частных строений на краю городка.
Здесь ветра атмосферу прогудели до дырки,
здесь тоска бесконечна, как напев дурака.

Случай прост и обыден: мне в ограду недавно
странной оцупью, боком затесался старик,
был бельмаст и костляв он и стучал непрестанно
батогом пред собою. Неказист, невелик,
был одет не по лету — пиджачок, телогрейка,
шапка древней цигейки да гнилые пимы...

— Сын не здесь ли живет мой?
Запутался маленько.
Дочка с дому прогнала —
поругались мы...
Вот сынка и шукаю...
Адрес?.. Нет, не упомяну...

Он на улицу вышел.
Он стучал в каждый дом:

Сын не здесь ли живет мой?..
Сын не здесь ли живет мой?..

— Нет, не здесь, —
бормочу я
со стыдом... со стыдом...

Светающий жест

Светлый излом запрокинутых рук,
русых волос восходящие струи,
русый рассвет, озаряющий луг, —
в это уверую, с этим умру я.

Там, где лежим голова к голове,
где созревает роса по полянам,
в птичьем —
космическом —
молекулярном
звоне плыву по туманной траве,
зная —

сиянья не застит былье!
Вот и спасение, вот и свобода...
Вновь погружаюсь, не знающий брода,
в волнами ставшее тело твое...

Предзимье

*Ковш Медведицы над Абрашино
звездною ручкой почти коснулся Оби.
А Млечный Путь в зените подобен
небесной пороше...*

Все это было вчера, вчера:
Бабочки, пчелы, цветы.
Рыжая шкура сыра, сыра
До черноты.

Влагой ли снежной сечет, слепит
Мой любовик.
И, слава Господу, не избыт
Нежности миг...

Послевесеннее

С поля войдя, оскользнуться на черных досках
и, воды зачерпнув из кадушки,
выплеснуть на раскаленную каменку
запах смородины, яблони цвет облетевший
и скорлупку жучка.

* * *

А стаи птиц, летящих по лицу,
а промельки улыбок и печалей
влекут меня к началу и концу
или к бессмертью, бывшему в начале.

Мне любви гуси-лебеди мои,
и горлинки, воркующие кротко,
и горе-журавли, и соловьи...
Из невесомых заповедей соткан
твой чистый лес, твой облик и полет,
из невесомых заповедей сердца.





Твой чистый лес ликует и поет,
где в небеса глядеть не наглядеться.

Твой ясный облик — выси птичий плеск —
прольется в очи облаком печали
и вестью, что конец мой — не конец,
а лишь бессмертье, бывшее в начале.

Ты — рядом. И когда ты говоришь,
или молчишь, или тихонько дремлешь,
на всей земле такая дрожь и тишь
(как на заре весной после дождя!),
что я мудрей, счастливей, чем дитя...
И думаю, и чувствую затем лишь...

* * *

Рубахи на мне распадаются в прах,
До ветхих лохмотьев хлопчатых.
Взаправду нагими нас встретит Аллах
У края небес непчатых.

Ты тела рубаху сыми, не робей
Конца обветшалого праха.
Жизнь катит свое, как жучок-скарабей,
По краю сомненья и страха.

Ступи же за край, через плоти навоз,
В отверстие бездны сиянье,
Где светит надеждою вечный вопрос —
Прощения и покаянья...

* * *

Вот и год прошел, миновал.
— Однова, — шепчу, — однова...
Все пусты, напрасны слова,
Кроме горького — «однова».

Никогда не вянет трава
Там, где ты, как прежде, жива.
Знанье это — как дважды два,
Ты права, родная, права!

Но во тьме, где цел я едва,
Долу клонится голова —
Брезжит прошлого синева
И дрожит судьбы тетива.

Боле кровь уж не ретива:
— Однава, — шепчу, — однава...

* * *

След молитвы в глазах у родни
Скоро станет привычным, как «здравствуй».
Но, прости, может, все не напрасно,
Впрямь, пока не остались одни,
Ты прости мне, мой друг незабвенный,
И невнятную нежность, и стыд.
Я уеду. Пусть ветер свистит
За стеклом и по краю вселенной.

Как тепла наша степь, как кругла,
Сколько песен в нее укатилось,
Сколько боли за далью простилось —
Ни души, ни стены, ни угла...

Я устал забывать имена...
Неужели мы все заблудились?
Наши дети на свет родились,
Для того чтобы длилась война.

Немочь ночи простор поглотит...
А уголья мгновенной утраты
Откровенней пустой полуправды.
Бог суди...
А родная простит.

Ты не плачь. Не молчи, не молчи,
Ты люби меня так же смиренно.
Край скатерки разгладь о колено
И три раза о стол постучи...

Алексей ПАЛИЙ

ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ

Р а с с к а з

1.

Алёшин почти бежал, не замечая шарахающихся от него прохожих. Вдруг что-то заставило его остановиться. Взгляд уткнулся в ядовитые буквы на покосившейся вывеске. С трудом сложив их в голове, получил: «Рюмочная». Вспомнил, что, когда ходил мимо, рисовал в воображении персонажей, обитающих там, на самом дне. И его озарило: именно туда, на дно, ему сейчас и нужно. Набрав полную грудь воздуха, Алёшин открыл дверь и шагнул в пропасть.

Обитатели дна притихли, уставившись на его офисный вид. Баба за прилавком, покрашенная как клоун, выкатила грудь:

- Коньячку молодому человеку?
- Дайте того же, что и... что и народу.
- Ну-у-у... — разочарованно протянула баба.

С бутылкой водки и скользким бутербродом он подошел к свободному столику. Плеснул в пластиковый стакан и с вызовом обвел взглядом присутствующих. Стало совсем тихо. Он смешался и быстро опрокинул стакан в рот. Тут же понял, что не сможет проглотить это теплое зелье. Зажмурившись, все же заставил себя сделать пару сдавленных глотков. Сквозь выступившие слезы глянул на бутерброд и отодвинул его.

Рядом нарисовался какой-то мужичок, видимо завсегда́тай. Он щербато улыбнулся и показал головой на бутерброд. Стараясь не смотреть ему в глаза, Алёшин махнул рукой, дескать, бери и проваливай. Мужичок торжественно взял бутерброд, паясничая, поклонился и уронил его на пол. Бережно поднял, осмотрел, попытался счистить черным ногтем налипшее, а потом поцеловал. Алёшин отвернулся к стене. Когда он повернул голову обратно, мужичок уже растворился в рюмочной.

Сегодня Алёшин проснулся раньше будильника. Открыл глаза: рядом на подушке блестел перламутровый галстук, за который пришлось выложить половину отложенного на отпуск. Приподнявшись на локте, он взял галстук и подержал его на ладони, словно платиновый слиток.

Надев единственную белую рубашку, которую вчера гладил до ночи (строптивые складки заставили его понервничать), он приложил галстук к груди и полюбовался в зеркале на будущего начальника отдела. Предыдущий начальник на днях уволился, и директор сказал, что сегодня пригласит Алёшина для важного разговора.

Алёшин хотел поскорее прийти на работу, но не мог заставить себя ускорить шаг: он нес на груди галстук, завязанный большим кривоватым узлом.

У входа в офис курили коллеги, пытаясь оттянуть начало рабочего дня. В коридоре его чуть не сбила с ног тощая девица, торопившаяся в уборную с упаковкой колготок в руке. Возле кофейного аппарата топталась вздыхающая очередь. У большого зеркала женщины рисовали себе приветливые лица. Алёшина определенно не хотели замечать. И все же он услышал:

— Какой галстук, Виталик! Умереть можно...

Это была Галина, молодящаяся секретарша директора.

— Виталий Сергеевич, — уточнил он и попытался улыбнуться.

Пока загружался компьютер, Алёшин вспоминал, куда ему нужно сегодня позвонить. Однако заставить себя думать о работе не получалось. Предстоящая встреча с директором перевела все дела в ранг незначительных. На глаза попались скрепки, и он принялся двигать их пальцем по столу. Поговаривали, что это любимая игра директора. У каждой его скрепки есть фамилия, и, планируя кадровые решения, он ими манипулирует.

Зазвонил телефон: клиент хотел узнать статус заказа. Алёшину, обычно державшему все заказы в голове, потребовалось лезть в базу данных. Он переспросил номер заказа, потом имя клиента. Что-то ответил, положил трубку и тут же забыл, кто и по какому поводу звонил. Попросил зачем-то подойти Толика, своего подшефного. Рыхлый Толик с вечно мокрыми губами был отпрыском крупного чиновника. Алёшину пришлось потрудиться, чтобы сделать из сынка хоть что-то, и теперь тому можно было поручать мелкие дела. Но Толик не откликнулся, и Алёшин удивился. Позвал еще раз и услышал: «Не сейчас!» Он уже намеревался разобраться, но вместо этого набрал приемную и нарочито громко спросил Галину, на месте ли директор. Тот был на месте. Протянув «э-э-э», аккуратно положил трубку и принялся нервно раскачиваться в кресле.

В офисном кафе он, не чувствуя вкуса еды, сверлил взглядом входную дверь. Потом вспомнил, что директор ест у себя в кабинете: Галина заказывает ему обед из ресторана.

После обеда Алёшин наводил порядок: менял местами телефон и монитор, перекаладывал из ящика в ящик документы. То и дело ненароком подходил к окну проверить на парковке директорскую машину. Было уже пять часов, и он чувствовал себя так, словно его цинично обсчитали в магазине. И тут кто-то дотронулся до его плеча. Он дернулся и увидел Галину.

— Шеф вызывает...

Алёшин выскочил из кресла и, едва сдерживаясь, заставил себя пойти, как ему казалось, с достоинством. Закрывая за собой дверь, он услышал смех коллег.

У кабинета директора Алёшин поправил давивший горло галстук и представил, как выйдет отсюда уже начальником отдела. Решил сегодня же заказать визитки с золотым тиснением, положенные всем руководителям в этой фирме.

Директор окинул вошедшего взглядом, ухмыльнулся и сказал:

— Хотим с тобой посоветоваться. Да ты не робей, присаживайся.

Алёшин присел и уставился на скрепки, лежащие на столе перед шефом. «Они самые! Надо бы и мне завести какую-нибудь особенную привычку. Теревить мочку уха, принимая решения, или вставлять в разговор всякие латинские словечки...»

— Куда улетели, коллега? — донесся насмешливый голос.

— Я здесь!

— Так что думаешь о Толике? Справится он с обязанностями начальника отдела?

Алёшин открыл рот, чтобы воскликнуть: «Конечно! Ведь его наставник — я», но почувствовал, будто ему в лицо плеснули кипятком. Он вскочил, подергал узел галстука и снова сел, не зная, что ответить.

— Боржомчика? — участливо спросил директор, доставая из бара бутылку.

Алёшин в прострации помотал головой. Директор налил себе и не торопясь выпил.

— Подстрахуешь Анатолия Дмитриевича. Мы можем на тебя положиться?

Он кивнул.

— Получать станешь, ну, почти... Ты не рад?

— Спасибо, — пролепетал Алёшин.

— Можешь идти. Блестящий у тебя галстук!

В приемной он налетел на шкаф, нашел глазами выход и направился к нему, переставляя деревянные ноги. «А как же золотые визитки?» — вертелось в голове.

Из-за своего монитора он, как из засады, поглядывал на Толика, болтающего по телефону. Заметив это, Толик заулыбался. Алёшину начало мерещиться, что уже все смотрят на него и улыбаются. Уши его вспыхнули, воздух стал проникать в легкие со свистом. Испугавшись, что если пробудет здесь еще минуту, то задохнется, он выдернул из розетки шнур компьютера и бросился к выходу.

— Рабочий день еще не окончен! — крикнул ему вслед Толик.

Очутившись в офисном туалете, Алёшин открыл кран и принялся пригоршнями кидать себе в лицо холодную воду. «Все выполнял, терпел, ждал, а меня мордой в унитаз... Помощником Толика!» — лихорадило его.

Вдруг он почувствовал чей-то взгляд. В проеме приоткрытой двери стояла Галина.

— Плохо, Виталик? — спросила она.

В голове будто кто-то клацнул зубами, и обида сменилась яростью. Схватив женщину за рукав, он затащил ее в туалет. Щелкнул задвижкой и вцепился рукой в тяжелую ягодицу. Уже не соображая, что делает, изо

всей силы прижал Галину к себе. Она не сопротивлялась, а, уткнувшись ему в грудь, пыталась что-то сказать. Глядя на седые корни ее крашенных волос, Алёшин подумал, что, возможно, будет последним мужчиной этой бывшей директорской любовницы.

...Галина, свесив голову, сидела на унитазе и пыталась натянуть юбку на толстые колени. Алёшин непослушными руками застегивал ремень. Увидев в зеркале свое перекошенное лицо, отшатнулся и выскочил из туалета. Столпившиеся в коридоре коллеги смотрели на него так, словно видели впервые. Затянув под горлом узел галстука, он рванул на улицу.

В рюмочной вновь загомонили. Алёшин удивленно посмотрел на стоящую перед ним бутылку водки. Вспомнил лица коллег и стиснул зубы до судороги в челюстях. «Ничего не исправить. Если б это был только сон!» Горло сдавило, и он подергал узел галстука. Тот в отместку стал тягиваться сильнее. Когда Алёшин уже готов был закричать, в зале пьяно рассмеялись. Опомнившись, он отпустил узел. Блуждающий взгляд остановился на окошке под потолком. Небо было перечеркнуто следом самолета. «Улететь! Прямо сейчас! — вихрем закручивалось в голове. — Куда угодно, главное, чтоб меня там не знали. Начну все сначала, найду работу. Женюсь, детей заведу... Какой бред! Господи, все бы отдал, чтобы вернуться в сегодняшнее утро!»

Вдруг он услышал:

— Вам следует выпить.

Рядом стоял незнакомец в потертом плаще. Из его петлицы торчала пластмассовая гвоздика, похожая на кладбищенскую. Он достал из внутреннего кармана рюмку музейной красоты и налил в нее водки. Алёшин как загипнотизированный взял рюмку: она была ледяной. «Что у него там, за пазухой?» — ошалело подумал он.

— Водку делает водкой температура, — сказал незнакомец.

Отстраненно кивнув, Алёшин выпил и ощутил пробежавшую по телу приятную волну. Незнакомец улыбнулся: «Я обманывать не стану». Пожилой, сухощавый, с внимательными глазами. Седая щетина придавала ему благородный вид. Подумалось, что одежда под его потертым плащом стильная и дорогая.

— Диоген, — представился он и со скучающим видом посмотрел по сторонам.

Алёшин испугался, что Диоген сейчас уйдет, и схватил рюмку, решив так его задержать. Тот, видимо, понял это по-своему и налил еще.

— Да, сегодня мне лучше напиться, — сказал Алёшин, ожидая распросов.

Но Диоген ничего спрашивать не стал. Алёшин выпил, Диоген молчал. Почувствовав, что сойдет с ума, если молчание продлится еще мгновение, Алёшин заговорил:

— Жить не хочу. Не могу. Понимаете?

Диоген, помедлив, кивнул, и Алёшина прорвало. Сперва обрывками: кабинет директора, скрепки, Толик, седые корни Галиных волос... Когда он выпил оказавшуюся вновь полной рюмку, его речь потекла плавней.

Ему уже казалось, что говорит вовсе не он, а кто-то внутри него. И этот кто-то выкладывал собеседнику такое... Время от времени рюмка снова наполнялась. Когда рассказ дошел до Академии успеха, глаза Диогена заблестели. Закончил Алёшин зачем-то еще раз пересказав события сегодняшнего утра.

Выговорившись, он подумал, что, если бы его сейчас публично выпороли, тогда, наверное, можно было бы жить дальше.

Диоген двумя пальцами тянул пустую рюмку из кулака Алёшина. Заметив это, он разжал пальцы. Диоген вылил в рюмку остатки водки, аккуратно выпил и сказал:

— Впечатляюще.

— Да, я в дерьме, — подтвердил Алёшин.

— В шоколаде, мой друг!.. И зря не верите. Во-первых, не смейте себя винить. Ни в чем и никогда. Вас же учили в академии, что вина — это агрессия по отношению к себе, саморазрушение. Если бы для Македонского солдаты были людьми, а не топливом его побед, стал бы он частью истории? Во-вторых, вы совершили поступок — осмелились выскочить за рамки. И там уже не действуют обычные понятия. Вряд ли кто-то из ваших коллег способен на такое. Сейчас они только о вас и говорят, с осуждением и скрытой завистью. Ну, перегной — что с них взять? В-третьих, просто поверьте человеку, который старше вас. Намного старше. У вас впереди чувствуется интересное будущее, вы только в начале большого пути. Положивши руку на плуг — не оглядывайся!

Алёшин пытался понять, не издевается ли над ним странный человек. Кажется, нет. «А если он прав? — подумал. — Не станет же он говорить все это просто так. Может, он знает что-то такое, основное и важное, чего не знаю я?»

2.

После окончания института Алёшина швыряло по разным сомнительным фирмам, дела которых находились в стадии вечного затухания. В конце концов ему повезло устроиться в компанию, которая была на подъеме. Он быстро сообразил, что к чему, и окончательно расстался с институтскими знаниями, как с балластом. Вскоре ему стали поручать самостоятельные проекты.

Клиенты, заказы... Казалось, что вся суть работы — решение проблем и проблем, подsunутых ему могущественным анонимным недоброжелателем. И это будет длиться бесконечно. Алёшина словно привязали за ноги к хвосту старой клячи, плетущейся по раскисшей дороге. Отдыхая по пятницам в баре, он представлял, что когда-нибудь найдет работу своей мечты, которая сделает его жизнь настоящей. Выходные пролетали — и старая кляча вновь тащила его на фоне неменяющегося пейзажа до следующей пятницы.

Хозяин кафе выставил для бывших сокурсников огромную бутылку виски. Когда Алёшин попытался протиснуться к ней, какой-то жилистый

мужик прохрипел: «А ну-ка, в сторону!» — и оттолкнул его. Он не смог узнать мужика, потому что редко видел его в институте. Тот, нагло подмигнув, налил себе полный стакан и отошел. Добыв немного дармовой выпивки, Алёшин наконец огляделся.

Однокурсники хлопали друг друга по плечам, обменивались визитками и сверяли время, демонстрируя свои часы и оценивая чужие. То тут, то там возникал раздражаемый гордостью хозяин кафе, спрашивал, все ли устраивает, и мурлыкал:

— Всегда буду рад видеть.

Алёшин сначала собирался пропустить эту ярмарку, потому что ему особо нечем было торгаться. Но желание проверить, один ли он оказался привязанным к хвосту старой клячи, заставило его прийти. По лицам присутствующих он с облегчением понял, что с клячей были знакомы многие.

После пары бесполовых тостов мужчины стали расстегивать пиджаки, а женщины навалились на закуски. За небольшим столиком у запасного выхода сидела одинокая Уткина. Он поздоровался и присел рядом. Уткина встрепенулась и обрушила на него целый поток слов, из которого он не смог вместить и половины. Заметив его ерзанья, она положила ему на руку влажную ладонь. Потом вытащила из усыпанной бисером сумки фотоальбом и предложила полюбоваться на своих близнецов. Он из вежливости всмотрелся в одну из фотографий, с которой на него таращились преувеличенно улыбающиеся мальчики.

— Разве они не чудо? — спросила Уткина.

«Дауны!» — сообразил Алёшин, и в горле у него запершило. Надо было сказать хоть что-то, и он выдал:

— Папа фотографировал?

— Он от нас тогда уже ушел, — ответила Уткина. — Измучился с нами!

— Вернется, — ляпнул Алёшин.

— Правда? — Уткина распахнула глаза так, словно перед ней оказался волшебник. — Наш папа просто еще не знает, какими умничками мы растем. Астрономией увлекаемся, планеты из пластилина лепим...

Ругая себя за то, что подсел к Уткиной, он продолжал слушать ее торопливые откровения.

— Я хочу еще из детдома взять. По телевизору показывали, они там несчастные такие.

— Ты сама-то счастлива?

— Конечно. Вон какие вы все красивые.

...Выйдя на улицу подышать, Алёшин подставил лицо ветру. Дауны все еще стояли перед глазами. Невдалеке пытался раскурить сигарету кто-то сутулый в лохматом свитере. Широкий лоб, глубокая поперечная морщина. Кажется, это был Олег. Видимо, именно о нем среди прочего говорила Уткина, рассказывая, что встретила в парке аттракционов однокурсника. Он прокатил ее с близнецами на карусели, а потом отвел в комнату смеха. «А ведь там ее дети такие же, как и все остальные», — подумалось Алёшину. Будто услышав это, Олег повернулся к нему и кивнул.



Этот Олег пришел в институт после армии. Мог быть отличником, однако его невзлюбил преподаватель философии. Наверное, за то, что Олег бесхитростно задавал ему вопросы, на которые тот не мог ответить. Кого-то он раздражал, кто-то смотрел на него снисходительно — мол, прост, как штыковая лопата. Да, он не производил впечатления интеллектуала, но Алёшин чувствовал в нем что-то такое, чему не было названия. Среди однокурсников Олег никого не выделял, даже первую красавицу Червинскую. И вскоре ее, похоже, это стало бесить.

Раз на лабораторной она отказалась заниматься с ним в паре:

— Я не кобыла, чтоб с крестьянином пахать.

Многие засмеялись; Олег же пожал плечами, будто ему не дали прикурить, сославшись на отсутствие спичек. Алёшин только впоследствии понял, что она тогда уже была влюблена в Олега.

Как-то в институте объявились два парня, предлагавшие всем заработать на продаже чудодейственных биодобавок. Обещали студентам легкие деньги. Мол, пенсионеры охотно покупают это, главное — правильно обработать стариков. Некоторые заинтересовались. Червинская послушала рекрутеров и подралась с ними. У нее из носа текла кровь, а парни бежали по коридору. Олег догнал обоих уже на улице, и все трое загремели в милицию. На следующее утро Червинская с Олегом появились в институте вместе.

Всех удивляла эта странная пара. «Принцесса и свинопас» — так называл их Рыжий, скользкий, как медуза, парень с их курса.

Однажды они оба куда-то пропали. Поползли слухи: Олега взяли органы, и уже по серьезной статье. Темная история, но если хоть часть слухов была правдой, Олег сделал такое, на что ни у кого из сокурсников не хватило бы духу. Староста Гоша составил коллективное заявление, осуждающее Олега, и собирал подписи. Народ отмахивался, а Гоша укорял: «Для вас же стараюсь, еще спасибо скажете!» Рыжий, который в присутствии Олега начинал кривляться больше обычного, ходил довольный, словно выиграл в лотерею. Появившаяся в институте Червинская, бледная и похудевшая, ходила с высоко поднятой головой и на вопросы не отвечала. Как-то она зашла в курилку, где в очередной раз обсуждалась главная тема последних дней. Народ на секунду замолчал, а потом заговорил о какой-то ерунде. При этом все исподтишка поглядывали на Червинскую, стоявшую в углу с незажженной сигаретой.

Рыжий, обнажив кривые зубы, спросил:

— Скучаешь, принцесса? Или ты теперь у нас черная вдова?

Червинская вперилась в него взглядом. Рыжий глаз не отвел, а, усмехнувшись, поднес ей зажигалку:

— В лоб против системы не попрешь!

Она, помедлив, прикурила и выпустила ему в лицо струю дыма.

Ее вызвали в деканат прямо с лекции. Вернулась через полчаса, села рядом с Уткиной и уставилась в пространство. Та положила ей руку на плечо и принялась нашептывать что-то утешающее.

— Я им все подписала! — сказала Червинская. А когда Уткина попыталась ее приобнять, добавила: — Уйди ты от меня! — и вышла из аудитории.

Олег в институте больше не появился, а Червинская пристрастилась выпивать в компании парней. На одной такой пьянке она долго смотрела на Алёшина. Затем встала, взяла его за руку и объявила:

— Мы уходим!

Проснувшись в ее постели, Алёшин лежал не шевелясь.

— Не бойся, не укушу, — услышал он ее голос. — Гадаешь, почему именно ты? С тобой просто. Ты ведь никто.

Алёшина после долго пытали, куда и зачем его утащила Червинская. Он упорно отмалчивался, а сам все никак не мог решить для себя, что это было — его триумф или позор.

Сейчас ему захотелось подойти и поговорить с Олегом — о старой кляче, об Уткиной, о той темной истории, точных подробностей которой так никто и не узнал. Но тут на перекур шумно выкатились пьяные однокурсники и пришлось вернуться в кафе.

Хозяин, облокотясь на бутафорский камин, что-то плел хохочущей Червинской. Она то и дело прикладывалась к стакану с виски. Не утратив студенческой свежести, Червинская приобрела блеск драгоценного украшения. Такое украшение обычно лежит на отдельной витрине, и ты ходишь мимо всю жизнь, преклоняясь перед его недоступностью. Она единственная в их группе получила красный диплом и уже защитила кандидатскую. Алёшин выхватывал краем уха: «не замужем», «докторская» и еще — насмешливое — «лечь не под кого, герой нужен».

— Привет, старик, — вдруг услышал он и обернулся.

Позади него топтался Гоша. На нем был пиджак в крупную клетку с обвисшими плечами и оттопыренными карманами.

— Как дела? — равнодушно спросил Алёшин.

— Потрясающе. Успех на всех фронтах, — забарабанил Гоша и заговорщицки понизил голос: — У тебя есть уникальная возможность не просто подняться, а взлететь! И даже не как этот, — он осторожно скосил глаза на хозяина кафе, театрально отчитывающего официанта, — а по настоящему. Академия успеха была основана специально...

От Гоши исходил странный запах, в котором было что-то знакомое, вызывающее мурашки. Алёшин все пытался понять, что это, а сокурсник взахлеб рассказывал про свою академию.

— Где работаешь? — попытался сменить тему Алёшин.

— Неважно, где работаешь, важно, насколько ты продвинут. Держи. — Он достал из кармана листок.

Алёшин покрутил в руке пеструю рекламную листовку. Гоша не отходил, и пришлось засунуть ее в бумажник. Благодарно улыбнувшись, Гоша исчез.

Уткина снова была за столиком одна, перед ней лежал раскрытый фотоальбом. Всякий, кто проходил мимо, ускорял шаг.

Неожиданно рядом очутилась Червинская:

— Какие милые мордашки!

Уткина восхищенно посмотрела на Червинскую. Та, сделав ей пальчиками «ну, пока, пока», продефилировала дальше.

Одно из окон кафе заслонила широкий зад автомобиля с крылатым логотипом на багажнике. Хромированные выхлопные трубы, будто нарочно нацеленные в открытую форточку, выпускали клубы дыма. Кто-то сидящий у окна громко выругался, и невидимый водитель, газанув напоследок, заглушил двигатель.

В зале появился Рыжий. На нем были джинсы и рубашка с петухами навывпуск. Его некогда худая, изломанная фигура покрылась слоем respectable жирка. Рыжий, небрежно кивнув собравшимся, налил себе сока. Кто подходил к нему поздороваться — не задерживался. Визиток он никому не давал да и часов не носил. Алёшин вспомнил, как Рыжий заставлял Гошу делать за него курсовики. Тот подчинялся чуть ли не с удовольствием, называл Рыжего другом, стараясь держаться поближе. Видимо, так он меньше его боялся. В институте Рыжий приторговывал наркотой. Когда милиция прихватила всех торговцев, он, благодаря своему родственнику, приглядывающему в одном районе города за соблюдением законности, отделался парой часов в камере.

Алёшин с удивлением заметил, что теперь Червинская сидит рядом с Уткиной. Судя по тому, что последняя покраснела, Червинская вновь жаловалась, что ей не под кого лечь. Потом стала говорить Уткина. Алёшин прислушался.

— Он тебя еще любит... ты ему только скажи... а хочешь, я за тебя с ним поговорю?

— Я что, похожа на жену декабриста? — усмехнулась Червинская.

Рыжий потягивал сок. Рядом внезапно возник здоровяк в черном костюме и услужливо протянул ему мобильник. Рыжий послушал, что-то буркнул и не глядя вернул телефон. Здоровяк моментально исчез. К Рыжему стали осторожно подсаживаться однокурсники. Алёшин, пригнутый невидимой силой, тоже очутился рядом.

Подошел и хозяин кафе и, чуть подавшись вперед, спросил Рыжего:

— Как тебе у меня?

Тот похлопал его по загривку:

— Терпимо.

К столу разболтанной походкой приблизился мужик, который раньше оттеснил Алёшина от бутылки с виски. Он сказал что-то про петухов на рубашке. Рыжий, не поднимаясь с места, схватил его за ворот и уперся в него немигающим взглядом ящера. Разболтанный обмяк, как туша на вилах.

— Ладно, спортсмен, живи, — процедил Рыжий и оттолкнул его.

Напротив Рыжего, покачиваясь, стояла Червинская. Сидевшие возле него, точно по приказу, отодвинулись. Она опустила Рыжему на колени, вызвав аплодисменты, и, закуривая, сказала:

— Кто бы подумать мог... А я на кафедре... совсем не дура, и у меня всё, — она провела рукой вдоль тела, — высший сорт. Но моя доктор-

ская когда еще... Это ведь там твой «бентли», я знаю. У тебя же мозгов никогда не было!

— А зачем они нужны? — хохотнул Рыжий, показывая идеальные зубы. — В жизни нужны не мозги, а чутье и правильный прикус. Жизнь — баба стервозная, но влюбчивая. Ей в удачный момент положи руку на передок — и она тебе отдаст все.

Червинская что-то рассказывала Рыжему. Тот изредка вставлял афоризмы, скорее всего собственного сочинения. Эти двое вели себя так, будто вокруг никого не было.

Алёшин с пьяной легкостью уверял себя в том, что мог бы достичь не меньшего, чем этот фанфарон с петухами. Его размышления прервал возглас Рыжего:

— О, друг! На секундочку!

В другом конце зала материализовался Гоша и, стуча каблуками, спешил к Рыжему.

— Ты так сюда и пришел, что ли? — спросил его тот.

Гоша оглянулся по сторонам в поисках то ли защиты, то ли ответа на странный вопрос. Не найдя ни того ни другого, он переспросил:

— Как... так?

— Ну, без ошейника.

Гоша сделал шаг назад, оступился, смешно взмахнув руками, развернулся и побежал к выходу. Рыжий расхохотался, прыснула Червинская, и вскоре начали смеяться все вокруг, причем многие, похоже, не понимая почему. Внезапно Рыжий замолчал. Из-за дальнего столика на него смотрел Олег. Постепенно и остальные стали затихать. Одни с любопытством глядели на Олега, другие — виновато — на Рыжего. Тот кинул что-то с тарелки себе в рот, пожевал и выплюнул.

Перед ним появился хозяин кафе с позолоченной бутылкой:

— Давай выпьем за делового человека!

Рыжий скривился:

— Я, дорогой мой трактирщик, пью только со своими.

Хозяин понимающе хихикнул, сделал несколько глотков из горла, потом вылил остатки себе на голову и грохнул бутылку об пол.

Далее Алёшин все воспринимал отрывочно. Вот тот, кто совал всем под нос свой «Брайтлинг», спит, привалившись к камину. В медленном танце без музыки тискается парочка. Трактирщик крутит в руке осколок бутылки. Рыжий, прижимая Червинскую, как выигранную в тире игрушку, шагает к выходу. Она останавливается и смотрит куда-то в полумрак зала. Рыжий настороженно смотрит туда же, его щека начинает подергиваться. Женщина решительно отворачивается и со словами «Поехали быстрее!» тащит Рыжего за собой. Алёшин догоняет их на улице, до-трагивается до локтя Червинской и открывает рот спросить наконец у нее про ту ночь. Она шипит и отдергивает локоть, как от чего-то заразного.

Возвращаясь, Алёшин сталкивается в дверях с Олегом и растерянно произносит:

— Она уехала с ним. Ты же был здесь!

— Уже давно — нет, — отвечает Олег, доставая сигарету.

3.

«Как все надоело!» — думал Алёшин и заказывал очередную рюмку. Он впервые зашел выпить в понедельник. Когда стало ясно, что выпивка не поможет, расплатился и поплелся к выходу.

— Парень, у тебя деньги выпали! — нарочито небрежно крикнул бармен.

На полу лежала листовка Академии успеха.

— Это не деньги, — сказал Алёшин и с сарказмом добавил: — Это настоящий успех!

— Так хватай его скорее, иначе будешь всю жизнь на чужой успех вкалывать.

Гошин номер нашелся через третьи руки. Человек, взявший трубку, крикнул:

— Это тебя, зомби!

Послышались шаркающие шаги, и притворно бодрый голос возвестил:

— Егор Филиппович слушает!

Алёшин сказал, что хотел бы встретиться и поговорить про Академию успеха. Гоша ответил, что с радостью бы, но у него нет ни одной свободной минуты. Раздался чей-то издевательский гогот, и Гоша, видимо, прикрывая рукой трубку, ответил:

— Ладно, попробую найти для тебя время. Нет, ко мне нельзя! Встретимся в центре.

Он явился в том же пиджаке. Странный запах тоже никуда не делся. Едва успев поздороваться, принялся торопливо излагать текст листовки. Алёшин предложил посидеть в каком-нибудь баре. Гоша смутился, а потом глаза его загорелись.

— Знаю, куда пойдём!

Банкетный зал за огромными окнами бизнес-центра напоминал муравейник. Сплюснув нос о стекло, Гоша напряженно кого-то высматривал. Затем, кивнув Алёшину, крадущимся индейцем проскользнул к дверям. На крыльце разговаривали вышедшие проветриться люди. Гоша пробирался сквозь них, а те словно не замечали лазутчика. Через мгновение знакомый пиджак уже мелькнул в зале, и Алёшин двинулся следом. Стоявшие на крыльце с удивлением уставились на него. Однако он шел уверенно, и люди неохотно расступились. А ему в голову пришла дикая мысль, что Гоша лишь плод его воображения.

Гоша обосновался у ближайшего стола. Его руки перекалывали колбасу с нескольких бутербродов на один. Откусив половину, он промывчал подошедшему Алёшину, дескать, угощайся. Алёшин скривился и подумал, что не следовало ему встречаться с этим фантомом в обносках.

— Опять ты?! — раздался рядом грозный возглас.

Фантом застыл с набитым ртом. На его плече лежала рука охранника. Гоша медленно потянулся к бокалу с шампанским. Охранник сдавил его плечо и потащил к двери, даже не взглянув на Алёшина.

Испытывая странное удовлетворение, Алёшин выпил бокал, до которого не дотянулся Гоша, и направился к выходу. Пиджак маячил не вдалеке.

— Выгнали? — спросил Гоша.

— Сам ушел.

Тот посмотрел на него с восхищением. Этот взгляд вызывал жалость. Но жалость быстро исчезла и на смену ей пришло лакомое чувство превосходства. И Алёшин решил: все, что не получилось у Гоши, легко получится у него. Вдохновляться нужно и примером неудачников.

— Похоже, тебе успеха не хватило, — сказал он.

— Да что ты понимаешь! — Гоша заговорил с неожиданной злостью. — Успех — не для каждого. Он для тех, кому нужен больше жизни. Кто может ради него и старушку топором зарубить.

— А ты что можешь?

— Я? — взвизгнул Гоша и схватил Алёшина за руку. — Дурак! Я создан для чего-то большего, чем успех!

Алёшин с трудом высвободил руку.

— Слово-то какое тухлое, — проговорил Гоша и дерганой походкой двинулся прочь.

Тут Алёшин понял, что за странный запах исходил от него. Это была смесь нашатыря и ладана. Запах крематория.

На собеседовании Феликс, профессор теории успеха, спросил у Алёшина, для чего он собирается поступать в академию.

— Чтоб отвязаться от хвоста клячи, — пробормотал Алёшин.

Профессор рассмеялся и выписал квитанцию на оплату обучения.

— Заповеди успеха просты, но могущественны, — вещал Феликс на первом занятии. — Каждая высвобождает океан возможностей. Всем вам мешают жить условности, которые давно пора сорвать, как набедренные повязки, и сжечь в доменной печи прогресса. Кто из вас бывал на тренингах? Помогли они вам? Я так и думал. Тренинги пытаются дать вам информацию, завернутую в слишком толстую обертку приличий. А я дам начинку, ведущую к успеху кратчайшим путем. Итак, запоминайте твердое, как немецкая сталь: «Падающего — подтолкни!»

— Зачем? — вырвалось у Алёшина.

Все повернулись к нему, а профессор, взяв паузу, словно желая, чтоб смущение Алёшина продлилось подольше, ответил:

— Потому что летать вы его все равно не научите!

Таким уверенным голосом, как у Феликса, невозможно говорить что-то глупое, казалось Алёшину. Раскованный, как ведущий молодежного шоу, Феликс носил модный костюм и имел пристрастие к попугайчьим шейным платкам. На каждом занятии он, как выражался сам, «дарил» студентам одну из заповедей успеха и давал домашнее задание испытать ее в повседневной жизни. Алёшин часто докладывал о своих достижениях, как правило придуманных. Ему не хотелось быть хуже других. Феликс хвалил его и всякий раз переспрашивал имя.

Алёшин подждал Феликса в коридоре. Ему хотелось наедине задать давно назревший вопрос: что получится, если в конце концов набедренные повязки сорвут все? За дверью пропиликал мобильник.

— Знаю, что она, скорее всего, умрет, — говорил профессор. — Да нет у нее никаких родственников. Ну да, я сын. Отдать свою почку? Доктор, не звоните мне больше.

Алёшин на цыпочках удалился.

...После академии жизнь меняться не торопилась. Старая кляча все так же волокла Алёшина от понедельника до пятницы. Диплом магистра успеха, висевший на двери комнаты, стал раздражать и отправился в кладовку. Лишь одна из вызубренных заповедей не давала покоя и пульсировала в голове: «Желание и право приходят одновременно». Феликс довольно ловко, с постулатами чуть ли не из квантовой механики, доказывал, что, если человек чего-то захотел, он имеет право это получить. Заповедь пульсировала настойчивее и настойчивее.

И Алёшин решил попробовать, хотя бы иногда, не мучить себя сомнениями, а действовать. Оказалось, это дает результат. И никто, по крайней мере в открытую, не тыкал в него пальцем, не называл выскочкой или нахалом. Начальство стало доверять ему клиентов покрупнее и вверило обучение парочки лоботрясов. Казалось, Алёшин освоил правила большой игры для взрослых. Старая кляча никуда не делась, однако тащиться за ней было уже веселее. Когда же на душе у Алёшина становилось гадко, так что хотелось стереть себя до костей стальной мочалкой, он относил это к отголоскам былой незрелости. Благо эти приступы вскоре прекратились. И все равно ему мнилось, что он еще не сделал какого-то главного шага. Того, который окончательно расставит все точки над i.

...Маршрутка застряла в пробке безнадежно. Алёшин выскочил и пошел вдоль дергающихся автомобилей. На перекрестке в луже крови лежал человек, вокруг него собиралась толпа. Алёшин уже сделал несколько шагов прочь, но яркий комок на теле пострадавшего показался ему знакомым. Он взгляделся и узнал шейный платок профессора Академии успеха. Алёшин приблизился, испытывая смесь отвращения и любопытства. Феликс был похож на брошенную куклу. Его губы еще шевелились.

— Он нам хочет что-то сказать, — прошептали рядом.

Тот, действительно, едва слышно повторял одно и то же слово...

4.

Под взглядом Диогена он чувствовал себя так, будто ему предстояло принять неизвестное лекарство. С одной стороны, было соблазнительно выпить полную чашу и полететь, позабыв обо всем. Туда, где Алёшин — герой. Где он стоит в начале интереснейшего пути. Где жизнь полна возможностей. А с другой стороны стояло лишь неизвестно откуда взявшееся в нем: «Но так же нельзя!» Впрочем, если начать разбираться, почему нельзя, то наверняка окажется...

— Ах ты, пес! — проревел кто-то в рюмочной.



Мужичок, выклянчивший у Алёшина бутерброд, вжимался в стену. Над ним нависал детина. Алёшин шагнул было в их сторону, однако Диоген его остановил:

— Не стоит. Для них — это и есть жизнь. Хоть и собачья.

И тут Алёшина словно укололи шилом.

— Что с вами? — спросил Диоген.

— Я вспомнил. Мне тогда лет десять было...

К Виталику домой с просьбой переночевать заявился Сява. Он был на пару лет старше, его волосы украшала подпалина, из-за которой дворовые пацаны почему-то Сяву побаивались. Он частенько не ночевал дома и мог вообще пропасть на несколько дней. Мать Виталика в тот вечер не задавала Сяве вопросов и лишь вздыхала, глядя, как тот глотает борщ. На следующий день он дал Виталику выстрелить из малокалиберного пистолета, и Виталик решил: это лучшее, что происходило с ним в жизни...

— Ублюдок! Огрызка вместо тебя жить возьму! — пьяным голосом орал кто-то на улице.

Он осторожно выглянул в окно: за Сявой гонялся его отчим. Немного переждав, Виталик вышел во двор. Его новый друг сидел у гаражей, приложив к надорванному уху подорожник. Чувствуя перед ним необъяснимую вину, Виталик присел рядом.

Сява повернул к нему голову, с трудом узнал.

— Веди сюда Огрызка.

Виталик отстранился. Сява добавил:

— Или тебя вместо него пристрелю.

Он поплелся на помойку самой дальней дорогой, уповая на то, что Огрызка на месте не окажется. Но пес был там. Он завилял хвостом, и Виталик от безысходности едва его не пнул. Пока искал, что бы накинуть ему на шею, Огрызок ходил следом, тыкаясь в ноги. Чувствуя себя последним предателем, Виталик вел его за собой на обрывке провода, не решаясь оглянуться. Уже подходя к гаражам, он со всей силы дернул провод, надеясь, что пес укусит его и тогда можно будет убежать домой. Огрызок забежал вперед, вопросительно посмотрел ему в глаза.

— Давай сюда! — сказал Сява.

Пес тьякнул, и Виталик неожиданно для себя спрятал руку с поводком за спину. Сява достал пистолет. Виталик не поверил, что Сява, тот Сява, которого они с матерью приютили, сможет выстрелить. Однако, посмотрев на его надорванное ухо, понял, что тому ничего не стоит нажать на курок. Он закусил губу, чтоб не разрыдаться, как девчонка. Сява ударил его кулаком в челюсть. Виталик покачнулся, но устоял. И страх волшебным образом исчез. Он улыбнулся: подпалина на голове хулигана теперь напоминала птичий помет. Сява ударил еще раз, уже как-то неуверенно. Виталик только размазал ладонью кровь по лицу.

— Бешеный, — сплюнул Сява и пошел прочь.

— ...Неделю земли под ногами не чуял, — сказал Виталий Алёшин, не замечая, как Диоген изменился в лице. — Мать допросы устраивала,

плакала. А что я мог ей объяснить? Позже встретил Сяву и сказал ему: «Тронешь собаку — пожалеешь!» Он сделал вид, что не понял, о чем речь. А я... а я ведь только тогда и был настоящим.

— Настоящим?

— Свободным. С тех пор и вспомнить-то нечего.

Хмель ушел, хотя Виталий Алёшин все равно был не в себе. Раньше ему и в голову не могло бы прийти, что жизнь становится настоящей, когда просто освобождаешься от страха. И сейчас он уже мог понять, насколько Уткина счастливее Червинской. Сочувствовал запутавшемуся, как кузнечик в паутине, Гоше. Вспомнил Рыжего, приручившего эту жизнь, но съездившегося под взглядом Олега. И самого Олега, который сделал такое, на что ни у кого не хватило бы духу...

— Но ты мечтал об успехе, — процедил Диоген. — Успех можно показывать другим, как галстук. А эта твоя свобода — иллюзия, временное помутнение рассудка. Настоящая жизнь измеряется только успехом, все остальное — оправдание для слабаков и лентяев. Феликс же вам говорил...

— Мама, — произнес Виталий, глядя куда-то сквозь Диогена. — Он говорил «мама». А потом умер.

...Через минуту Алёшин пришел в себя. Диогена рядом не было, на столе блестела оставленная им рюмка. Он взял ее, рюмка по-прежнему была ледяной.

— Подождите! — крикнул он.

Диоген стоял у дерева, наблюдая, как крупная чайка возится в пыли. Подойдя, Виталий Алёшин увидел, что она молотит клювом голубя. Тот несколько раз судорожно взмахнул крыльями и затих.

— А еще успех — единственный способ выжить в наше время, — сказал Диоген. — Или хотите как этот голубь? Третьего варианта вам жизнь не предложит.

— Вы словно через щель танка смотрите, — начал говорить Виталий, переживая вдохновение, какого ему еще никогда не приходилось испытывать, — или сквозь прицел винтовки. Не обижайтесь только. Жизнь — она же... сочнее, чем вот эти ваши или-или... Даже этот голубь...

Рюмка выскользнула из пальцев Алёшина и разбилась, но он этого не заметил. С уверенностью, что сейчас все объяснит Диогену и тот с ним согласится, он продолжал говорить. Обещал найти Олега, позвонить Гоше, навестить Уткину.

— Зачем ты только вспомнил этого пса? — услышал Виталий Алёшин сквозь нарастающий в ушах звон.

Ему сдавило горло. Последнее, что он увидел, — блеск своего галстука, намотанного на кулак Диогена.

...Старик в потертом плаще с торчащей из кармана гвоздикой шагал по тротуару. Перед ним выросла тень:

— погоди, папаша! Есть чего интересного?

Тот поднял глаза, тень отпрянула.

— Там за углом найдешь прекрасный галстук, — ответил старик. — Бывшему хозяину он маловат оказался, а тебе будет как раз.

Вероника ШЕЛЛЕНБЕРГ

СНЕГОПАД В АПРЕЛЕ

* * *

Душа подобна озеру... Она,
когда спокойна, — в глубину видна,
но разглядеть причудливое дно
лишь с высоты Создателю дано.

Кто надо мною? Птица ли? Судьба?
С отяжкой где-то харкает пальба.
Спокойствие срезается грозой,
угрозою, железной стрекозой,
и ветер поднимает пыль и прах,
звериный ужас, журавлиный страх...

А озеро — оно не убежит,
лишь отражений множит витражи!
И ничего не видно в глубине.
По прихоти по чьей? По чьей вине?

Но тишина вернется все равно,
возьметса время за веретено —
за ивовый кружащийся листок,
спрядет кудель страстей в простой моток.
Задремлет ветер, словно сытый пес.
Продрогнет лес от васильковых слез...

Но перед тем, как корочкою льда
затянется озябшая вода,
сверкнет, надеюсь, тайна там... на дне...
известная Создателю и мне...



* * *

Счастья редкие моменты —
словно мелкие монеты:
блеск и звон, а толку — грош,
и с собой не завернешь.

Вот опять счастливый случай:
снег под лыжами скрипучий,
синева сквозь березняк —
зимний Космоса сквозняк.

Всё со мной! Сегодня! Рядом.
Куропатка — порх! — снарядом
удрала в подлесок сизый,
руша снежные карнизы.

Всё сейчас! Морозно. Тихо.
Веткой хрупают лосиха.
Всё — со мной... И от меня
уходящая лыжня.

Снегопад — проводник

Снегопад в апреле — ай благодать!
Межсезонной серости не видать,
ни рекламной пошлости заказной,
ни дерьма, оттаявшего весной.

Неприглядна правда. Груба. Резка...
Но свежо коснулся снежок виска,
на губах растаял, в ладонь проник
снегопад — проводник

до высоких гор, до небесных сфер!
Мир не может быть повсеместно сер,
повседневно хмур, деловит, кровав,
где душа —
эмигрантка, лишенная прав,
где в решетку беженцы бьют волной,
снова пахнет войной.

Или — *может быть?* Миллиардов — семь.
Кто-то мирного дома не знал совсем.
И когда в Сибири снега, снега,
где-то в Сирии пепельная пурга,
от сожженной плоти земля жирна,
до Чистилища обнажена.

Дальше — кадры с грифом «шестнадцать плюс»,
я не девочка, но... рассмотреть боюсь.
Под спасительный белый бегу я снег,
снег — Руси оберег...

Где исправить не можешь ты ничего,
Остается надеяться на Него!
Но мыслишка гложет — черна, проста:
Вдруг-де там пустота?

Снегопад апреля — утешь, услышь,
проводи до самых небесных крыш
просьбу слезную, детских сердец нужду —
остудить вражду.

И не дай мне смерти страшной свинца —
разувериться до конца...

* * *

Если ты пойдешь за мной по лыжне,
уплотняя нетронутый снег вдвойне,
если ты прорвешься в мою страну —
заповедно-хвойную глубину,
прежним
я тебя не верну.

Непреклонен сосен седой конвой,
далеко разносится волчий вой
на морозе... аж в кишках горячо!
Тронет лапой ельничек за плечо:
— Ты живой?
— Живой.

И к железной кружке
пристынет губа,
все равно что к Сибири —
твоя судьба.
Будем пить из одной — иван-чай, чабрец,
всей хандре — конец,

перекурам сорок пять раз на дню...
У меня все просто — тропи лыжню!
А под вечер — снегом лицо умой
и, как в детстве, падай на снег спиной.

В золотое небо гляди, гляди
и маши руками — лети, лети...

Мы уйдем, останутся ждать пургу
отпечатки ангелов на снегу.

Владимир ЗЛОБИН

КАК СКРИПИТ ГОРОХ

Р а с с к а з

Юра заворочался, но в полусне, какой удерживает тело от дневных ошибок, спохватился и замер. Расплывающаяся под веками девушка еще манила к себе: нужно было лишь перевернуться на другой бок. Но он знал, что старый диван, кое-как переломленный пополам, тут же предательски заскрипит, а когда заскрипит диван — заскрипят за дверью, отделяющей веранду от зимней комнаты.

Осторожно, стараясь сойти за шелест за окном, за мушиное нытье, и вообще за все дачные звуки, которые только могут родиться летним утром, Юра встал с дивана. Вставать было самое трудное: старая мякоть ждала, когда мякоть молодая утратит бдительность, и тут же издавала истошный пружинный визг, который слышало, наверное, все садовое общество. Поэтому требовалась хитрость: ничем не выдавая свои намерения, чесать, скажем, засоренную макушку — а потом резко вскочить, обманув растерявшееся ложе.

В этот раз диван смолчал. Теперь можно было пробежаться по дощатому полу, поставить чайник, скатиться по крыльцу и умыться. Домой Юра заходил с опаской. Крыльцо, как и диван, имело скрытую подлость: оно никогда не скрипело, если спускаться с него, но стоило взойти хотя бы на одну ступеньку, как сразу раздавался глубокий вздох — тягучая, усталая и разочарованная нота, будто сожаление о пустой людской суете.

Но не подвело и крыльцо. Юра с облегчением заварил чай, плюхнулся на диван — на него можно было без боязни плюхаться, но ни в коем случае не вставать — и включил компьютер. Тот загудел мощно, ровно. Этот шум не был страшен: он не проникал за дверь, края которой для тепла были обиты тряпкой. Этот шум плыл на улице, к лету и птицам, а те плыли по голубому небу, которое еще никого не разочаровало.

Юра блаженствовал, лишь иногда отмахиваясь от обнаглевшей мухи. Одиночество продлилось бы дольше, если бы не оплошность. Метнувшись на кухню подлить кипятку, он совсем забыл про приоткрытый для кота погреб. Запнулся о крышку, та едва слышно громыхнула, будто сдержанно ругнулась матом. И когда нога еще не встретила препятствие, но неизбежность болезненной встречи уже стала очевидна, из-за двери, обитой тканью, раздалось:

— Ты уже встал?

Юра замер, надеясь вернуть мгновение.



— Ты уже встал?! — Вопрос повторился истошнее.

Из погреба повеяло холодком. От неизбежного не уйти. Юра громко ответил:

— Встал! Иди завтракать!

В душе еще оставалась надежда «вернуть все взад». Донесшийся из комнаты крик развеял и ее:

— Иду-у!

«У» почему-то протянулась, будто предполагала длительность, последовательность. Но никакой длительности и последовательности не было — наоборот, утро казалось Юре конченным. Он привычно отправился на кухню, разбил яйца о край сколотой чашки, какие всегда отправляют в ссылку на дачу, добавил молока, размешал и вылил смесь на разогретую сковородку. Когда омлет начал подрумяниваться, неприятно грохнула дверь. Она никогда не открывалась, а только грохала, безжалостно врезаясь в старинный буфет с оконцами благородного изумрудного цвета. Буфет содрогался, дребезжал, но дверь останавливал, а та в затихающей злобе стучала его еще пару раз. Там, где буфет неизбежно встречал свою мучительницу, блестел выщербленный деревянный шрамик. Все это Юра знал, даже не выходя на веранду.

— Ты гди-е? — раздался недоуменный вопрос.

— На кухне! — вяло отозвался Юра.

— А чего там делаешь?

— Завтрак готовлю.

— А-а-а... — Голос подумал. — Подождал бы меня, я бы все сама приготовила. Это я могу.

— Да мне не трудно.

Трудно было другое. Трудно было, всунув чепельник в паз, подхватить горячую сковородку и вернуться на веранду. Трудно было положить на тарелки колышущийся, будто боящийся, что его съедят, омлет. Трудно было высыпать на отдельное блюдечко нужные таблетки. Трудно — потому что за всем этим пристально следила старушка, встречу с которой Юра отдалял каждое летнее утро.

— А где же «с добрым утром, бабушка»? — ехидным, но миролюбивым тоном поинтересовались за спиной.

— С добрым утром, бабушка, — с пугающей для себя искренностью ответил Юра.

Он бросил на обладательницу голоса беглый взгляд и в страхе отвел его: только что проснувшийся старик всегда похож на мертвого. Невысокая, медлительная, грузноватая Лидия Михайловна еще не отошла от дремы. Старушка опиралась на деревянную палку и давила на нее не только восьмьюдесятью с хвостиком годами, но и утром, которое вдвое умножает возраст. Глаза, оставшиеся голубыми, сузились в крохотные непромытые щелки. Лицо у Лидии Михайловны опухло и шелушилось. Кудрявые, всклокоченные, короткие седые волосы тянулись вверх и вниз, к буфету и к Юре, будто старушка хотела прикоснуться сразу ко всему и почувствовать отдаляющуюся от нее жизнь.

— Ну хоть посмотри на бабушку! — пошутила Лидия Михайловна, заметив, что внук сторонится ее.



Это и было самое трудное. Каждое утро Лидия Михайловна просила Юру не просто бросить косой взгляд, а поглядеть на нее так, чтобы она это видела. Может быть, это прибавляло ей твердости прожить еще один день. Для Юры же это была пытка. Он смотрел, как трясется опустившийся подбородок с парой колких седых волосков; как застыло белесой каемкой на потрескавшихся губах дурное ночное дыхание; как плавает среди лопнувших капилляров зрачок... И содрогался, потому что видел, во что может превратить красивую интеллигентную женщину обыкновенная старость.

— Да я смотрел, чего уж, — промямлил Юра и наловил еще одну порцию омлета. — Вот, садись. Чаю сделать?

Налить чай следовало в обязательно порядке, но ведь нужно было о чем-то говорить, да еще и оставить за старым человеком хоть какой-то выбор.

— Какой у нас сегодня прием! Ты сам приготовил?

— Сам!

— Ты умеешь?! — воскликнула Лидия Михайловна, хотя Юра готовил омлет два раза в неделю.

— Бабушка, мне двадцать лет. Я все умею. Садись давай.

— Достань себе чистую тарелку. Там в буфете должна быть. В левом отделении.

— Да-да. Ты садись, главное.

Лидия Михайловна схватилась за буфет, как раз в том месте, где он был искалечен дверью, и подтянула себя к столу. Больные ноги с трудом согнулись, и женщина опустилась на стул.

— Умываться не пойдешь? — поинтересовался Юра. — Я в умывальник воды налил.

— Да что-то не хочу. Ноги не ходят.

— Хочешь, я тебе в тазик воды налью и сюда принесу?

— Да не надо, я сама могу...

Вот это «сама могу» Юру все чаще раздражало. Во-первых, бабушка сама уже почти ничего не могла. Во-вторых, «сама могу» плавно превращалось в «могу, но не хочу». В-третьих, и это было самое важное, «сама могу» касалось не только ее, но их двоих: бабушки и внука. Если бы Лидия Михайловна сначала умывалась, а потом требовала смотреть на нее, тогда Юра видел бы не заплывшее «рыбье» лицо, где перемешались серые и желтые полусонные, истертые пергаментные цвета, а вполне человеческие черты. Но Лидия Михайловна умываться не спешила: ей было тяжело ковылять на улицу, и Юра каждое утро смотрел в лицо проснувшегося мертвеца.

То же самое было с баней. Старушка не всегда соглашалась идти туда, оправдываясь погодой или просто своим «не хочу». Но мыться было необходимо, потому что вместе со старостью приходит запах, и этот запах начинал вытекать на веранду, как только дверь грохала о буфет.

— Нечистым трубочистам стыд и срам, — пристыдил бабушку Юра, быстро доев омлет.

— Бе-бе-бе! — отшутилась старушка.

Вопреки возрасту и здоровью, для поправки которого ее и переселили на дачу, Лидия Михайловна пребывала в полном рассудке. Юра пони-

мал: главное — соображает человек или нет, и если соображает, то любой физический недуг не так страшен. Ведь когда человек ни гу-гу, то его как бы и нет — просто непослушное мясо ходит. А Лидия Михайловна не только соображала, но, как всякий постаревший советский интеллигент, даже связно рассуждала на вольные темы: о классической музыке, чуть-чуть о латыни, о русской литературе, выказывала знакомство с анекдотами и прочим гумусом, на котором возросли многочисленные библиотекари, преподаватели и переводчики двадцатого века. Старушка могла ответить не просто остроумно, а так, что Юра не сразу ее шутки понимал, и это ему нравилось больше всего. С другой стороны, это его немного пугало. Бабушкино чувство юмора не сочеталось с ее неуклюжим одеревеневшим телом, которое никто не бил, но которое все равно было в синяках: еле-еле ходит человек, умыться не может, а все равно смеется, шутит...

— А Васька где? — Кусочек омлета свалился со сморщенной губы и мокро шлепнулся в тарелку.

Большой серый кот свободно приходил и уходил через дырку в погребке, днем отлеживался на старушечьей кровати, а ночью отправлялся на охоту. И все бы хорошо: кот ел и урчал, давал гладить пушистый сибирских мех и любил улечься под ногами, так что никто никуда не мог пройти. Но Лидия Михайловна оберегала кота, как священный дачный тотем.

— Куда опять намылился? — вскрикивала она, заметив, что кот спрыгнул с кровати или начал подозрительно вертеть мордой.

И закрывала дверь в зимней комнате на крючок, так что кот полночи скребся и мяукал, а Юра лежал на веранде и слушал концерт, которого не заказывал. Бабушке было хорошо: она храпела. Коту тоже было хорошо: у него было дело. В такие ночи нестерпимо хотелось, чтобы кот победил и дверь, распахнувшись, как следует шандарахнула по буфету.

— Гуляет где-то. Это же кот, — в который раз ответил Юра.

— Вася! Вася! Вася! — закричала старушка, не вставая из-за стола.

Юра машинально сжал кулаки. Они подрагивали.

— Вася!

Никто не пришел и даже не мяукнул.

— Вот негодник, — вполне серьезно сказала Лидия Михайловна, — опять шляется!

— Это. Же. Кот! — отдельно и уже зло произнес Юра.

Он злился не на бабушку. Его злила ситуация. Злило то, что ровно то же самое было месяц назад и будет еще через месяц. Юра догадывался, что он ответит и какая последует реплика. Он знал, что кот придет минут через десять или пятнадцать, с радостным мявканьем вскочит на крышку погребка — и бабушка так же радостно воскликнет: «Вася!» Юра понимал, что человеку, перевалившему за восемьдесят лет, позволительны и не такие причуды. Но все равно злился, и от этого его раздражение росло.

— Мр-р-р-р-р!

Вздогнула крышка погребка. Пушистый серый хвост приподнял край старушечьего платья. Кусочек омлета плюхнулся обратно в тарелку, в желтоватую лужицу. Бабушка посмотрела туда, где кота уже не было.

— Ты пришел, Кыскин?



Кот важно проследовал в комнату. Там у него стояли плошки с кормом и водой. Лидия Михайловна перевела дух. С таким же облегчением Юра увидел, что ее лицо ожило после сна.

— Тебе еще что-нибудь дать? — спросил Юра.

— Спасибо, все есть.

— Тогда я пойду, поработаю в огороде.

— Ах ты, наш труженик! — И это была не ирония.

Ни в каком огороде Юра не работал. Утром он уходил в дальний конец участка, быстро поливал огурцы и садился в тень под ранеткой. Там он рассматривал веселую грядку с горохом, ожидая, пока бабушка доковыляет до туалета, помоем руки и взберется обратно по крыльцу, которое под грузной старушкой почему-то не охало, как оно обычно охало под Юрой. Только когда бабушка скрывалась в комнате, он выбирался из своего укрытия и понуро шел на веранду, где снова садился за компьютер.

— Ты пришел? — неминуемо раздавался тогда вопрос, и, если день начался неудачно, Юра не отвечал и опять уходил в огород.

Он знал, что ничего страшного не происходит: по крайней мере, никто не обмазывает вчерашним ужином стены и не убегает из дома в поисках утерянного времени. Знал, что, в сущности, еще не испытал и сотой доли того, с чем имеют дело сиделки, медсестры и санитары. Но даже то, что было, изводило не меньше полноценного безумия, заставляя размышлять под ранеткой о неприятных вещах. Вместе с листвой полукультурки в ушах шумел вопрос: раз ничего страшного не происходит, но это «ничего» все равно бесит, значит, дело не столько в бабушке, сколько во внуке?

— Юра!

Крик раздавался густой, насыщенный. Тот, кого этот крик звал, не спешил на помощь, а устало выходил из сучкастой тени на второй или третий раз, когда крик из требовательного становился испуганным и просящим.

— Да? Что такое?

Юра входил в зимнюю комнату, где на кровати лежала бабушка. По обыкновению, она читала. Как правило, что-нибудь из подшивок «Роман-газеты». СССР щедро снабдил все дачи страны пищей для ума и печки.

— Вот, тебе стоит это прочитать. Для общего развития.

Обязательно протягивался старый журнал, и когда Юра брал его, то чувствовал холод бабушкиных рук. Однажды он шутливо заметил:

— Остываешь?

— Остываю, — как-то серьезно выдохнув, ответила бабушка.

Но обычно разговор был другой.

— Что готовить на обед? Суп гороховый...

— Спасибо, я сам все приготовлю.

— Рис можно с котлеткой, — продолжала Лидия Михайловна. — Там в морозильнике котлетки есть.

— Да говорю же, я все сделаю.

— Или суп с горбушей? Консервы посмотри в правом отделении буфета.

Снова сжимались кулаки.

— Или рис хочешь?



В этот момент, даже если дело касалось не обеда, а полива грядки или похода в магазин, Юра четко осознавал, что его раздражало в общении с бабушкой. Лидия Михайловна не слушала того, что ей говорят, хотя по возрасту и состоянию здоровья должна была слушать. Просто из соображений здравого смысла. Для собственного покоя и самосохранения. Для удобства, в конце-то концов. А она не слушала! И переспрашивала, переспрашивала, задавала вопрос за вопросом, поучала, поучала, поучала... Оба знали, что готовить будет Юра и можно отказаться от надоевшего ритуала, но отказа не следовало, потому что это был не просто совет, а остаток постаревшей власти, которой Лидия Михайловна когда-то обладала над своими детьми и внуком.

— Понял, где горошек? Там, в правом отделении буфета... или в левом? Я не помню. В общем, сам разберешься. Не маленький.

Стоило большого труда удержаться и не нагрубить.

— Ну че ты злишься? — в противном случае спрашивала старушка, и было невозможно не простить ее, видя искривившиеся в обиде губы. Да и «че», так не шедшее к ее интеллигентской природе, звучало живо, определенно: оно четко выражало действительную большую обиду, и Юра мгновенно остывал.

— Прости меня, я не хотел, — извинялся он.

— И ты меня прости. Совсем я из ума выжила.

К сожалению, признание ошибок не всегда приводит к работе над ними. Все повторялось снова и снова. Дни шли медленно, никак не желая приближать сентябрь, когда холода вынудят переселить бабушку с дачи. Юра желал сентября больше подсолнухов, больше листвы, больше солнца — он хотел сентябрь, как хотят девушку, хотел на учебу, хотел семинаров, хотел подряд четыре лекции с гнусавым профессором, лишь бы не отвечать на одни и те же вопросы про горошек и не смотреть каждое утро в опухшее бледно-желтое лицо без глаз.

«В сущности, — рассуждал Юра, — ничего особенного не происходит. Все просто прекрасно. Человеку уже за восемьдесят, а он читает сложные романы, сносит тяготы дачной жизни, шутит. А эти вопросы, поучения, контроль... Ну подумаешь! Это же не сумасшествие. Не овоща ведь на меня повесили. Но я все равно злюсь. Я злюсь каждый день. Я злюсь на нее. Злюсь на себя. Злюсь на Васю. Сегодня я ударил кулаком по столу, хотя мог бы не бить. Но мне почему-то нужен был этот удар. Он как будто должен был выразить что-то, чего я сам не понимаю. Я люблю бабушку, я ухаживаю за ней и готов делать это до самого конца. Мне не сложно... но при этом так трудно!»

Юра засыпал с клятвенным обещанием быть терпимей и дружелюбней. Но утром он неправильно подскакивал с дивана, тот орал, как будто его пырнули ножом, и сквозь дверь снова пробивалось эхо:

— Ты уже встал?

Вопрос, которого не требовалось задавать и который не требовал ответа, в этот раз привел Юру в бешенство. В нем слышалось скрытое издевательство. Загвоздка была в «уже». Почему нельзя спросить без этого чертова «уже»?! За «уже» скрывалась слезка, наблюдение, под-



черкивающее не факт, а процесс: мол, ты не просто встал, а растянул это вставание во времени, позволил себе не сообщить о пробуждении, а значит, вышел из-под контроля, стал независимым и тебя надо немедленно одернуть. Естественно, Лидия Михайловна не имела в виду ничего подобного, но вопрос считывался как проявление власти, и это раздражало раньше, чем тело успевало налиться гневной кровью.

— Встал! — еле сдерживаясь, крикнул Юра. — Иди завтракать!

И все повторялось. Требование посмотреть в глаза, которых не было. Сквородка, таблетки, чай. Колыхнувшаяся крышка погреба, когда на нее взгромоздился кот, и не требующий ответа вопрос: «Вася пришел, что ли?» Затем огород, отшельническое созерцание гороха, радостно тянущегося к солнцу, и возвращение под крышу для нового, предобеденного наставления.

— Это просто засада, я уже так не могу! — жаловался Юра ночью, когда шарился по садоводческому обществу с друзьями. — Я знаю, что ничего стремного не происходит, но... Да блин! Страшно — это когда человек кандидат наук, а с ним разговаривают как с ребенком. У нас ничего такого... А все равно бесит, бесит, бесит! Я готов уже матом крыть! Во мне столько всего накопилось, но я просто не в силах это высказать. Не знаю как, чем, что... Понимаете?

Приятели подобрались сезонные, с какими общаешься лишь пару месяцев в году, поэтому дружба между ними была натянутой.

— Да, Юрец, это вообще адок! У меня бабка с ума сходила. Ушла в огород, а чайник выключить забыла. Он расплавился, пожар начался... Хорошо, я увидел! Я ей потом говорю: «Старая твоя башка, если ты ничего уже не помнишь, то проверяй все по десять раз!» Чуть дачу нам не спалила!

Чем больше приятель говорил, тем больше не соглашался с ним Юра. Ему не приходило в голову оскорбить Лидию Михайловну. Мучившая Юру озлобленность возникала не по объективным причинам: нудные стариковские поучения и рядом не стояли с необходимостью менять подгузники, — а из-за какого-то неуловимого чувства, может быть даже звука, который Юра слышал, но никак не мог разобрать. Он хотел понять, почему злится, хотя знает, что злиться не надо, и, если он понимает и все равно злится, означает ли это, что дело в нем самом, или речь все же о чем-то более тонком и страшном?

Друзья по пиву не смогли уловить нить рассуждений, и Юра, распрощавшись, отправился домой.

Шел второй час ночи. Окна дачи горели. На веранде Юру встретила Лидия Михайловна, одетая в одну ночнушку. Бабушка спала, положив локти на колени и уронив голову на грудь. В некрашенный пол уперлись распухшие босые ноги. Юра отметил, что пора бы подстричь на них ногти. От звука хлопнувшей двери старушка всхрипнула, подняла голову и уставилась на внука.

— Пришел, слава богу!

Юра ничего не ответил. Он протиснулся к дивану и демонстративно стал раздеваться. Одежда резко шаркала в воздухе.



— Допоздна ходишь, — прозвучало замечание, когда свитер был на голове.

— Я гулял.

— С ребятами?

— С ребятами.

— С Илюшкой, Сережкой? Паша был?

Отвечать не хотелось.

— Хочу все знать! — сводя вопрос к шутке, засмеялась Лидия Михайловна.

Свитер натянулся до треска и выстрелил в угол веранды.

— Мне двадцать лет! Тебя не должно занимать, где я и с кем.

— Но я же волнуюсь!

— И что?! Я предупредил, что иду гулять! Я сказал, что вернусь поздно! Чего еще нужно? Ложилась бы спать, ключ все равно у меня.

Лидия Михайловна начала подрагивать. Задубевшие пятки корябули пол. Мягкий подбородок поплыл, и голубые глаза вышли из берегов. Бабушка плакала.

— Я... я... волновалась. Не... не... надо кричать.

Неожиданная истерика разозлила Юру еще больше.

— Ну что такое? Ну шла бы спать — и не надо было бы плакать! Что вообще случилось? Меня что, волки съедят? Я потеряюсь? Заблужусь? Бандиты нападут?!

Старушка тряслась. Под ней дрожал стул, позади возвышенно дрожал буфет, и дрожала крышка от погреба, как если бы на нее запрыгнул кот.

— Просто ты... один обо мне... за... за... заботишься. Ты моя отрада. Я так боюсь тебя потерять!

Юрин пыл утих. Он подошел к бабушке и обнял ее. Его лицо оказалось над ее лицом; для этого даже не потребовалось большого мужества, потому что мужество нужно там, где нет любви. Покрасневшее, вздрагивающее, рыхло-морщинистое лицо не вызвало ни брезгливости, ни отвращения. Юра поцеловал влажную дряблую щеку, прижав губами несколько коротеньких белых волосков.

— Я тоже тебя люблю. Я очень тебя люблю.

Мокрая полубезумная улыбка озарила Лидию Михайловну.

— Ах ты, мой заюшка!

Неприятно пахнущее тело, понемножку испачканное во всех старческих жидкостях, прильнуло к нему. Это не просто не оттолкнуло Юру, но даже не вызвало чувств, которые требуется преодолеть. Он обнимал бабушку честно. Обнимал не как бабушку, а как брата. Согнувшись, он сжимал вцепившуюся в него старушку и слушал, как тяжело, неохотно бьется ее сердце.

— Я тебя очень люблю, — сказал Юра. — И злюсь не на тебя, а из-за твоей манеры командовать. Давай договоримся: если я говорю «нет», это значит «нет». Не нужно меня учить. Я ведь не маленький...

— Для меня ты всегда маленький! Раз я бабушка, то...

— Ну не надо, не надо! Давай без этого. Можно же просто уважать друг друга. Я же не требую от тебя конфет на основании того, что я внук.

— Ты конфету хочешь?



— Да я...

— У меня есть. — Лицо Лидии Михайловны счастливо осветилось.

— Да не хочу я конфет! Я хочу, чтобы ты меня слушала. И я тебя, конечно, буду слушать. Не будем ссориться. Хорошо?

— Хорошо! — согласилась Лидия Михайловна, хватаясь за буфет, чтобы подняться. — Не забудь коту дырку открыть, а то он шляется не пойми где!

— Так договорились? — настойчивее спросил Юра. — Будем друг друга слушать?

— Друзья мои, прекрасен наш союз! Он, как душа, неразделим и вечен... — Лидия Михайловна сбилась. — Свободен, беспечен... тьфу! Все забывать стала! Как же там?.. А-а-а, ладно! Спокойной ночи!

Утром крыльцо выдохнуло мощно, хорошо, как будто копило невысказанную боль несколько десятилетий. Тут же, пробившись сквозь стены и вылетев с веранды, донесся возглас:

— Ты уже встал?

Через полчаса Юра сидел под ранеткой. Рядом по бечеве полз горох. Он еще не созрел: стручки были тонкими, плоскими и совсем не скрипели, когда на гряде налетал ветер. Юра подошел к гороху и провел по нему рукой, как по струнам. Горох молчал. С неба давило жаркое утро, которому было далеко до сентября. Крик, омет, я сама могла, посмотри на меня, дырка для кота, где кот, Вася пришел, горошек вон там, в правом отделении, — все повторилось, словно и не звучал Пушкин. Разве что дверь грохнула о буфет торжественно, будто ударила в гонг. Юра не выдержал и ушел прямо посреди завтрака. От вчерашнего слезливого примирения осталось только похмелье. Юру снова одолевало раздражение, которое он никак не мог высказать. Даже в сам момент ссоры что-то застряло в горле и Юра хрипло подавился возмущением. А ведь нужно было крикнуть, ударить воздух, сделать что-нибудь такое, из-за чего тебя услышат! Но Юра почему-то растерялся.

— Здарова!

К столбику забора прислонился один из дачных товарищей. После короткого приветствия завязался разговор.

— Понимаю, Юрец! — уверял приятель. — У меня такая же тема была. Купил я в том году тачку, а бабыла, прознав, накинулась: «Ты зачем ее купил? Как тебе не стыдно!» Я такой весь в непонятках, а мне бабыла и сообщает: «Если ты разобьешься, кто за мной ухаживать будет?»

Слово «бабыла» прогоркло, будто речь шла о мерзкой наживке для рыбалки, но еще сильнее претило, что вот так грубо о родном человеке могут рассказывать человеку совсем не родному. Юра воспринимал родственные связи как что-то естественное и потому удивился, что они могут быть эгоистичными. «Разобьешься — кто за мной ухаживать будет?» Чушь какая-то... Неужели каждый старый человек — собственник? А почему нет? Совсем недавно старик кормил семью, а теперь пристегнут к ней сбоку как обуза, и это сначала злит, вызывает желание быть полезным, доказать, опровергнуть, а потом, когда от твоей помощи вежливо отказываются, появляется первая капризность и первая обидчивость.

Не помнят. Не ценят. Не делятся новостями. А ведь кто их выкормил?! Кто воспитал?! Почему они не слушают меня? Не слышат? Или им неинтересно? Постойте, дайте мне минутку, я припомню... Да вот же интересное, важное! Кто по центральному каналу пел. Какую погоду передали. Надежда Григорьевна лук посадила. В трубе что-то стучало... А когда и на это никто не ответит, приходит чувство брошенности и ненужности. Теперь уже до самого конца.

В огороде появилась Лидия Михайловна. Опираясь на палку, она медленно шла к уборной. Юра, заподозрив неладное, устремился навстречу. На подходе к уборной в нос ударил резкий кислый запах, но струился он не от деревянной будочки, увитой бешеными огурцами. Он шел от дома. Лидия Михайловна охнула, поджала то, что уже нельзя было поджать, и Юра увидел, как по раздутой щиколотке потекла оранжевая струйка.

— Ты туда не ходи. У меня ЧП, — раздался усталый голос.

Именно усталый, а не испуганный или рассерженный — такая речь бывает у человека, которому давно не подчиняется собственное тело.

— И не смотри. Ох... Да чтоб тебя, провались! Не добежала.

Юра стал забирать в грядку с капустой, чтобы обойти препятствие, но оно, повернув бледное потное лицо, вяло попросило:

— Не ходи. Там ЧП. Я потом сама уберу.

Было очевидно, что сама убрать за собой Лидия Михайловна не в состоянии.

— Да ладно, не переживай! С кем не бывает. Тем более в твоем возрасте. Сейчас я все уберу и баню затоплю.

— Не надо, я сама... — запротестовала старушка, но тут в ней снова что-то забурлило и лопнуло.

Она прогнулась вперед, чтобы жижа не потекла по ноге, да так и застыла, будто фигура на носу корабля.

Юра вооружился лопатой и осмотрел фронт работ. Крыльцо было чистым, но вот дорожку окропило ярким, кислотным следом. Пища не хотела давать жизнь старому организму, и тот выплюнул ее нетронутой, с ягодками и яичными лоскутками. Пахло. Радовались мухи. Юра срезал пласт земли. Работалось без отвращения и обиды. Он не злился и не злорадствовал, кроме того, ликовать, осваивая древнюю профессию золотаря, было бы странно. На минутку закралась мысль: вот учат его, учат, а он терпит и даже, проявляя благородство, прикапывает командирское дерьмо. Юра подумал так не из гордыни. Просто нужно же было о чем-то думать.

Вскоре на всей дорожке к туалету выросли маленькие холмики. Он для верности потоптался на них — ничего не вытекло, не хлюпнуло. Затем прогрел баню и принес туда полотенца, которые было не жалко.

— Как выйдешь, иди в баню. Я затопил.

— Да не надо так стараться, я... — раздалось из туалета.

Через два часа Лидия Михайловна сидела за столом посвежевшая, умытая, раскрасневшаяся от стыда и стирки. Старушка долго гремела в бане тазами и под конец, казалось, плескала водой не столько для чистоты, сколько для внука: пусть не думает, что его бабушка грязнула. Так могут скоблить себя только давно не мывшиеся интеллигенты.



— Спасибо тебе, Юрочка, — говорила за чаем Лидия Михайловна. — Что бы я без тебя делала, заюшка! Ты один обо мне заботишься.

— Ну, вообще-то, не один. Много кто...

— Такой конфуз! Ты уж прости, кишечник не работает... или желудок... Я уже забыла, что там у меня не работает. Таблетки не помогают. А где у нас Васька?

Лидия Михайловна тревожно оглянулась. Позади нее возвышался буфет, недобро косящийся изумрудными стеклышками на закрытую дверь комнаты. Кота нигде не было. Юра не помнил, чтобы тот приходил утром. Такое хоть редко, но бывало. Больше царапнуло замечание «у нас». Строго говоря, это было не верно. Юра не переживал за Ваську, зная, что тот придет, и не желал подписываться под волнением, которого не испытывал. Но и возражать вслух не хотелось.

— Гуляет где-нибудь. Это же кот.

— Я за него волнуюсь. Даже больше, чем за тебя! — прозвучала натужная шутка.

Чтобы отвлечь Лидию Михайловну от кота, Юра завел разговор из тех, что состоят из коротких наводящих вопросов и пространных ответов. Лидия Михайловна заговорила многословно, подробно, даже интересно, что редко бывает, когда между собеседниками полувековая разница.

— Я в войну заболела туберкулезом, и меня лечили стрихнином. Под кожу кололи. И ведь вылечили! До сих пор не понимаю как... Жили мы тогда с мамой и бабушкой очень бедно, но лучше, чем остальные. У нас козочка была, и мы ее молоком спасались. Молоком да крапивкой. А полы чистили так. Брали веник без листьев, голик назывался. Клали его на пол, наступали ногами и драили. Полы были белоснежные, если не крашенные. Да те, у кого крашенные были, голиками и не драили. Вот тяжело было без мужчин! Ты же знаешь, у нас почти никто не воевал: до войны всех прибрали. А в пятьдесят третьем, когда объявили о Сталине, я, дура, написала куда-то письмо, не помню куда... Наверх, в общем, написала. Но хоть догадалась прочитать его маме с бабушкой. Уже не помню слов, но я там, как говорится, благодарила вождя за свое счастливое детство. Мама с бабушкой страшно побледнели, письмо отобрали и сожгли. Да... Вот же дураками мы были! Ничего ведь не знали. Ничего! Помню, как радовались Гагарину. Выбежали на улицы, ликовали!.. Еще у нас собачка Муля жила, уже после войны. Ты ее не помнишь. И столик у меня был. Вот об этом столике я жалею. Ну, он такой уютненький, маленький. Потом он у меня стоял, когда я училась в институте, в квартире на Орджоникидзе. А буфет нам от прежних владельцев достался... Ты не заскучал, заюшка?

Юра не заскучал. Он заслушался. Старушка смотрела в одну точку — туда, где к окну привалилось небо. Рассказ тек тихо и мило, как воспоминания девятнадцатого века. Лидия Михайловна выговаривалась полностью, и это пугало: так порой выговариваются перед смертью. Юра поспешил высказать слова поддержки, которые обычно вызывают еще большую горечь.

— Мне поговорить не с кем. Вы вечно злитесь, если я что-то говорю. А подруг у меня не осталось. Те, что есть, — зачем им мое брюзжание слушать? Да и подругой можно назвать ту, которой ты готова самое важ-



ное, тебя волнующее, рассказать, и она выслушает. У меня таких нету. Умерли. А вы злитесь! Даже ты злишься. А я ведь просто поговорить хочу. Мне скучно. Мне очень одиноко. Я зажилась.

Мгновенно Юра осознал ту боль, которая толкала Лидию Михайловну на неумелый разговор с ним. Это был не пошлый эгоизм, которым так любят объяснять сложные явления, но отчаяние, что ты теперь лишь объект, которому нужно не забывать пить таблетки. А кому хочется ощущать себя стулом? Устыдившись, Юра проговорил с бабушкой до самого вечера, и проговорил хорошо, на равных, по-дружески, так что, когда Лидия Михайловна отправилась спать, она не вспомнила ни про отсутствующего кота, ни про свои обыкновенные назидания.

Посреди ночи Юра проснулся от чьих-то шагов. Диван застонал, будто его оторвали от заслуженного наслаждения. Шаги придвинулись к двери. Палка заскребла по полу. Несколько долгих секунд дребезжал крючок, а потом дверь, описав скрипучую дугу, хлопнула о буфет, затем еще и еще, гася амплитуду. На Лидии Михайловне была белая ночнушка чуть ниже колен. Толстые пальцы с толстыми неподстриженными ногтями цеплялись за доски. Волосы разметались и стояли дыбом вокруг лица.

— Вася не приходил? — спросила Лидия Михайловна и вся задрожала.

— Не приходил, — пересохшей глоткой ответил Юра.

— Ты дырку ему открыл?

— Открыл.

— Чего же он тогда не приходит? — Старушка задергалась, готовая расплакаться от обиды, нанесенной котом.

— Это же кот. Он гуляет по ночам...

— Его и днем не было.

— Да придет, куда денется, — пробормотал Юра.

И тут произошло то, чего он никак не ожидал. Лидия Михайловна вдруг устремила взгляд куда-то на входную дверь, будто могла видеть сквозь нее, и, находясь внутри запертого дома, истошно заверещала:

— Вася! Вася! Иди домой! Вася!

Она поудобней уперлась палкой в пол и приготовилась закричать еще громче, так чтобы наверняка преодолеть брус, шифер и стекло.

— Бабушка, тихо, тихо! — пораженный Юра сбился на умоляющий тон. — Не кричи, пожалуйста! Люди же спят. Тем более тебя отсюда не услышат. Это на крыльцо надо выходить, а там кричать нельзя: ночь на дворе. Ты иди ложись спать, а я кота покараулю. Дырку я открыл. Когда он придет, я его к тебе запущу.

Аргументы намеренно были подобраны четкие, дабы отпугнуть призрак близкого сумасшествия.

— А ты дырку точно открыл? — недоверчиво спросила Лидия Михайловна.

Ночнушка на ней скрывала что-то помимо тела. Юра не хотел знать что: он боялся, вдруг ему откроется какая-нибудь червоточина, на дне которой клокочет и воет старческое слабоумие.

— Точно открыл. Я дырку коту всегда открываю. Ты иди. И надевай в следующий раз тапки. Застудишься.



Старушка еще немного пораскачивалась на порожке, затем прислонилась боком к косяку, взяла клюку двумя руками за нижний конец, зацепила ею ручку двери и медленно потянула на себя.

Дверь закрылась. В лунном свете поблескивал встревоженный буфет. Его тоже разбудили.

Покой продолжался недолго. В комнате снова раздался шаг. Юра заранее сел, диван заранее завопил, буфет заранее напрягся — и только дверь грохнула ровно тогда, когда ее толкнули. На порожке застыла побелевшая Лидия Михайловна. Она не плакала, не тряслась, не проявляла вообще никаких чувств. Вместо этого у нее шевелились волосы, будто их тянул к потолку невидимый репей. Когтистые пальцы ног скребли по полу.

Старушка невидяще уставилась на Юру и жалобно попросила:

— Можно я его еще покричу?

«Можно» было из той же серии, что «уже» и «я сама». Зашифрованное послание, смысл которого сразу прошибает насквозь. Юра распознал ужас человека, только что утратившего любимое существо.

Он как можно ласковее заговорил:

— Бабушка, иди спать. Это же кот. Он вот-вот вернется.

— Я боюсь, что он уже не придет!

— Почему? — спросил Юра.

— У нас здесь кошачье гетто. Котов рвут. Со... со... собаки.

С великим трудом Юре удалось уговорить Лидию Михайловну лечь в постель. Старушку душили тихие подвывания. Он проводил ее до кровати и, чтобы отвлечь, не придумал ничего уместнее, чем подстричь ей ногти. Сама она не могла этого делать: ей было трудно наклоняться. Каждый раз бабушка отнекивалась, но Юра крепко брал в руки большую вздутую ногу, на пальцах которой, как кожура от семечек, прилипли горбатые желтые ногти. Их не могли победить обычные ножницы, поэтому приходилось пользоваться садовыми.

Щелкал металл. Ногти, как осколки луны, летели во все стороны, и Юра тихо убаюкивал забоявшегося человека:

— Ты не переживай. Это же кот. Ночное животное. Он скоро придет к тебе. Вот увидишь.

Бабушка успокоилась и даже задремала. Как только Юра закончил и затворил дверь в комнату, громыхнула крышка от погреба и на ней очутился большой мохнатый зверь. Вася смотрел на Юру с бесстыдством животного, не знающего, что оно домашнее.

— Сука ты, Вася, — сказал Юра.

Кот привычно проскользнул в комнату, где принялся грызть свои «камушки». Раздался возглас, похожий на «аллилуйя». Юра с облегчением лег и попытался заснуть. Через пару минут вновь раздался шаг. Теперь, правда, они не скребли по полу. В двери приоткрылась щелочка.

— Вася пришел, — раздался шепот.

— Да ну? — на Юру нашло неуместное веселье.

— Я его до утра закрою. Нечего шляться. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи.

Заснуть Юра не смог. Кот, набивший брюхо, начал проситься наружу. Он царапал дверь, мяукал, даже бодал ее мордой, и дверь дрожала,



ибо в Васеньке было почти восемь кило кошачьего хулиганства. Лидия Михайловна тяжело сопела, а крючок, удерживающий кота взаперти, звенел легко и чуть-чуть насмешливо. К пятому часу, когда коту еще не надоело скрестись, а крючку смеяться, Юра подумывал вырвать чертову дверь и навсегда запечатать кота в погреб. В этом желании его поддерживал молчаливый буфет.

Днем Юра поймал муху. Казалось, она жужжала в доме с начала сезона. Стоило только замереть, как насекомое присаживалось на загривок или локоть, выбирая то человеческое место, до которого труднее всего дотянуться. От мухи на коже оставалась невыясненная липкость. Несколько раз Юра сворачивал врученную ему для общего развития «Роман-газету» и отправлялся на охоту. Заканчивалась она безрезультатно.

Но на сей раз муха попалась и жалобно пищала в кулаке. Теперь она почему-то не вызывала желания раздавить ее. Из кулака просили, и Юра не мог отказать этой просьбе. Ладонь разжалась. Ошалелая муха пулей вылетела под потолок, чуть не ударилась об него и села перетирать лапки.

— Ты гди-е? — раздалось из зимней комнаты.

Юра не ответил.

— Ты гди-е?! —

В вопросе скрывалась беспомощность человека, который не может отыскать того, что ему нужно, и потому ощупывающего все голосом. Но это простое знание, перед которым надо так же просто смириться, не хотело усидеть в голове. Внимание цеплялось к этому «ты гди-е?», особенно едва слышимому комариному «и», которое зудело над ухом и от которого негде было спрятаться. «Ты гди-е?» означало тотальную беспомощность одного и такую же беспомощную попытку скрыться другого — трагедия была очевидна; вопроса не требовалось, а то, что вопрос все-таки был, раздражало больше всего.

— Я здесь, — устало отозвался Юра.

— Хорошо, — в комнате облегченно вздохнули.

Юра представил: что, если бы бабушку пришлось кормить с ложечки и обтирать губкой? Даже если так делать каждый день — а страшна не губка и не ложечка, а вот это «каждый день», звучащее будто марка дешевых продуктов, — Юра был готов исполнить свой родственный долг. Он бы даже воспринял это не как повинность, а, скорее, как чистосердечную заботу. Ведь она обязательна. Это не требование заплатить по кредиту, а неизъяснимый человеческий мотив, от века скрепляющий людей. Юра знал, что на это у него хватит сил. Но вот слушать зудящее «ты гди-е?» сил не было, и то, что разница между испытаниями была так очевидна и он не мог пройти слабейшее из них, повергало в уныние.

— Я к тебе иду. Можно?

— Можно, конечно! — отозвался Юра.

Он наблюдал за мухой.

Лидия Михайловна пребывала в добром здравии и после обеда даже отправилась на короткую прогулку по участку. Когда она вернулась, то долго чем-то стучала на крыльце. В дверь просунулась рука с какой-то пластмассовой дребеденью, судя по всему, найденной в огороде.

— Ты не знаешь, что это?



— Не-а.

Рука метнула снаряд, и тот противно заскакал по деревянному полу. Юра терпеливо поднял что-то вроде трубки и положил ее на буфет.

— Ну и зачем было кидать-то?

— Что кидать? — раздалось с крыльца.

— Палочку эту.

— Ну так пусть лежит!

Дыхание. Главное — дыхание. Раз, два, три. Юра чувствовал, что его переполнило почти до краев. Он боялся, что вовремя не сможет раскрывать рот и тогда его просто разорвет. Хотелось закричать, вырвать клоч волос и измочалить о стену кулаки, но что-то не давало этого сделать. Это «что-то» медленно убивало Юру.

— Ты есть не хочешь еще?

Со стоном, вразвалочку, Лидия Михайловна поднялась на крыльцо. Все ступеньки промолчали.

— Что будешь на ужин? — спросила бабушка, упав на стул.

— Да цветную капусту яйцом залью. Устроит? — Приступ потихоньку затухал.

— Есть рис, курица в морозильнике. Гречка есть. Можно курицу с гречкой...

— Если тебя устроит, могу цветную капусту яйцом залить, — громче повторил Юра.

— Суп с горбушей можно. Она в правом отделении буфета. Консервы, я имею в виду. Хочешь суп с горбушей?

— Тяжело.

Лидия Михайловна внимательно посмотрела на внука.

— Со мной тяжело? Такая уж у тебя бабушка! Старая!

Она подтрунивала. Юра тоже усмехнулся. Когда сошлись на капусте, говорить стало не о чем, и заскучавшая старушка спросила:

— У вас как, гулянка сегодня намечается?

— Какая гулянка? — не понял Юра.

— Сережа, Илья, Паша. Пойдешь сегодня гулять?

— Слушай, а тебе зачем об этом знать?

— Мне нужно знать, волноваться или нет.

Юра фыркнул:

— Ну ты скажешь тоже! Лучше ничего не знай и не волнуйся.

— Но я хочу! — Лидия Михайловна опять свела все к шутке. — Хочу все знать! Ты мне ничего не докладываешь.

— А должен?

— Я же твоя бабушка!

Муха отлепилась от потолка и полетела за солнцем. Юра хотел за ней.

— Мне никто ничего не рассказывает, — пожаловалась Лидия Михайловна, — я как в пустоте. Но я же еще не умерла! Я все еще живу. И все злятся, если я на это обстоятельство указываю. Но почему бы со мной не поговорить? Что, это так сложно?

Юра почувствовал, как весь дрожит. Он подскочил. Вслед за ним подскочил кот и старушечьи голубые глаза. В них не было обиды. В них было любопытство.



— А знаешь, почему все злятся? — тихо спросил Юра.

— Потому что я старая и глупая! — фыркнула бабушка.

На секунду почудилось, что вот сейчас-то он освободится. Что из его рта вот-вот вырвется крик или выпадет что-нибудь жесткое, сухое — то, от чего першило в горле. Но чего-то не хватало. Чего-то очень важного и в то же время неясного.

— Ты не видишь разницы между общением и подслушиванием, — Юра начал отповедь совсем не с того, — вот почему тебя на дачу со мной отправили. Чтобы родители от тебя отдохнули.

Юра произнес эту банальность тихо, спокойно, даже доброжелательно. Он не хотел обидеть. Он не понимал, как такое можно сделать, и не находил в себе сил топнуть, заорать — он вообще никогда не орал на бабушку, не обзывал ее бабылой или кем-нибудь в этом роде. Он просто произнес местоимение, превратившее живого человека в вещь, от которой другие, по-настоящему живые люди вдруг захотели отдохнуть, как отдыхают от вида старых обоев. Выпад показался Юре смертельным, но Лидия Михайловна его не поняла или не приняла к сведению. Она взяла со стола конфетку и стала разворачивать ее трясущимися руками. Фантик шуршал издевательски долго.

— Могли бы и потерпеть старуху. — Кудри обиженно дрогнули. — Мне кажется, я это заслужила. Я вас воспитала.

— Вот только шантажа не надо!

— Какого шантажа?

— Все, хватит! Я устал!

Скрипнул диван. Крыльцо — нет. Юра шел под ранетку, где собирался переждать гнев. И секунды достаточно, чтобы наделать глупостей! В нем кипит злость, но он не может ее выплеснуть. У него есть рот, но он не может кричать. Он не понимал, как донести то, что он тоже человек, у него тоже есть жизнь и не нужно влезать в его священные двадцать лет. В конце концов, когда Лидии Михайловне было двадцать, он же ее не учил! Дело было не в эгоизме, не в обиде и не в одиноком старческом существовании. Дело было в достоинстве. Ни одна болезнь не заставляет учить других. Ни одна, кроме бесстыдства.

Но неужели его родная бабушка бесстыдна? Ведь она так много знает и так много читала... А что, если Лидия Михайловна действительно не имеет стыда? Она может долго допытываться у него, куда он собрался и с кем будет гулять. Может без причины запереть Васю, не обращая внимания на его вопли, — так не поступают с Кыскиным, так поступают с вещью. Может забыть про свою гигиену, полагая, что это только ее дело. Она жалуется, что ее бросили, хотя от нее просто никто ничего не требует! Не требуют — потому что она этого не хочет.

Юра вспоминал пример за примером и смотрел на горох, густо оплетший подвязки. Горох наконец-то поспел и перестукивался сочными тугими стручками. Юра набрал пригоршню, и его разом отпустило. Нужно уметь прощать. Нужно быть терпеливым. В сущности, не произошло ничего страшного. Многих старики достают куда сильнее. Да к тому же с головой не дружат. А тут просто вопросы. Вот и все. Это в нем проблема. Это он, Юра, вспылчив. Вот он-то и должен перетерпеть. Раз не полу-

чается закричать, то нужно извиниться. Иначе он порвется от накопившейся злобы. Или эта злоба порвет кого-то еще.

Он посмотрел на небо. Там было хорошо.

Юра вернулся в дом с пригоршней гороха. Он аккуратно выложил его на стол. Горох все равно раскатился, подмяв скомканные обертки. Лидия Михайловна успела наестся конфет.

— Вот, горох поспел. Держи. И это, извини меня... Я не хотел тебя обидеть. Это я просто реагирую неправильно.

— И ты меня прости, заюшка! — Бабушка взяла в руки стручок. — Ну какая красота!

— Кушай на здоровье.

Лидия Михайловна, как всегда внимательно, посмотрела на Юру, затем на горох и, хорошо все обдумав, спросила:

— Это ты собрал?

— Ну а кто ж еще? — Юра плюхнулся на диван. Тот смолчал.

— А у нас был горох? — удивилась бабушка, задумчиво перебирая его пальцами.

— Да! — вздохнул Юра. — У нас был горох, я его сажал, и я его собрал.

— Че ты злишься? — И это «че» опять было обиженным, интеллигентским.

— Да ничего! Вопросы эти...

— А ты сам поел?

— В смысле? Так с утра же завтракали. Сейчас готовить буду.

— Гороха. Я имею в виду — гороха.

— Поел!

— С грядки поел? — уточнила бабушка.

Она смотрела на него круглившимися за стеклами очков глазами. Морщины, редкие волоски под губой. Рот что-то жевал. Жевал, готовясь выплюнуть новый вопрос.

Юра медленно поднялся. Диван застонал долго и протяжно, как будто с него содрали пластырь.

Лидия Михайловна с любопытством наблюдала за внуком. На него же смотрел буфет.

Распираемый сухой злобой, Юра шагнул на середину веранды, навис над старушкой, как нависают, чтобы ударить, — и снова не нашел нужных для крика слов. Всякая мысль и всякое движение вываливались и выкатывались из него, как горошины из стручка. Его колотило от ярости, не находившей выхода. Еще секунда — и взбесившиеся эритроциты разорвут сердце. Горло сдавил спазм. Почки заныли от скопившегося яда. Задыхаясь, Юра оперся на стол. Рука наткнулась на горох, сгребла его и сжала. Стручки не лопнули, сочась приятной холодной жижей, а звонко закрипели. Звук понравился: протяжный высокий скрип гороха, который трется о горох.

Юра еще сильнее сжал кулак — и резко поднес его к старушечьему уху.

Горох закрипел сочно, громко, для всех.

Игорь МУХАНОВ

**«...ВСЕ ТО, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ
БЕЗ НАЗВАНЬЯ»**

* * *

Белые водоросли — посмотри —
ладно растут из села:
затемно огненные пузыри
вспомнила в печке зола.

В старой овчине тепло на дворе.
Конь Мерседес подойдет,
спросит бензина — овса в серебре —
долго зубами поет.

Стайка усатых эстрадных сомов
не проплывет вдоль села.
У староверов обычай таков —
слушать, как плачет пила.

Как исполняют отеческий джаз
ржавые петли в сенах,
как попадает на солнце рассказ,
если слезою пропах.

* * *

Замельтешат муравьи по деревьям:
Божья им пища — листва!
Веком забытый говор деревни
я различаю едва.
Разве за кружкой, за горькой разлукой,
за удивленьем «ты — Смерть?»
двери откроются... Прежние звуки
мне бы запомнить успеть!

«Эй, Аграфена, неси-ка балакирь:
кума лечи молоком...»

Зовы любви, добродушия знаки
в воздухе тают пустом.
«Челяди царской — волчьей ораве —
нужен осиновый кол...»
Это деревня в новом составе
прежний играет футбол.

В воздухе мрежи висят, и оконцу
луч уловить не с руки.
Мечет рубанок сосновое солнце —
стружки пахучи, легки.
Жаждой томима, к началу обеда
ива стучится в окно.
У самовара — живая беседа...
Звуками небо полно.

* * *

И крик орла, и Лермонтова Терек,
ища иной итог существованья,
в трек превратились, в цифру, в новый терем
огромной голограммы мирозданья.
Тревожит ночь не золотая fuga
маэстро Иоганна Себастьяна,
а позывные клавишного стука
из окон, из соседнего бурьяна.

Я — трЗ, а ты — изображение
красивое, но как тебя любить мне?
Я ощущаю винное брожение
в подаренном мне яблоке наитья.
И ухожу в языческую Мекку
стихов — иной портал существованья,
где так светло и ближе человеку
все то, что существует без названья.

* * *

Так может только ребятня
рыбачить, голосом звеня,
на леску строгого вниманья
ловя севрюгу придыханья.

Она в длину — четыре года,
и хвост красив, как непогода,
и небеса ласкает взгляд,
в котором ангелы парят.

И человек — дорог скрещенье,
и сам себе и царь, и Бог,
и дорастет до воскресенья,
когда войдет севрюге в бок.

Рыбачит в небе ребятня,
и рыба-Пушкин им — родня.

* * *

Дождь раздул пузыри на отеческих лужах
и ушел в никуда — есть такие места на земле!
На полатях у облака дума лежит и не тужит,
и фотон испускает, и фыркает навеселе.
Послебанная всюду возня, закипание звука.
Сколько в этом любви, знают только дорога и рожь.
И шалит синева, запуская прозрачную руку
в полусонную речку, где плавают щука и ерш.

Я иду по отчизне, читая особые книжки:
медуницу и клевер в издание лугов и полей.
Я еще не рожден, я в утробе пространства — мальчишка,
что с утра мастерит из газеты воздушный свой змей.
Вот, прочел 100 дорог — на 101-й оставил закладку
(дочитаю потом, еще целая жизнь впереди!),
и щебечет стихами под майкой моею тетрадка,
и летят в никуда золотыми жуками дожди.

О, бабочки!

От полевой епархии века
целуются два синих лепестка,
в уключине работая одной,
узнав узду и узел золотой.

Как хорошо им в домике цветка!
Сто бабочек — и вот уже река,
сто лилий — и обеденный уют,
где детям в чашках небо подают.

Но вот, чересполосицей украшен,
несется шмель среди цветочных башен
заречной лады — луговой Европы,
где всем готовы вкусные сиропы,

и в небеса срываются, легки,
аншлаговые долгие хлопки...

О, бабочки!

Алексей СОЛОВЬЕВ

ПТИЧИЙ СПОРТ

Р а с с к а з

1.

Широкая, приземистая, будто огромный черный жук, «ауди» летела по шоссе, уверенно разрезая уже с утра нагретый июльский воздух. Музыка, звучавшая из колонок, пыталась разрезать Верин сплин, но с меньшим успехом. Вера напряженно смотрела вперед. Они сбавили скорость и свернули с федералки на узкую асфальтированную дорогу, петлявшую среди полей. Андрей внимательно смотрел вперед, держа руки на руле. Вера взглянула на мужа, на его сосредоточенное лицо, расстегнутый воротник темно-синей рубашки: сегодня на нем не было серебряной цепочки, которую он обыкновенно носил, — ее подарка на сорокапятилетие. «Креста на тебе нет, Андрюш!» — едва не сказала она мужу. Произнеси она это вслух, точно испытала бы что-то вроде мстительного удовольствия. Нет на тебе креста, Андрюша, и всё тут!

— А-а-айм нэ-э-эва гона дэ-э-энс эгейн, — подпела Вера Джорджу Майклу, но поймала себя на мысли, что звучит это совсем не так, как в девяносто первом году, когда она под «Careless Whisper» танцевала с тенью, и замолкла. Дальше Джордж Майкл продолжил один.

Дорога петляла среди лохматых полей, по краям которых пучками торчали кусты, падала и снова поднималась так высоко, что с вершин холмов открывался вид на многие километры. До трека, куда она вела, оставалось — при их скорости — около получаса езды. Андрей уверенно запускал «ауди» в повороты, на выходе утапливая педаль газа. Переднеприводная машина реагировала мгновенно и как стрела выходила из кривой. Потрясенные рокотом мотора, с обочин поднимались стайки воробьев и еще каких-то мелких птиц и, закладывая виражи у самого лобового стекла, уходили вверх, чудом избегая столкновения.

— Господи, у них как будто спорт такой: кто ближе пролетит! — сказала Вера. — Того и гляди разобьются о стекло.

— А по вечерам знаешь какие тут спортсмены! — воскликнул Андрей. — Совы! Жирные, слепые! Если столкнешься с такой, то и сам можешь улететь.

— А что ты тут делаешь по вечерам? — искоса взглянув на мужа, спросила Вера.

Андрей осекся, поняв, что сказал лишнее.

— Да по работе...

— Ну конечно. Да.

«Ни при чем здесь твоя работа, — подумала Вера. — Просто, Андрюша, креста на тебе нет». Эта мысль прочно засела в ее голове, хотя Вера и старалась не думать об этом. Уж слишком это серьезное обвинение — когда нет креста-то.

Дорога снова пошла вниз. Сквозь стекло Вера рассматривала заброшенную деревню, домов в семь, расположившуюся поодаль от трассы. Черные деревянные срубы, напоминавшие скелеты, зияли выставленными окнами, от каких-то домов остались только полуразобранные печи, кое-где из высокой травы торчал покосившийся частокол. От дороги в сторону деревни вела едва различимая колея — две ленты примятой травы. Лет пятнадцать назад, когда последние жители покидали эти места, отправляясь в мир иной или просто перебираясь ближе к городу, в заброшенную деревню пришли «хозяйственные» люди и стали брать все, что могло хоть мало-мальски пригодиться: хорошее бревно, кирпич, железо... «Бог мой, — подумала Вера, — на дворе 2015 год, мне уже сорок два, и кругом ничего нет».

— Немытая Россия? — разделил ее мысли Андрей, на секунду повернув голову в ее сторону.

— Здесь уже и немойтой нет, — ответила Вера.

В последнее время отношения не ладились: разговаривали мало, спорили и ссорились много, но что касалось кругозора, взглядов на жизнь — они были ягоды одного поля и часто, как сейчас, понимали друг друга еще не договорив. Может быть, это и спасало их брак до сих пор?

Вера вновь отругала себя за дурацкое настроение, овладевшее ею сегодня. В конце концов, они едут к сыну, который невесть сколько пропалал бог знает где, среди этих песков, трамплинов, трекков, мотоциклов, непонятных людей в шлемах и разноцветных костюмах из американских фильмов. И сейчас она едет к нему, настраивает себя на состояние «что бы такого хорошего сделать», чтобы потом выйти из машины с кислым лицом и сказать: «Здравствуй, сына! Это мама. Смотри, она ничуть не изменилась — все такая же замечательная стерва, как и была»?

— Слушай, Андрюш, — сказала она раздраженно, — хватит вилять!

— Вер, подшипник, — огрызнулся Андрей.

Они ехали по такому идеально ровному участку асфальта, какого практически не встретишь на дорогах областного значения. Андрея беспокоил гул откуда-то справа и спереди, появлявшийся на большой скорости. «Ступичный», — догадывался он и, чтобы проверить свою догадку, на секунду слегка поворачивал руль и тут же возвращал в исходное положение. При повороте руля гул усиливался, это было отчетливо слышно на гладком асфальте. Точно, ступичный.

— Подшипник, Вер, — повторил он. — Гудит, слышишь? Пора менять.

— Ничего не слышу, — буркнула Вера и снова отвернулась к окну. — У одного подшипник, у другого — шатун... И этот, как его... А-а-а. — Она безнадежно махнула рукой.



— Ну что ты все бурчишь? Какая муха тебя укусила?

Вера молчала.

Андрей взглянул на жену. Немытая Россия, да? «А никакой здесь нет России», — ответила она. И правда ведь — нет. Андрей думал о том, что их жизненные взгляды часто совпадали. Они понимали друг друга с полуслова. Этого не отнять. Может, именно это помогло сохранить их брак до сегодняшнего дня?

Но это не то, что было между ним и Крис, уж точно.

Подшипник гудит, вот это да. Передний ступичный справа — к гадалке не ходи.

А вообще, во всем виноват этот трактор. Этот японский чумоход мопед, YZ-250.

— Сто семьдесят рублей? За этого крокодила? — Андрей вспомнил, как удивился, когда Сашка приехал во двор на этом чуде — легком, окрашенном в синий и белый цвета мотоцикле, чем-то напоминающем аллигатора: то ли рельефной резиной, то ли стреловидным крылом, высоко висящим как хвост над задним колесом.

— «Ямаха»! — гордо ответил Сашка.

Андрей присел перед «крокодилом» на корточки.

— Сань, это что, мопед? Он же двухтактный! Как наш «Восхондер»*!

— Ну!

— Вот ты, сын, даешь! Тебе зачем такой? Взял бы у дедушки «Ригу» из гаража.

— Двухтактный — сила! — уверенно пояснил Сашка. — Пап, смотри: пятьдесят коней, на восьми тысячах гашетку полностью можно не крутить — рвет из-под себя. Есть такие же четырехтактники, так пока раскрутишь, дорога закончится. И за них еще плюс сотня рублей за такой же год, а если что сломается — сразу в сервис... А этот я сам руками весь переберу. Кольца, поршни...

— Вот, сын, тебе семнадцать, до двадцати трех будешь перебирать, — не согласился Андрей. — Я на такой технике сопляком гонял! Тут разве что пластмассы побольше.

Сашка обиженно смотрел на отца. Чуть ли не слезы в глазах стояли.

— Что ж ты свою «шестерку» не продашь и не купишь лучше? Можешь ведь, — сквозь зубы спросил он.

— Сейчас таких не делают.

— Таких тоже! — парировал сын.

— Хорошо, дело твое, — примирительно сказал Андрей. — Вообще, владей! С тебя институт.

— Во всем виновата эта чертова «ямаха», — вдруг произнесла Вера, как будто читала его мысли.

Услышав ее голос, Андрей отвлекся от воспоминаний.

— Я бы себе такой не купил.

* «Восхондер» — название российского мотоцикла «Восход» на сленге байкеров.

— Конечно. — Жена поглядела на него скептически. — Ты же не стал бы в сорок пять скакать по трамплинам. У тебя вон какой... комок нервов.

— Небольшой еще, — усмехнулся Андрей, положив руку на живот, — комок-то.

— Институт провален! — Веру все же прорвало. — Учится на какого-то лесника в долбаном лесомеханическом колледже! Два года в синяках, в песке, одежда вся изодрана, руки... Посмотри на его руки! И эти ваши поршни, кольца... что еще?.. Валь! Как так, Андрюша?! Я тебя хочу спросить: как так?!

— Я не знаю. Парень увлекся, наверное, Вер.

— Кому хорошо от его увлечения? Кому?!

— Что значит «хорошо»?!

— Я не знаю.

— И я. Ну, слушай, хотя бы наркотиков нет! Посмотри на некоторых его бывших одноклассников: прививку сделать некуда.

Вера молчала.

— Слушай, Вер, — решил Андрей, — я понимаю, у нас с тобой не лучшие времена сейчас... — Он посмотрел на ее реакцию. Вера хмуро глядела на дорогу. — Но давай хотя бы этот день проведем так, чтобы он видел: все хорошо. Отец и мать вместе, и... ну черт возьми, мы отчасти даже рады за него! Парень увлечен делом. Это спорт все-таки. Сейчас другие времена: мы такого не знали. Другие интересы. Я, возможно, не совсем доволен, ты совсем не довольна, но... — Андрей, не имея возможности развести руками, просто втянул голову в плечи, изображая бессилие. — Мы его как-то потеряли, Вер. Но никогда не поздно попробовать вернуть.

Вера продолжала молчать.

Триста тридцать пять раз клятый мотоцикл!

2.

До трека им пришлось ползти около километра по грунтовке. «Ауди» тяжело переваливалась через ухабы, время от времени шаркая брюхом. Андрей тихо матерился и вытирал пот со лба.

— Оставляю глушители на этой дороге!..

Грунтовка вильнула в небольшой сосновый перелесок и сузилась так, что двум машинам на ней бы разъехаться не удалось. Выглядывая в окно, Вера замечала на обочинах продукты жизнедеятельности цивилизации: пустые алюминиевые банки, смятые пачки из-под сигарет, ржавый велосипедный руль, торчащий из кустов как рога неизвестного науке механического зверя... Ей вспомнился «Пикник на обочине», и мысли о прозрачности человеческого счастья отвлекли ее от дороги.

Тем временем грунтовка вынырнула из перелеска и привела их на открытое пространство — поле, поросшее короткой и словно утопанной или укатанной травой. Здесь уже припарковалось около двух десятков автомобилей, среди которых были внедорожники, явно снаряженные для трофи-рейдов: на высокой шипастой резине, в разноцветных наклейках и с номерами на бортах.



Андрей припарковался в ближайшем ряду.

— Неужели прибыли?

Вера потянулась в кресле, разминая затекшую спину и ноги. Она откинула солнцезащитный козырек и проверила во встроенном зеркале свой макияж. Теперь, конечно, приходится краситься ярче, чем в молодости, но в целом все неплохо. Она осталась довольна и даже почувствовала, как отступает это необъяснимое желание кому-нибудь досадить.

— Вера, — повернулся к ней Андрей, — все будет в порядке?

— Конечно, дорогой, — с улыбкой сказала она и чмокнула его в щеку.

Место, где они припарковали машину, оказалось на краю огромной ямы — песчаного котлована глубиной в шесть-семь метров и диаметром никак не меньше пятидесяти. Скорее всего, это был заброшенный песчаный карьер, перекроенный бульдозерами под площадку для мотокросса. Сама гоночная трасса почти по всей протяженности была обозначена красно-белыми лентами ограждения. Ее конфигурация напомнила Андрею полотенцесушитель, одинаковые петли-повороты выводили к трамплинам, которых он насчитал шесть. Практически в самом центре котлована возвышалась огромная песчаная рампа в форме пирамиды со срезанной вершиной. Перед ней на разном расстоянии было установлено два особенно крутых трамплина в форме графика экспоненты, сваренных, как понял Андрей, из листового металла. С той стороны, где находились Вера и Андрей, в котлован вел пологий спуск.

— Идем! — Андрей взял Веру за руку и улыбнулся. — Надо найти Сашку. Обязательно нужно было надевать каблуки?

Вера улыбнулась в ответ. Несмотря на июльское чистое небо, здесь, на открытом пространстве, дул прохладный ветерок, и ей вдруг стало тепло от прикосновения мужа. И она даже забыла о том, что сегодня на этом человеке, прожившем рядом с ней больше двадцати лет, нет креста.

Спускаясь, они не переставали оглядывать новую и удивительную для них обстановку. На расстоянии шести-семи метров от стен котлована были установлены металлические прямоугольники из труб — ограждение для зрителей; кое-где пестрели немногочисленные рекламные баннеры фирм из мира авто- и мотоспорта. Всюду сутились люди: кто-то, как они, одет просто, «по гражданке», а кто-то — в разноцветных костюмах и бейсболках, с мотоциклетными шлемами в руках. На противоположной стороне была огорожена площадка для участников, заставленная мотоциклами и заполненная людьми в таких же ярких костюмах, оживленно общавшимися друг с другом. Там же находился навес, сколоченный из деревянных брусьев, стояли столы и стулья. Ветер трепал какие-то бумаги, разложенные на столах. «Штаб соревнований», — догадался Андрей.

— Нам туда, — потянул он Веру. — Сашка там.

Они пошли вдоль стены котлована, направляясь к штабу. Когда до навеса оставалось всего несколько метров, от группы мотоциклистов отделилась фигура в сине-белом костюме и двинулась им навстречу. Андрей узнал Сашку.

— Мама, папа, — Сашка подошел к ним, улыбаясь, но как-то осторожно, — привет.

Вера окинула взглядом сына, и смешанные чувства холодом отозвались внутри. Какой возмужавший, рослый (он был заметно выше отца), загорелый — совсем не тот бледный семнадцатилетний паренек, что въехал во двор больше двух лет назад на бело-голубом мотоцикле... Как он повзрослел! Но, господи, что это за наряд — потертые штаны с белыми и синими молниями, пыльная такая же бело-синяя куртка... Это все давно нужно выстирать! Разве так можно ходить? А ботинки! Бог знает что — всё в глине, в земле... Она заметила, что одна штанина внизу зашита прямо через край.

Сашка терпеливо выдержал изучающий взгляд матери, поправил мотоциклетные очки на светлой шевелюре.

— Не очень чистая работа, — усмехнулся он. — Я рад, что вы приехали. Сегодня будет весело!

Андрей протянул сыну руку.

— Как ты? Как Анята?

— Я нормально, — ответил Сашка. — Аня тоже. Ее не будет, сегодня в колледже экзамен. Да все в порядке. Мы по-прежнему в общежитии. Правда, теперь нам обещают дать семейную комнату, побольше.

— Когда у нее срок? — спросила Вера.

— В ноябре, где-то в начале ждем.

— Родит на революцию! — пошутил Андрей. — Такого же, как ты, революционера.

И тут же понял, что не стоило сразу накалять обстановку. Но Сашка вроде не обратил на его слова никакого внимания.

— Пойдемте! — Он увлек их за собой. — Я покажу вам, где лучше встать, чтобы все было видно. Сегодня ребята будут показывать красивые вещи. Отбор на чемпионат России все-таки, официальное мероприятие.

— Ты каким номером выступаешь, Саша? — спросила Вера.

— Я иду восьмым. Всего девятнадцать участников, в отбор попадут только шестеро. Но до начала еще полчаса, мы пока погоняем, погреем технику... Вставайте вот здесь: отсюда все хорошо видно.

— А может, наверх сесть, на бережок? — Андрей показал на покаты́й откос, поросший травой.

— Также неплохо, — согласился Сашка.

Они взобрались наверх, на край котлована. Андрей сходил в машину за покрывалом, на всякий случай лежавшим в багажнике, расстелил его на короткой траве. Вера пристально наблюдала за его действиями, но ничего не говорила. Они уселись на берегу. Отсюда, действительно, открывался хороший обзор, и Андрей заметил, что большинство зрителей следуют их примеру.

3.

Сашка и правда был рад, что они приехали. Необычное дело: он увидел родителей вместе и они не рычали друг на друга и не ссорились, как это часто бывало. Отец вел маму за руку. Может быть, подумал Сашка, после тех двух лет, что он не жил дома, они наконец найдут общий язык?



Они все, трое. В конце концов, когда-то ведь родители должны понять, что он уже не ребенок — двадцать лет все-таки, — у него своя жизнь, свои увлечения. И игрушки уже совсем другие, взрослые: вот, смотри-те, «ямаха» — это вам не пластиковая машинка из «киндера», а двести пятьдесят килограммов массы! Металл, алюминий, настоящая хорошая резина, мощный мотор с жидкостным охлаждением. Сила!

Нарезая круги на разогреве, Сашка мыслями вернулся к будущей жене. Анюта ждет малыша. Может быть, еще и это заставило отца и мать приехать сегодня. Все-таки люди в возрасте сентиментальны. Мечтают с внуком нянчиться старички. Старички-боровички...

Какое-то радостное чувство прочно угнездилося внутри, и как-то все было хорошо. Хорошее настроение обязательно должно помочь сегодня! Выкрутив стабилизатор руля на «трешку», он разогнал мотоцикл для нескольких прыжков на горках и вновь испытал то самое ощущение: «яма» сидела между ног как вклеенная. Единение человека и железного зверя, без чего никак нельзя идти на трамплин.

Завыли сирены, призывающие зрителей покинуть рабочую часть трассы, а участников соревнований — собраться в установленном месте и приготовиться к выступлению. Сашка развернул мотоцикл и покатил к площадке возле штаба.

— Отборочный этап чемпионата России по мотофристайлу объявляется открытым! — раздался над котлованом голос ведущего, многократно усиленный акустическими системами.

Стоя в шеренге среди других мотоциклистов, Сашка не сомневался, что сегодня он будет первым. То, что делал над рампой он, могли повторить один-два человека из всей немногочисленной когорты мотофристайлеров области, да и то не блестяще. Конечно, ребята сделают и «найн-о-клок», и «морскую звезду», а кое-кто даже выполнит «скорпиона». Сашка оглядел стоящих рядом: у кого-то снят пластик над задним крылом для удобства захвата, кто-то наверняка сыграет на публику и выдаст «капитана Моргана»* ... Но у него на сегодня есть кое-что поинтереснее, чем просто базовые прыжки с пляской у байка.

По правилам соревнований каждому спортсмену давалась одна минута на выполнение задуманной программы, включая разгон по специально укатанному коридору к длинному трамплину. В базе обязательно требовалось выполнить прыжок с длинного трамплина, содержащий какой-либо трюк, с последующим приземлением на рампу. Если оставалось время, фристайлер мог зайти еще на один круг вокруг рампы и раскатиться на короткий трамплин. Но Сашка знал, что желающие вряд ли найдутся: крутизна короткого трамплина подразумевала выход минимум на «бэкфлип» — сальто назад вместе с мотоциклом. Для участников сегодняшних соревнований это было еще слишком сложно. Однако короткий трамплин все-таки поставили: Сашка подошел к организаторам соревнований и попросил.

* «Найн-о-клок», «морская звезда», «скорпион», «капитан Морган» — названия трюков в мотофристайле. Также далее: «ничто», «фендер-грэб», «бэкфлип», «андерфлип».

События разворачивались так, как он и предполагал. Его соперники шли только на длинный трамплин, по базовой программе, хотя, надо сказать, отрабатывали ее на все сто. Миша Светлов из Костромы вышел на «ничто» — трюк, когда райдер в прыжке полностью отпускает мотоцикл, некоторое время паря над ним в воздухе. Другой парень, из Владимира, — его имя Сашка не запомнил — выполнил «морскую звезду» и умудрился ровно и чисто приземлиться. Пара человек приземлились не совсем удачно после обычных «фендер-грэбов», но ничего серьезного — все ушли на своих ногах. По Сашкиному мнению, все это было лишь гимнастикой с мотоциклом в воздухе, не имеющей отношения к мотофристайлу, прославленному трюками Тома Паже, Клинтона Мура или Хавьера Вильегаса. Однако публика восторженно встречала самые простые фигуры, выполненные в воздухе. Раздавались взрывы аплодисментов, свист и крики. Какому мужчине не близок мотоцикл — железный конь! И какая девушка не мечтает промчатся на байке по городу с развевающимися на ветру волосами, под рев мотора, крепко обняв своего личного мотогонщика!

Когда стихли очередные аплодисменты, Сашка услышал, как ведущий соревнований называет его имя:

— Ал-л-лександр-р-р Самсонов! Из Вологды!

Ну, всё! Теперь его очередь.

«Лей керосин, “Кейхен”*, не подведи!» — подумал Сашка, проверил стабилизатор — точно, стоит на «семерке», в самом тяжелом положении руля, — и ударил ногой по кикстартеру.

4.

Это было нечто невероятное и завораживающее! Андрей никогда в жизни не подумал бы, что соревнования мотоциклистов-фристайлеров, которые не упоминают в газетах и лишь раз в год показывают на телеэкране, о которых сам черт ничего не знает, где-то в российской глубинке могут собрать столько восторженных зрителей. К началу основной части соревнований подтянулось не менее двухсот человек. Берега котлована были сплошь усеяны людьми. Кто-то размахивал триколором, кто-то дудел в дудки, и этот ажиотаж набирал и набирал обороты.

Андрей, зараженный общим воодушевлением, поглядывал на жену. Вера поначалу сидела напряженная и, наблюдая за происходящим на трекке, то и дело хватала мужа за рукав. Однако уже к третьему или четвертому участнику, филигранно исполнявшему акробатические номера в воздухе, она успокоилась и даже иногда вскрикивала от восхищения, любуясь трюками.

— Unbelievable!** — крикнул ей Андрей, припомнив времена, когда он увлекался просмотром поединков боксеров-профессионалов. (Американские комментаторы выкрикивали это слово при каждой успешной серии ударов.) — Ведь что творят, черти!

* «Кейхен» (или «Кейхин») — «Keihin», марка карбюратора.

** Невероятно! (англ.)



Он чувствовал себя так, словно ему снова двадцать пять. Словно не было этой многолетней маетной, вытягивающей нервы работы «руководителя среднего звена», суть которой состояла в ежедневной безысходной борьбе с ветряными мельницами. Словно не было затяжной «холодной войны» с, как ему казалось, равнодушной к нему женой, не было Кристины и ста двенадцати выходных каждый год, большинство которых заканчивалось батареей пустых бутылок из-под алкоголя на кухне. Не было разбитой любимой машины, хождения по мукам при сборе документов на ее восстановление, судов, адвокатов, убитого времени, бесполезно потраченных денег... Здесь, наблюдая за действием, где фальшь невозможна, а есть только жизнь и смерть, за шоу на лезвии ножа, заставляющим мозг вновь впрыскивать адреналин в загустевшую кровь, он забыл все, что делает молодого человека сначала мужчиной средних лет, а затем и просто старым.

И тут над котлованом разлетелось имя их сына.

— Сашка! — тихо ахнула Вера.

Сине-белая молния — человека визуально не отделить от мотоцикла, настолько они слились, — вылетела на трек и стала разгоняться по укатанному коридору на трамплин под рев двухтактного мотора. «Ямаха» и в самом деле рвала из-под себя, моментально выходя на максимальные обороты. Андрей тоже отметил это, сравнив с предыдущими четырехтактниками, которые разгонялись более вальяжно и рычали более примирительным тоном. Затаив дыхание, он следил, как Сашка взлетел на трамплин — и почти на вершине прыжка, взяв мотоцикл на себя, как в замедленной съемке сделал сальто назад. Зрители ахнули. Это был «бэкфлип». И первый участник соревнований, который его выполнил.

Андрей почувствовал, как рука жены вцепилась в его руку, и едва ли не собственным телом ощутил работу амортизаторов во время приземления человека и машины. Все было выполнено идеально. Однако и время еще оставалось. Сашка развернул мотоцикл и, наполнив котлован ревом мотора, резко зашел на короткий трамплин. Это был «андерфлип» — сальто назад с одновременным поворотом мотоцикла в горизонтальной плоскости. Сашка приземлился — хлопнули амортизаторы — и погнал «ямаху» в сторону стоянки для участников. Программа была выполнена на пять с плюсом.

— Молодец, — только и смогла выдохнуть Вера. — Умница!

Она с трудом преодолевала желание зажмуриться, пока Сашка финтил в воздухе вместе с мотоциклом, а закрыв глаза, точно увидела бы вместо него тех самых пичуг, пролетающих в сантиметрах от несущейся на огромной скорости машины и уходящих высоко вверх, в небо... Птичий спорт.

Зрители неистово аплодировали. Все произошло так быстро и выглядело настолько невероятным, словно фокусник хлопнул в ладоши — и все присутствующие вдруг остались без часов.

5.

Больше они не смогли ничего смотреть. У Веры дрожали руки, и она заметила непривычную бледность на лице мужа. То, что сделал Сашка, казалось ей фантастическим: что-то подобное она видела давным-давно в цирке, но ведь там узаконенное место для чудес. А здесь, за тридевять земель от дома, среди поля и леса, над нагребенной бульдозером кучей песка, молодой человек двадцати лет вертится в воздухе с мотоциклом, как котенок с клубком ниток...

— Я хочу пить, — сказала Вера.

Они встали и направились к машине, но по пути заметили, что к ним идет Саша в сопровождении молодого человека в яркой бейсболке и с длинными волосами до плеч. Сын был совершенно спокоен.

— Алексей Калашников. Самый лучший райдер России, — представил Саша своего спутника. — Мои родители.

— Андрей Сергеевич, — протянул руку Андрей.

— Вера, — сказала Вера. — Можно просто Вера.

— Отлично, — сказал Калашников. — Я уверен, вы видели, как выступил ваш сын.

— Конечно! — воскликнула Вера.

— У парня талант, — уверенно произнес Калашников. — Так что советую вам от души: поддержите его! Он серьезно относится к делу. Зарывается, правда, иногда. — Он дружески хлопнул Сашу по плечу. — Но тоже чаще по делу. Если у вас нет времени дожидаться результатов, можете возвращаться домой. Я вам сразу говорю: победитель и так ясен — вот он, здесь. Вопрос только в остальных пяти местах отборки. — Он засмеялся и повернулся к Саше: — Ладно, Саш, мне нужно отойти, а тебе, я уверен, — пообщаться с родителями.

— Ну как? — просто спросил Сашка, когда Калашников удалился.

— Я не смогу видеть это постоянно! — воскликнула Вера. — Это, может быть, и здорово, но у меня нервы не выдержат.

— Мам, ну что ты! — горячо возразил Сашка. — Для меня это уже просто, поверь. Я почти три года в этом...

— То есть ты хочешь сказать, что, когда жил с нами, уже занимался этой... — Вера замялась, подбирая слово. — Этими гонками? И мы ничего не знали?

— Ну да. Вы же меня никогда особо не спрашивали. Наверное, думали, что я гоняю по дворам, ворон пугаю.

Вера только бессильно выдохнула.

— Та же «ямаха»? — спросил Андрей.

— Уже почти не та. Много поменял и переделал. Двухтактник — не так дорого в обслуживании.

— Недешевое хобби.

— Ну как... — Сашка пожал плечами. — Все равно спонсоры помогают. — Он провел рукой по куртке в цветных шильдиках и наклейках. — Много окупается за счет рекламы. Ребята, кто в гонках, всегда помогают друг другу. И я сам неплохо подрабатываю в автосервисе.





— Ступичный мне поменяешь? — пошутил Андрей.

— Без проблем, — улыбнулся Сашка. — Все та же «авдотья»?

— Все та же, — кивнул Андрей. — Старая, но надежная.

— Саш... — перебила их Вера. Она сжимала руки у груди и заметно нервничала. — Может быть, вы с Анютой все-таки переедете к нам?

Сашка разом похолодел и переменялся в лице.

— Нет, мам. Извини, нет. У меня теперь своя жизнь. Не обижайся, но нет.

На глаза Веры тут же навернулись слезы.

— Но ты знаешь... — продолжил Сашка. Под не закончившимся еще действием адреналина ему захотелось выпалить все то, о чем он долго думал, но что просто так не скажешь. — Если откровенно, я рад, действительно рад, что впервые за три последних года у нас что-то начинает получаться. Сегодня, наверное, один из лучших дней в моей жизни! Я отлично выступил, вы были со мной и всё видели. Это не игрушки, мам, пап, это для меня, может быть, занятие навсегда! Я вырос, родители. Я скоро сам стану отцом.

«Боже, какой же ты еще маленький! — думала Вера, глядя на сына, на то, с каким энтузиазмом и живостью он все это говорит. — Совсем ребенок! И какие взрослые заботы уже ложатся на твои плечи...» Она чувствовала, что слезы уже нависли на ресницах и сейчас одна из них вот-вот сорвется вниз по щеке.

— И знаете что? — добавил Сашка. Не будь сегодняшних безупречно исполненных «бэкфлипов», разогревших и разогнавших кровь, вряд ли он сказал бы им такие слова: — Я скучал по вам.

Слезинка все-таки сорвалась и покатилась к уголку дрожащих Вериных губ. Андрей же поспешно отвернулся, чтобы его не выдал дернувшийся подбородок.

6.

Победителей соревнований и тех, кто прошел отбор, начали объявлять в начале четвертого часа. Как и ожидалось, Сашка занял первое место. По сумме баллов, набранных за выполнение трюков, никто не смог составить ему конкуренцию.

— Выступление Александра Самсонова — серьезная заявка на призовое место на чемпионате России по мотокроссу! — Ведущий соревнований не удержался и выпалил этот комплимент на всю площадку: он, как и остальные, еще был под впечатлением от увиденного. — Организаторы соревнований просят победителя на круг почета!

Публика взорвалась аплодисментами, когда Сашка на сине-белой молнии рванул по арене и, взрыв песок задним колесом, вылетел на длинный трамплин.

«Бэкфлип!»! Чистое и выверенное вращение, словно монетка, подброшенная опытной рукой.

Выход с пика амплитуды. Приземление! Зрители ахнули и приготовились аплодировать. Но у самой земли руль «молнии» зачем-то повернулся вбок, и мотоцикл колом воткнулся в песок ramпы. Сашка грудью упал на него и тут же тяжелым мешком свалился на землю.

Над ареной повисла мертвая тишина. Только глухой удар шлема об укатанный песок да холостой рокот мотора отлетевшей в сторону «ямахи». Безвольные ноги лежащего на животе человека, руки вытянуты по швам — Андрей уже видел такое, когда в боксерском поединке мощный удар приходился противнику «в каемочку» — точно в челюсть.

Он медленно повернулся и посмотрел на жену. Вера стояла подняв руки, глядела сквозь него стеклянными глазами и ничего не могла сделать.

7.

Он ободрал и бампер, и днище «авдотьи» на этой чертовой грунтовке. Сашку везли на «буханке», Андрей следом переваливался по ухабам и ямам, стараясь не отстать от машины скорой помощи.

Анюта приехала минут через пятнадцать после того, как они вошли в больницу. Влетела в приемный покой, растрепанная, с животом и с неммым отчаяньем во взгляде. Вера с ходу обняла ее и прижала к себе.

— Все будет хорошо, Аня! Все будет хорошо...

И они обе зарыдали почти в голос.

...Андрей стоял в полутемном коридоре хирургии, блуждая взглядом по веренице длинных люминесцентных ламп на потолке. Горит. Не горит. А здесь две не горят... Вереница заканчивалась там, у дверей операционной, где на длинном холодном столе лежал Сашка и доктора склонялись над ним, пытаясь удержать его в этом мире.

Вера и Анюта теперь сидели рядом на деревянной скамейке, прижавшись друг к другу, как птенцы.

«Птичий спорт», — подумал вдруг Андрей, и снова в голове возник образ сына, лежащего на песке, когда они подбежали к нему в котловане. Он лежал на животе и хрипел, как нарыдавшийся ребенок. «Врача... Где врач?... Скорее...» — пронеслось среди людей.

Наш общий птичий спорт.

Горит. Не горит. А вон там обе не горят...

Двери операционной распахнулись. Вера и Анюта разом встали — будто бы в коридор вышел генерал армии — навстречу серьезному и усталому хирургу в светло-зеленом халате.

— Жизнь вне опасности, — негромко и буднично сказал он. — Мы удалили осколки ребра из правого легкого. Операция прошла успешно. Теперь потребуется довольно долгое время на восстановление, а затем... Ну, я думаю, вы с этим справитесь.

— Мы справимся, — так же тихо отозвался Андрей и в немом крике благодарности обнял Веру и Анюту.

Анатолий БИМАЕВ

ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО ПРОФЕССОРА ПЕТРОВА

Р а с с к а з

Дверь открыла темнокожая девушка.

— А где Катя? — спросил он.

— Она занята, — ответила негритянка, слегка коверкая русскую речь. — Проходите.

— Простите, но мне нужна Катя.

— Проходите, — повторила девушка, скрываясь в недрах квартиры.

«Вот так номер», — подумал Геннадий Алексеевич Петров, закрывая за собой дверь. Человеком он был культурным — двадцать лет преподавал в институте лингвистику, — но свои права всегда защищал с педантичной напористостью. Где нужно, мог накричать, а то и обозвать бранным словом. В общем, в обиду себя не давал, особенно тем, кто был ниже его по социальному положению. Подобные люди, считал он, коль скоро они ничего не добились в жизни, требуют к себе наиболее строгого отношения. Большая часть их — невежды и должны знать свое место, иначе образованному человеку будут кругом притеснения.

Однако сейчас, хотя проститутки были в общественной иерархии Геннадия Алексеевича существами самыми низшими и осуждаемыми, а нынешний случай ущемления его прав — вопиющим, он промолчал. Говоря напрямую, профессор крайне стеснялся того, что оказался в борделе. Что может быть нелепее ситуации, когда человек идет в дом терпимости, понимая, что узнай об этом его коллеги по кафедре или, упаси боже, жена, и он будет признан безнравственным человеком и, как всякий такой человек, больше не сможет войти в приличное общество, — и все же, перевозмогая душевные муки, делает это, платя падшим женщинам деньги за ласку?

Геннадий Алексеевич стыдился своего поведения и потому лишь шамкнул носом, переступая порог борделя. Молча раздевшись, он покорно прошел в спальную комнату, дверь куда заблаговременно отворила перед ним негритянка.



Спальня была небольшой. Почти всю ее площадь занимала кровать — двуспальная, с цветочками на покрывале — и тумбочка. Здесь было уютно и чисто, но как-то неловко.

Девушки заставляли себя ждать, совещаясь на кухне, и Геннадий Алексеевич не знал, что ему делать. То ли сразу раздеться, то ли пока подождать. Катю, чью анкету он с таким тщанием выбрал в Интернете, перевернувшись с десятков специализированных сайтов, явно не будет, а он настроился именно на нее. Казалось, у него даже возникла некая духовная связь с этой девушкой, такими добрыми были ее глаза на фотографии, так ласково смотрела она на него с экрана компьютера. И вот теперь ему нужно было привыкать к новой, совершенно незнакомой девушке, с неизвестно какими глазами.

Встав у окна с огромным, загораживающим весь вид на улицу фикусом, он решил, что должен уйти, если ему не приведут Катю. Он подумал, что нельзя идти на поводу у проституток, что раз он платит деньги, то ему обязаны предоставить надлежащий товар — тот, который он предпочел сам, а не который ему спихивают за ненадобностью. Ничего не поделаешь, в крови Геннадия Алексеевича была изрядная доля еврейской практичности, и сейчас она взяла в руки вожжи, отеснив на второй план татарина и поляка, также прописанных небрежной рукой Амура в запутанных генах профессора.

Наконец, когда Геннадий Алексеевич уже намеревался откланяться и даже приготовил прощальную речь, в которой собирался высказать все, что должен был сказать в самом начале, в спальне появились три девушки. Две светленькие, с испитыми лицами, хмурые и некрасивые, и та темнокожая, что открыла дверь.

— А где Катя? — повторил свой вопрос Геннадий Алексеевич.

— Выбирайте любую. Их как раз зовут Катями, — ответила старшая, светленькая. — Тебя как зовут? — спросила она негритянку.

— Катя.

— Вот видите. Всё как хотели.

— Но позвольте, я ехал к другой Кате, русской! А это черт знает кто.

Вы мошенники.

— Надо же! А вы где-то встречали святых?

— Безобразие. Я напишу администрации сайта, чтобы вас заблокировали.

— Пишите, — пожала плечами блондинка.

— Мошенники, — повторил в бессильном гневе профессор.

— Послушайте, либо оставайтесь и выбирайте одну из этих двух девушек, либо уходите. Нам некогда выяснять отношения. Неужели вы действительно думали, что за эти копейки получите первоклассную девушку?

Геннадий Алексеевич открыл было рот, чтобы высказаться и по этому поводу, но смолчал. На сей раз причиной была не неловкость. Аргумент денег подействовал на него. И вправду, стоимость Катю была более чем символической для Москвы с ее дороговизной. Он решил внимательно осмотреть девушек.



О светленькой, разумеется, не могло быть и речи, уж больно та была непривлекательной, а вот темнокожая... «А она ничего», — подумал профессор Петров. Невысокая, стройная, в чудовищно пошлом, зато откровенном купальнике — она смогла пробудить в Геннадии Алексеевиче угасший было огонь желанья. «Когда еще, — продолжал размышлять он, — мне представится шанс побыть наедине с негритянкой?»

Он подумал именно так — «побыть наедине», потому что даже в мыслях своих никогда не допускал прямоты в известных вопросах, камуфлируя все зоологическое в отношениях между мужчиной и женщиной нейтральными фразами. Он ни разу в жизни не «занимался сексом» даже с женой, а по-спартански с ней «ложился спать». В общем, Геннадия Алексеевичу захотелось экзотики. К тому же искать сейчас другой бордель было поздно. Завтра с утра он должен был присутствовать на научной конференции, ради которой и приехал в командировку в Москву из далекого Екатеринбурга.

Помявшись с секунду, он показал на темнокожую девушку:

— Она.

— Вот и отлично, — ответила старшая.

Все три девушки тут же куда-то исчезли, и Геннадия Алексеевичу снова стало неловко. Он никак не мог решить, раздеваться ему или еще подождать. К счастью, в одиночестве пребывал он недолго. Вскоре в комнату вошла негритянка. В руках у нее была тряпичная косметичка.

— В душ пойдете? — произнесла девушка, не поднимая глаз от косметички.

— Пожалуй, нет. — Профессор не желал терять время зря.

Через минуту он уже лежал на кровати, а Катя сидела подле, поджав ноги. Ее черная кожа светилась матовым блеском, отражая тусклый свет окна. Профессор ждал. Его возбужденная плоть настойчиво просила любви.

И негритянка дала ему эту любовь, приведя Геннадия Алексеевича в блаженный восторг. Боже, как давно у него не было женщины! Разумеется, ночи, когда он «ложился спать» с женой, не считались. Состарившаяся и располневшая, она давно потеряла для него привлекательность; спать с ней было горькой повинностью, которую он отработывал как крепостной — неохотно и спустя рукава.

Сейчас же все было иначе. С этой молодой и стройной африканской девчонкой профессор Петров почувствовал себя вновь молодым. Распаленный желанием, он представлял всевозможные мерзости. Он воображал себя американским рабовладельцем, который насилует свою самую гордую и неприступную из невольниц. Эти грязные и так не вязавшиеся с его тонким, одухотворенным множеством прочитанных книг внутренним миром фантазии разжигали профессора сильнее умелых ласк проститутки. В конце концов он осмелел до такой степени, что стал вытворять поистине непристойные вещи. Ни один проктолог в мире не позволил бы себе проделать с пациентом подобные вольности, какие совершал над проституткой профессор. Опыренный страстью, он не отдавал отчета в



своих действиях, становившихся все разнузданней еще и оттого, что негритянка принимала их с отстраненной покорностью, никак не реагируя и ничему не препятствуя. Только иногда, когда Геннадий Алексеевич делал что-нибудь особенно грубое и неприятное, она легонько брыкалась, давая понять, что он переступил грань дозволенного.

Наконец, хрипло вскрикнув, профессор откинулся в изнеможении на кровати.

— Спасибо, — нежно сказал он девушке, отдышавшись.

— Не за что, — грустно ответила та.

Теперь, когда все закончилось, Геннадий Алексеевич проникся неподдельным участием к негритянке. Он был благодарен ей за то, что она для него сделала, пусть даже сделала это за деньги. Он внимательно посмотрел на нее. Девушка сидела, поджав ноги, и покорно гладила его руками по бедрам. В ее глазах стояли слезы.

— С тобой все в порядке? — встревожился он.

— Да, — ответила девушка.

— Ты можешь мне все рассказать. Тебе нечего опасаться!

— Нет, все в порядке.

— Тебя удерживают здесь против воли?

Негритянка молчала, потупив глаза.

— Скажи! Я позову помощь.

Девушка колебалась. Наконец она тихо сказала:

— Да.

«Бедняжка! — подумал профессор. — Все это время она была со мной против желания. Какой ужас. Это ведь, по сути, изнасилование». Вскочив с постели, Геннадий Алексеевич схватил штаны с тумбочки и принялся спешно их надевать, намереваясь немедленно начать действовать.

— Одевайся. Ты пойдешь со мной в посольство.

— Тише, прошу, — зашептала Катя, прикрывая ему рот ладонью. — Нас могут услышать. Лучше сначала вам идти в посольство один.

— Один? Чтобы ты продолжала здесь ублажать всякий скот! Нет, об этом не может быть речи. Я выведу тебя отсюда немедленно, и никто мне не помешает.

— Пожалуйста... — Негритянка заплакала.

— Одевайся! — чуть ли не кричал Геннадий Алексеевич.

— Идти в посольство один, — настаивала девушка.

Как нарочно, за дверью послышался скрип половиц. Негритянка испуганно обернулась. Геннадий Алексеевич тоже покосился в сторону скрипа. Удивительно, но его решимость тут же остыла, словно устыдившись свидетелей. «Пожалуй, девчонка права, — рассудил он. — Зачем мне лишние неприятности? Скорее всего, они не осмелятся ничего сделать уважаемому человеку, и все-таки лучше не рисковать. Не хватало еще влипнуть в историю».

— Хорошо, я пойду в посольство один. Из какой ты страны?

— Нигерия.



— Сегодня же я вызволю тебя из этой квартиры.

— Я хочу домой. Пожалуйста, помогите.

Слезы хлынули из глаз девушки настоящим ручьем, будто до этого их держала плотина. Она не хотела отпускать Геннадия Алексеевича, обхватив его руками за шею.

— Пожалуйста, помогите! Домой, домой.

С трудом успокоив девушку и записав на сигаретной пачке ее труднопроизносимую фамилию, профессор вышел из спальни. Он изо всех сил старался делать вид, что ничего не случилось, хотя его сердце щемило от боли и чувства собственной страшной вины. Никогда в жизни он не чувствовал себя настолько мерзко. Подумать только, через что прошла эта бедняжка! Вероятно, ее били, запугивали, прежде чем она согласилась работать на панели. И это в двадцать первом столетии, в самом центре Москвы, недалеко от Белорусского вокзала!

Он улыбался все время, пока одевался в прихожей. Провожать его вышли все обитатели страшной квартиры. Негритянка, две светленькие девушки и незнакомая ему брюнетка: оказывается, была и брюнетка, которую, видимо, приберегали для более состоятельной клиентуры. Профессор улыбался им всем, клятвенно обещая посетить их в следующий приезд в столицу.

— Что с тобой, девочка? — спросил он Катю, чмокнув ее на прощание в щечку.

Уж больно несчастной та выглядела.

— Не обращайтесь внимания, — ответила старшая. — Скучает по родине. Сами должны понимать. Ну ничего, вот заработает немного денег и поедет к родным.

— Да, понимаю, — кивал профессор, взявшись за ручку двери.

Оказавшись на улице, он не откладывая направился в посольство Нигерии. Любое промедление, как ему представлялось, было бы соучастием в этом гнуснейшем из преступлений. Вполне вероятно, лишь за ним захлопнулась дверь злополучной квартиры, как Катю заставили обслуживать нового посетителя. А сколько еще предстоит ей вытерпеть унижений, прежде чем сдвинется с места громоздкое колесо государственной бюрократии и девушка будет вызволена на свободу! Может быть, пройдет не один день, может быть, неделя. Нет, он собственноручно приведет посла по нужному адресу, если тот будет упрямым.

«Да, я сделаю это, — подбадривал себя профессор Петров, идя скорым шагом по 1-й Тверской-Ямской, — сделаю, если потребуется. А все-таки — требуется ли?» — вдруг мелькнула у него в голове трусливая мысль. Ведь идти в посольство лично по столь щекотливому делу означало вручить собственную судьбу первому встречному человеку, возможно, не имеющему ни малейшего представления о чести. Это весьма опрометчивый поступок, который при пристальном рассмотрении стал казаться ему ненужным и даже глупым.

Геннадий Алексеевич закурил, перейдя на прогулочный шаг. Москва загоралась вечерней иллюминацией. Был один из тех вечеров, когда

особенно хорошо бродить по парку Горького и ВДНХ. Теплый весенний вечер, в который даже запертые в глухих пробках люди кажутся не более чем туристами, мирно любующимися видом центра столицы. Постепенно ход мыслей профессора начал меняться, поддаваясь окружающему настроению.

«Не лучше ли написать анонимку? — размышлял он. — Ведь должно же посольство рассматривать подобные письма, раз речь идет о спасении человеческой жизни?» Задав себе этот вопрос, он без колебаний ответил на него положительно. У него созрел новый план.

«В отель! — сказал себе Геннадий Алексеевич. — Написать в посольство я могу и оттуда. Обстоятельное, умное письмо, внушающее доверие стоящей за его строками интеллигентной, образованной личностью, которое мне непременно удастся сочинить в спокойной обстановке гостиничного номера». В голове Геннадия Алексеевича уже начали оформляться некоторые наметки будущего обращения. Он мысленно шлифовал их, предложение за предложением, доводя формулировки до совершенства. У него была прекрасная память, позволявшая сохранить каждый речевой оборот, каждый эпитет, каждую метафору и возникавший в связи с этим тонкий подтекст анонимки, без которого было нельзя обойтись порядочному человеку, описывающему такое мерзостное явление, как проституция.

Но через час, поднявшись в номер, профессор обнаружил, что уже поздно и что он смертельно устал после трудного дня перелета. Только подумать, как быстро идет время в Москве! Завтра ему предстоял ответственный день, и нужно было как следует подготовиться: перечитать доклад к конференции, погладить с дороги костюм и рубашку, выспаться наконец. Заниматься сейчас анонимкой — значит жертвовать своей будущностью. Не слишком ли большая плата за доброту?

«И если б вся проблема заключалась только в написании самого текста, — рассуждал Геннадий Алексеевич. — Ведь, чтобы отправить письмо, необходимо создать новый аккаунт под вымышленным именем. А это займет уйму времени, которого у меня нет». Для профессора, недавно с блеском защитившего докторскую диссертацию, одно название которой для девяноста девяти процентов людей показалось бы древнеегипетской тарабарщиной, регистрация нового ящика электронной почты виделась сейчас практически неразрешимой проблемой, похлеще доказательства теоремы Ферма или, скажем, создания машины времени.

«Завтра, — сказал себе профессор Петров, горько вздыхая. — Завтра я обязательно напишу, но не сегодня. Все равно час давно поздний и в посольстве никого нет». С этой мыслью Геннадий Алексеевич лег в постель и почти сразу уснул.

Утром он почувствовал себя выспавшимся и бодрым. Повязывая галстук и надевая любимый пиджак, он насвистывал веселый мотивчик.

Наталья ЕЛИЗАРОВА

ПЛАЧУЩИЙ БУДДА

Р а с с к а з

Он катастрофически не успевал жить. Не хватало времени.

Первый весенний месяц еще не закончился, а Юрий уже устал от перелетов: каждые три-четыре дня — командировка. Всё на бегу, в спешке... Ручная кладь с расчетом и на жару и на холод, минимум вещей — компактных, немнущихся. Паспорт, кошелек, визитки, телефон, зарядные устройства. И неизменный ноутбук, извлекаемый из чемодана при любой возможности: чтобы просмотреть документы, срочно набрать архиважный текст, молниеносно ответить на письма... Юрий был прикован к нему, как раб к веслу галеры, — вся жизнь в режиме жесткого дедлайна. Чтобы корабль не сбавил хода, раб должен изо всех сил налегать на проклятое весло, грести что есть мочи. Писать, отвечать на звонки, срывать с места по свистку и, бросив все, лететь на другой конец света...

Он много путешествовал, но мало видел: разве что через окно так-си по пути из аэропорта и обратно удавалось мельком, урывками посмотреть какой-нибудь город... Да эти поездки и путешествиями-то нельзя было называть, скорее просто перемещениями в пространстве, потому что путешествие — это свобода и созерцание, а он был занят, измотан бесконечной карьерной гонкой. На постоянный цейтнот не жаловался, даже мысленно: от мелькания стран и континентов уже давно наступила пресыщенность — картинки, смазываясь, беспорядочно наслаивались друг на друга.

Когда-то Юрия окружали друзья, но постепенно все до одного отдалились. Разные временные зоны, ритмы, графики — и контакт утрачен. Да и некогда было встречаться: времени всегда в обрез, на сон-то лишний час не выкроишь, не то что на общение.

Он разучился отдыхать и расслабляться. Чтобы заснуть — втыкал в уши наушники и обволакивал мозг первой попавшейся под руку аудиокнигой, пока глаза не закрывались сами собой; чтобы проснуться — вставал на беговую дорожку. И огромный белчий барабан начинал крутиться с новой силой... День за днем, год за годом.

Командировка в Индию ничем не отличалась от прочих: нужно было прилететь, подписать документы, улететь. Все как всегда — быстро, чет-



ко, до крайности сжато. Штурм очередной вершины. Он делал это миллион раз. И, достигнув цели, переходил к следующей.

...Обдумывая предстоящие переговоры, Юрий рассеянно поглядывал в иллюминатор. В изумрудной дымке таяли звезды, сливаясь с огромной, раскинувшейся до горизонта сетью мерцающих, бледнеющих на глазах огней. Он чувствовал привычное напряжение в мышцах, какое испытывает боец, готовый к поединку, — через полтора часа сделка!..

Когда его ослепил первый солнечный луч, он увидел под вибрирующим кончиком крыла огромный, будто парящий над городом буддийский храм. От неистового буйства красок, виртуозного хитросплетения колонн и арок захватило дух! «Нежели это чудо сотворила рука человека?» — невольно мелькнуло в голове. Внезапно Юрий ощутил себя песчинкой на ладони Создателя, и это ощущение было таким оглушительным, сбивающим с толку, что он растерялся. Но оно пропало, как только взгляд Юрия упал на золотой круг циферблата: невидимая белка уже всю перебирала маленькими шустрými лапками.

...Блестяще проведя переговоры и заключив сделку, Юрий спешил в аэропорт. Удушающая жара сменилась ливнем. Он выбрался на такси из центра, оставив позади современные высотные здания с огромными буквами на крышах. Теперь пейзаж за окном удручал нищетой, безнадежностью и унынием. По обе стороны дороги лежали трущобы; неуклюжие картонные сооружения нависали друг над другом, жались по-сиротски в тесноте. Под брезентовыми навесами кипела работа: проворные смуглые руки шили одежду, пекли лепешки, лепили глиняные горшки. Несмотря на дождь, местные жители не стремились в укрытие. Женщины стирали белье. Шла бойкая торговля фруктами. Низкорослые тщедушные индусы деловито сортировали мусор в баках. Кто-то спал, расположившись прямо на узком тротуаре и прикрывшись пальмовыми листьями. Земля была усеяна мандариновой и банановой кожурой, обрывками бумаги, конским навозом. Повсюду рыскали собаки. Лениво переставляли ноги тощие коровы, тычась грязными мордами в груды отходов.

Чтобы заглушить чудовищную вонь, которая проникала даже сквозь наглухо закрытые окна автомобиля, Юрий закурил. Его не покидала тревога — невесть откуда взявшаяся и ноющая, как больной зуб. Был в ней странный привкус какой-то дисгармонии в окружающем пространстве и неполноты собственной жизни. Будто ты сам себе не принадлежишь, будто все настоящее, живое неостановимо и безвозвратно проходит мимо тебя, а ты для этого мира — чужой, посторонний... Юрию захотелось поскорее сесть в самолет и покинуть страну, которая вызывала в нем так много острых и непривычных эмоций.

...Шагая к стойке регистрации, он услышал за спиной русскую речь — торопливую и восторженную:

— Никогда не чувствовала себя настолько умиротворенной! Такое просветление! Будто заново родилась!

— Здесь ты обращен лицом к Богу!

— Я буквально очистилась внутренне!..

«Видимо, прямиком из буддийского храма», — саркастически усмехнувшись, подумал Юрий. Да, туристов здесь полно: снуют туда-сюда, фотографируют, не жалеют денег на сувениры, умиляются... А потом, вернувшись домой, рассказывают про свою преображенную душу, в которой отныне больше нет зла и страхов, а царит лишь свет, любовь и жажда истины. Так знакомо! И так банально.

Туристы раздражали его, и вместе с тем он завидовал этим людям. Они могли вот так запросто, нацепив на шею дешевые индийские побрякушки и ради забавы расписав руки хной, празднично стоять, переминаясь с ноги на ногу, и рассуждать о тайнах мироздания. А он, Юрий, обливаясь потом в строгом брендовом костюме, застегнутом на все пуговицы, как всегда, торопился в свой московский офис, чтобы положить на стол руководству подписанный контракт.

Скрипнув зубами, он нервно забарабанил пальцами по гладкой, сверкающей коже портфеля. Уехать! Уехать!..

У входа в зал, тяжело дыша, лежала собака. В рыжей лохматой шерсти бурыми пятнами запеклась кровь. Собаку не выгоняли, но и не пытались помочь. На нее просто никто не обращал внимания: лежит себе и лежит. По стране бродят тысячи голодных, больных, умирающих животных; местные не обижают их, но и не заботятся. Эта несчастная псина — лишь одна из многих. Если ей повезет — издохнет в течение пары часов, нет — будет мучиться до утра...

— Такая мощная энергетика! — экзальтированно восклицала за спиной Юрия «паломница». — Чувствуешь себя на вершине мира!

— И ведь веришь, что Будда действительно плачет из сострадания ко всему живому, а не потому, что дождь идет! И что его слезы — нектар любви!.. — с таким же воодушевлением вторили ей спутники.

— А какое единение с природой! — подобрав юбку и торопливо обогнув собаку, продолжала восторгаться девушка. — Это просто дыхание Космоса!

Юрий сморщился и посмотрел на часы.

— Будь все проклято! — прорычал он себе под нос, досадуя на приступ чувствительности, вспыхнувшей так некстати, и вышел из очереди.

На его место, как на боевой пост, тотчас же заступили туристы, с трудом волоча за собой сумки, доверху набитые сувенирами.

Подойдя к собаке, Юрий присел на корточки, погладил подрагивающую холку. Словно ожидая удара, животное на секунду зажмурило влажный коричневый глаз; взъерошенную шерстку смочили горькие собачьи слезы.

Осторожно взяв на руки пса, Юрий зашагал к автостоянке.

— Эй, где здесь поблизости найти ветеринара?..

И снова такси, снова грязные нищие кварталы... Его самолет давно улетел, а телефон разрывался от звонков. Юрий отвечал односложными, скупыми фразами: попал в пробку и опоздал, вылетит следующим рейсом... Под рукой он чувствовал биение маленького испуганного сердца. Время от времени шептал:

— Держись, дружище... Потерпи еще немного...

Отыскать ветлечебницу в огромном чужом городе оказалось не просто. Работали в ней не коренные жители, а приезжие — волонтеры из других стран. Индусов не особенно заботило здоровье братьев меньших, и бродячие животные стаями ходили по улицам. Особенно много скиталось коров — с выпирающими ребрами, мычащих от голода. Покуда корова давала хозяевам молоко и от нее была польза, ее держали в хозяйстве; едва скотина старилась — выгоняли за ограду. Убить рука не поднималась: как-никак священное животное.

— Ваша? — коротко спросил Юрия ветеринарный врач, судя по выговору, француз.

— Нет, подобрал в зале ожидания в аэропорту.

— Тогда денег не надо. Бездомных стерилизуем и лечим бесплатно.

— Что с ним, доктор?

— Похоже, подрался с другими собаками. Я сделаю ему укол и обработаю раны. Выживет, не беспокойтесь, укусы неглубокие!.. Оставьте его или подождете?

— Подожду, — машинально ответил Юрий.

Его глаза были устремлены на экран маленького телевизора, подвешенного к потолку.

Красно-белый пунктир сигнальной оградительной ленты, а за ним — огромная зияющая воронка... Груды дымящегося железа... Опаленный остов самолета... Того, на котором Юрий должен был улететь!

— Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли... — вещала в микрофон длинноногая журналистка, бесстрашно пробираясь сквозь оцепление.

— Что там — теракт? — без особого интереса спросил Юрия врач и, не дождавшись ответа, кивнул на собаку: — Не хотите забрать с собой? Могу оформить документы на перевозку.

Все находившиеся на борту. Все до единого. Кроме него.

— Да... конечно... — растерянно пробормотал Юрий.

Пес еще оставался под действием наркоза. Он лежал на операционном столе так спокойно и расслабленно, как будто уже знал, что теперь у него есть дом, хозяин и можно ничего не бояться. Короткие жесткие волоски вокруг закрытых глаз были сухими. Он больше не плакал.



Давид ШАХНАЗАРОВ

ГОРА

Р а с с к а з

Давид Шахназаров — студент моего семинара прозы в Литературном институте им. А. М. Горького. Случай, честно говоря, сложный. Это уже не молодой человек, он родился в 1979 году. Но очень молодой писатель: литературным творчеством он начал заниматься лишь в 2014-м. Но главная проблема даже не в этом.

Когда я прочитал вступительную работу Давида и мы на семинаре обсудили его первый рассказ — об отце, пронзительно точный, мастерски выполненный, — я сказал: «Давид, зачем вы ко мне пришли? Если у вас есть пять-шесть подобных рассказов, то диплом вы можете защищать хоть завтра и я гарантирую вам высокую оценку. Или уходите, или пишете что-то совсем другое, так чтобы это у вас не получалось, чтобы были срывы, ошибки, изобретение велосипедов, творческие кризисы и так далее».

Следующий рассказ «Метро» я легко рекомендовал в «Новый мир», и его легко напечатали. Но это было все то же. Проза яркая, сочная, психологически убедительная, с массой интересных образов и персонажей. Но опять о детстве, о родителях... И я задумался. Чему я могу его научить? Он уже все умеет — в этом, автобиографическом, жанре. И я сказал ему то же, что сказал после первого обсуждения.

Кажется, он понял. Его новый большой рассказ «Гора» — вещь абсолютно выдуманная. Мне даже трудно сказать, о чем она. О силе и ужасе религиозной веры? О том, что благими помыслами вымощена дорога в ад? О тонкой грани между преданностью церкви и бесчеловечным фанатизмом? О любви и ненависти? О вечном образе Великого инквизитора?

Пожалуй, на все эти вопросы можно ответить «да». Давид написал вещь многоплановую, с переливами смыслов, с тонкой и призрачной игрой в сложные понятия. И я понял, что дело сдвинулось с мертвой точки раннего литературного мастерства, которое куда опаснее поздних ошибок и просчетов.

Молодой писатель Давид Шахназаров. Скоро ему будет сорок. Я желаю ему почаще ошибаться, как можно больше набить себе шишек — и обрести, наконец, себя.

Павел Басинский

I.

Ночью отца Марка мучают кошмары, а днем — сомнения, да такие, о которых он раньше и помыслить не мог. Для настоятеля он молод: ему всего пятьдесят. Сильно похудевший, нетерпеливый, временами злой, а еще отрешенный: живущие на Горе монахи больше смотрят внутрь себя, но отец Марк изменился, и братья порой переглядываются у него за спиной и качают бритыми головами.

Недавно внутри отца кто-то поселился. Теперь их двое: один только смотрит и почти не думает, второй верит и истово молится за них обоих. Мысли роятся в голове, прерывают дыхание, он глубоко вдыхает и снова перестает дышать.

Гора, вместилище покоя, теперь тревожит отца Марка каждым камнем, точит изнутри, отнимает силы. Он спустился бы с Горы, но есть долг, да и некуда идти.

Отец стоит над пропастью, смотрит на покрытые масляной дымкой золотые поля и за линию горизонта. Внизу живут люди, пахнут землю, выращивают скот, поднимают детей.

Такой вид! Он ищет в себе привычную радость, а к нему приходит еретический страх, бьет в самое сердце: «Уже умираю. Прожил здесь всю свою бессмысленную жизнь». Отец крестится и молится.

Глубоко-глубоко внизу морщинятся розово-серые каменистые уступы, выточенные невесть куда ушедшим морем. Отца Марка нестерпимо тянет вниз.

Колокол воскресной службы возвратил его. Он побрел по тропе к монастырю, в дубовые ворота, на покрытый грубой плиткой двор, сквозь громадные, распахнутые настежь двери в подпертый могучим каменным сводом храм.

Прошел за алтарь, братья помогли ему облачиться. Засипел орган, густо намазал на воздух звук, наполнил им храм. Привычный ход службы подхватил отца, и он перестал думать.

Посреди службы отец Марк ощутил, как кто-то зашел в него, не постучав, и затаился внутри. Он испуганно прислушался, механически продолжил читать молитву и помахивать кадилом, недоумевая: кто с ним?

Ему вдруг неудержимо захотелось испортить эту самую молитву, простую, ту, что он знал всю свою жизнь. Он запнулся и оперся на алтарь, поймав удивленный взгляд раскрасневшегося от натуги отца Филиппа, красиво выпевающего бархатным баритоном. Отец Андреас тихонько тронул его за плечо. Марк посмотрел на друга, и ему стало легче.

Люди выстроились для святого причастия. Как их мало!

Очередь быстро иссякла. Беременная женщина, истово молившаяся Мадонне в проходе, открыла рот, протянула к нему руки. Захотелось ударить ее в живот. Он задохнулся от чуждой мысли, и его затошнило.



Отец Марк судорожно перекрестился, глубоко вздохнул: «Что со мной не так, Господи?» Наваждение ушло, оставив его трясущегося, в поту, с дарохранительницей в руках.

Служба окончена. Очередь паломников поднимается вдоль стены по узкой лестнице к деревянному образу, следом идут монахи, последним — отец Марк.

Встал между полом и потолком на приступке перед образом из дерева. За спиной — храм, громадное пространство воздуха и стены, а за стенами — весь мир.

Черное, чужеземное лицо затягивает в себя свет. Таких лиц не найти среди местных крестьян, да и вряд ли найдешь где еще. Сколько часов он провел силясь поймать неуловимое, ускользающее внутри нее! Она тянет руку, не приветствуя — отстраняя от своего величия.

Дотронулся... Исполняя чей-то нелепый трюк, сильный ветер из дверей загасил часть свечей. Ненужным и пустым показался себе настоятель в полутьме своего храма! Иголки закололи в голове и руках. Кто-то начал рваться наружу, привязанный к сердцу невидимой цепью. Отец Марк почти побежал во двор, в квадрат ускользающего света и воздуха.

Там он долго не мог сдвинуться с места, сердце билось в виски, кружились стены монастыря, сверху безучастно зияли звезды.

Ее нашли в пещере, хоть никто не слышал о пещерах в этих горах. Говорят, пастухи хотели увезти ее вниз, в деревню, но чем ниже спускались, тем она становилась тяжелей. Пришлось оставить ее на Горе. Вокруг основали монастырь.

Дом для паломников часто пустует. Братья молят о чуде, но Черная Мадонна не чудотворна. Разве так бывает? Ведь если нет чуда, люди обязательно его придумают, потом еще и еще... А тут — никто не плачет от счастья, не кричит, что исцелился, — чудо, что никто не придумал чуда. Черная Мадонна молчит — и это чудо само по себе.

Не дала спустить себя с Горы, молча протягивает руку, будто отстраняет от себя, но рука все равно блестит, засаленная губами паломников.

«Моя гора, сам выбираю страх и покой...» — думал отец Марк и привычно бормотал «Отче наш», поглядывая на темный проход в любимый, но зачем-то такой страшный храм.

II.

Ночью кто-то негромко постучал в ворота. Отцу Марку сквозь сон показалось: давно ждал этого стука.

Тяжело дыша, поднялся с деревянного ложа, принялся к ночному воздуху, вставил отечные ноги в плетеные сандалии, нащупал в темноте рясу и пояс, аккуратно повешенные на спинку стула.

— Что случилось?

— Вот, — беспомощно кивнул отец Филипп, светя фонарем.

На скамье сидела девушка.

Глаза блестели в свете фонаря как-то даже весело. Платье на девушке было подрано, в дырах видны кровоподтеки и ссадины, губа запеклась и распухла от удара.

— Что случилось? — спросил отец Марк у девушки.

Она все молчала.

Отец Марк почувствовал острый, как перец, тягучий и нежный запах, тоньше, но сильнее горных трав, что он имел обыкновение растирать в руках и нюхать. Захотелось обнять ее, успокоить, защитить. «Сильный запах, как у сыра», — улыбнулся отец Марк, и наваждение ушло.

Девушка недовольно нахмурилась, складка легла промеж черных бровей. Вьющиеся во все стороны вороньи волосы, наверное, невозможно расчесать, сильно выдаются скулы, над скулами широко поставлены лукавые глаза. Красивая! Все молчит. «Может, немая?»

— Ты немая?.. Кивни... Отец Филипп, отведи ее в дом, дай одеяло и покажи, где умыться.

Отец Марк уже хотел опять пойти спать, когда услышал собачий лай и голоса. За стеной стало светлее, кто-то забарабанил в ворота руками, палками... Девушка задышала как затравленный зверек.

— Брат Филипп, веди ее в дом, пожалуйста.

Во двор стали выходить сонные братья.

Отец Марк подошел к воротам и спросил:

— Кто там?

— Откройте, отче. Мы пришли за ней.

Тихий голос показался отцу Марку знакомым.

Он оценил большой дубовый засов, вздохнул и полез по ступенькам приставной лестницы на стену.

За стеной горело больше дюжины факелов, освещая кусты над обрывом и разгневанные лица пастухов из деревни у подножия Горы. Некоторых он узнал.

— Пустите нас, отец!

— Ночью монастырь закрыт, — тихо сказал он.

— Мы знаем, ведьма у вас! Пустите! Мы ведь и так войдем и заберем ее!

— Уходите, — тихо и бесстрастно сказал отец Марк. — Немедля.

Лица крестьян исказились злобой.

— Мы ломаем ворота!

Они начали иступленно бить в ворота палками, завыли собаки, один пастух попытался поджечь ворота факелом.

— Я вижу тебя, Ансельмо! — обрадованно воскликнул отец Марк. — Разве не ты в прошлом году приходил молить об исцелении дочери?

Ансельмо подался назад, за спины товарищей.

У отца Марка слезились глаза. Люди внизу и факелы становились четче, превращались в пятна света и тьмы. Он представил, что будет, если отпереть ворота и дать их гневу войти в монастырь. «Откуда столько ненависти? Пастухи сами как животные... Как животные», — повторил он себе и крикнул:

— Именем Черной Мадонны, уходите!

Крестьяне, услышав это, отшатнулись.

Марк тяжело ступил на землю, прошел мимо удивленных братьев и пошел спать.

III.

На Горе все другое: бесконечный день вдруг сразу кончается. Представь жизнь на Горе, представь эту длительность и этот конец.

Длительность начинает звенеть сквозь непроглядную тьму. Кажется, тьма стала меньше, а свет — больше, тьма все так же непроглядна, но что-то изменилось. Еще совсем темно, но это уже другая, ожившая, сверчащая темнота, а скоро запоют птицы.

Гора окружает их повсюду, внутри и снаружи. Кажется — замурованы в нее, кажется — свободны.

Когда из долины пришли пастухи и начали строить храм, отец Марк был маленьким послушонком. Он и теперь все еще не знает, как быть настоятелем. Просто живет в монастыре на Горе сколько себя помнит, никогда не был внизу, кроме самого детства, а детство помнит урывками, красками, мамой, душевным покоем и душевной радостью.

До храма стоял деревянный сруб, а до него, говорят, не было ничего, только Черная Мадонна была всегда. Гора и есть первозданный храм Черной Мадонны.

Когда монахи выстраиваются в очередь и идут по ступеням целовать ей руку, отец с содроганием ждет ее холодного прикосновения. С детства боится ее, пытается привыкнуть, слушать, верит и молится без конца, но все равно, прикоснувшись, содрогается и бежит.

Он трудно встал, хрустнул одеревеневшей спиной. В темноте привычно дошел до столика, зачерпнул из таза воду, остудил горячее лицо, омыл шею и лысую голову. Тихо прошел по коридору мимо келий спящих братьев и вышел во двор.

Скрипнули ворота; будто в ответ, утка крикнула, как больной ребенок. Утки летели над его деревней, висели ошипанные в лавке мясника. «Все напоминает обо всем», — подумал отец Марк, вспомнил маму и яблочные пироги, а вкус утки вспомнить не смог.

Он подошел к обрыву — внизу была тьма. Стоял и смотрел, как бездумно пробуждается мир; не молясь и толком ни о чем не думая, встретил рассвет.

IV.

Комната уже пропиталась ее приятным звериным запахом.

Девушка спала на тюфяке, завернувшись в одеяло, в дальней комнате домика для паломников. Отец Марк тронул ее за плечо — она вскрикнула, протяжно и горько, вдруг заговорила во сне пряным гортанным голосом.

Ему показалось, что и он спит, понимает неведомый тарабарский язык, сотни раз входил вот так и вдыхал ее запах.

— Пойдем, — тихо сказал он.

Девушка вскочила и прижалась к нему всем телом. Что-то зашевелилось и заныло внизу живота. Он не смог ее отстранить.

Вышли из монастыря, совсем рассвело. Отец Марк остановился и внимательно посмотрел на нее. Он прожил всю свою жизнь вдали от со-блазна, но все равно понял: она из тех некрасивых, что сводят мужчин с ума и за это не нравятся женщинам. Долго молча вглядывался в лицо — слишком долго, как до того смотрел, пожалуй, только с Горы. Ни разу не отвела взгляд. Старые, живые и мертвые, глаза, как Гора, смотрели сверху вниз без сопереживания. Отец Марк похоронил многих монахов-стариков здесь, на Горе, а таких старых глаз не видывал. Лицо девушки все время менялось, помнилось ему, любилось, чудилось в далеких снах, пугало. «Разве так бывает?» — подумал отец Марк. — Все и ничего. Несчастливая — так хочется ее обнять, и сильная — хочется ударить».

Дорога спускалась вниз к деревне, вдоль обрыва, откуда пришли пастухи, а он повел ее вдоль монастырской стены наверх. Тропинка, петляя, уходила в гору.

— Люди хуже животных во всем, отец.

Так она сказала, а он вздрогнул, вспомнив глаза пастухов за стеной. «Откуда у крестьянской девочки такие мысли, мои мысли?»

Застывшие без ветра травы волной стелились до близкого неба, звенело солнце. «Сколько жизни в этом мертвом лице!» Отцу Марку нестерпимо захотелось обнять ее, лечь на траву, захотелось того, о чем он устыдился думать...

— Я ведь нравлюсь вам, отче?

Он глупо улыбался и молчал.

Показалось, что легли на эту траву, она села на него сверху, сдернула через голову хлопковую робу, он увидел торчащие темные соски и горящие волосы, закрывшие от него солнце.

Зрачок ее левого глаза вдруг отъехал в сторону, обнажив пустоту белка.

В мозг вонзились тысячи игл.

Показалось.

«У нее “ленивый глаз”, — успокоил себя Марк. — Такой был у дурачка Алонсо. — Отец Марк вспомнил, как дразнил его, маленький, с другими детьми. — Занервничала и перестала следить. За это ее и заравили. Ведьма, кричали они... А что это такое — ведьма?»

Она улыбнулась горько, трянула волосами и пошла. Марк хотел что-то сказать, но не знал что. Тяжело ступая, начал подниматься за ней по тропе.

Перевалили через уступ. Отец Марк почувствовал, какой он старый. Ему было нечем дышать.

Здесь был другой воздух, другое солнце; громадные морщинистые валуны, поросшие редкими кустами, напоминали ему головы братьев. Он с тревогой всмотрелся в монастырские крыши, терявшиеся в утренней дымке глубоко внизу.

— Куда мне идти, отче?

— По тропинке через перевал. Не сворачивай никуда: здесь много тупиков, они заканчиваются крестами и образами. На той стороне Горы будут еще деревни.

Перед ней был долгий, одинокий путь, а она вдруг озорно улыбнулась ему:

— Еще увидимся, отче!

Упруго ступая, потряхивая волосами, пошла по дорожке меж камней и пропала. Отец Марк стал спускаться.

V.

Крестьяне привезли в монастырь еду на месяц и остались в надежде поторговать с паломниками — три хмурых бородатых пастуха: старик, средних лет и совсем мальчик. Встали за монастырем вдоль скалы у дороги в деревню, разложили на деревянных столиках нехитрый товар.

Отец Марк вышел сказать, что паломников нет, и чтобы понюхать сыр и попробовать мед.

— Здравствуй, отче! — разулыбался старый продавец сыра. — Благослови мою еду.

Отец Марк улыбнулся в ответ, сделал что просит.

Монахи на Горе не говорят без особой нужды. Когда так долго молчишь, начинаешь видеть людей. Старик ему нравился, с ним отец Марк всегда разговаривал приветливо и пространно.

— Теряешь время, Франциск: паломников нет, только братья.

Молодые погрустнели, а Франциск продолжил глупо улыбаться. Отцу Марку стало жалко бедняг.

— Постой, у меня есть пара монет, куплю что-нибудь к ужину.

Он с восторгом начинал осмотр. Вот прекрасный, бесконечно пахучий сыр из молока овец и коз, еще один — попресней. А вот — благодать! В деревянном тазу в рассоле упругие белые шары — представил, как они прогибаются под ножом, нож мягко входит внутрь, сливочная начинка растекается по тарелке. Самый вкусный сыр, да вообще самое вкусное, что отец Марк пробовал!

Коренастый краснолицый мясник продавал вяленое мясо и сырую колбасу. На ткани лежал большой сочный кусок грудинки.

«Мяса не ем, а бекон все еще прекрасен», — жмурился в предвкушении отец Марк. Нельзя ему бекон, потом будет плохо, но разве устоишь?

Мальчик продавал терпкий темный горный мед.

Отец Марк вглядывался в их лица и гадал, был ли кто-то из них здесь ночью.

Великий храм построили неграмотные пастухи. Привозили дерево, металл и мрамор на ослах. Собирали деньги по окрестным деревням. По-

могали долбить и тесать камни. Теперь тем же путем возят муку, и мясо, и сыр, и масло, и вино для монахов.

Крестьянин, вспахивая поле, собирая урожай, нет-нет да и взглянет на Гору, прикрыв глаза рукой. Сами окрестные села что песчинки, если смотреть с Горы. Гора идет выше — в лысые, будто головы монахов, скалы. Петляют меж скал тропы, кончаются крестами и образами.

Высоко, неудобно — самое место для послушания. И для молчания. Поближе к Богу, одиночеству, подальше от земли.

VI.

Вечером отца Марка опять разбудил стук. Отец Филипп уже отворил. «Бедный Филипп, совсем не спит со своей подагрой!» Тут он увидел всклокоченную бороду Франциска.

— Отец! Пресвитер Уго подал жалобу... про ведьму, что у вас укрылась, а на молебне сказал, что из города придет инквизитор с отрядом солдат. Сюда, в монастырь!

Отец Уго — пресвитер деревенской церкви. Звонкие голоса и смех, Уго и Марк наперегонки бегут на гору встречать рассвет, вприпрыжку назад, к заутренней, и еще быстрее — в столовую на завтрак...

Тучный пучеглазый деревенский парень. В детстве были служками в монастыре. Марк остался, Уго уехал учиться в город.

Когда его сделали пресвитером, Уго поднялся на Гору, был с настоятелем почтительно холоден, мало вспоминал былое, говорил о своем назначении даже с сожалением.

Монахи собрались во дворе.

— Из-за этой девушки будет беда, — сказал отец Филипп.

— Я вывел ее из монастыря, — сказал отец Марк.

— Отец Уго пожаловался в святую инквизицию, — сказал отец Андреас.

Братья загудели, потом вдруг опомнились и разошлись помолиться до вечера.

На деревянном распятии на стене какой-то крестьянин или пастух грубо вырезал Иисуса. Отец Марк стоит на коленях перед крестом, закрыв глаза. Перед внутренним взором его братья — единственная семья, вся его жизнь и забота и даже любовь к Богу. Живые, верящие в Отца Небесного. Он подвел их.

Собрались за большим деревянным столом в столовой. Их лысые, как скалы, головы — плоть от плоти Горы. Воздержание, выверенный быт и молитва сделали их единым существом, но они разные.

Отец Марк очень любит отца Андреаса, они вместе выросли на Горе; отец Педро ко всем бесконечно добр; отец Хуан стойко сносит трудности; отец Сантьяго немой, всегда кажется, что ему есть что сказать; отец Филипп страдает подагрой, у него немного дурной характер, но разве злой человек может так прекрасно петь; отец Бартоломи вкусно готовит, любит съесть

лишнего, оттого всегда весел и заразительно хохочет; отец Матео великолепным почерком переписывает святыя тексты; отец Томас — живой и юркий старик, его здесь все любят; трудолюбивый отец Сантьяго — тот, что помоложе, — великолепно рисует; отец Жорди верит истово и молится без конца.

Братья смотрят в тарелки, пережевывают кашу. Сегодня другая, тяжкая тишина.

Настоятель долго не может подобрать слов, совсем не ест, молится, наконец говорит:

— Они будут нас пытать, спрашивать о девушке, заставят предавать друг друга. Заклинаю вас: сразу предайте меня, не мучайтесь!

VII.

Факелы, кирасы и шлемы, багровые флажки на алебардах — меч и лавровый венок.

Солдаты теснили заспанных монахов к монастырской стене. В глазах братьев застыл ужас.

«Неужели кому-то пришло в голову, что будем сопротивляться?» — подумал отец Марк.

Его грубо толкнули к стене.

— Не бойтесь! — громко, почти с досадой крикнул он.

К нему быстро подошел низенький человечек в простом монашеском одеянии. Сухой, как ковыль, но разве монах должен быть толстым?

— Отец Марк?

Какой знакомый голос! Простое лицо, не лицо лгуна, острый чистый взгляд — добрый человек, монах. Как это не вяжется с тем, что он делает!

— Ты совершенно прав, отец. Вам нечего бояться. В конце концов, мы все алчем Царства Божьего.

Солдаты забавлялись, тыча жирное тело отца Бартоломи древками алебард. Отец Марк с осуждением повернулся к инквизитору, будто это он тыкал Бартоломи.

— Перестань. Мы сделаем что должно.

Отец Марк сидел прислонившись к стене, тяжело дышал и слушал дыхание братьев. В темном спертom воздухе крипты было невозможно заснуть. К утру он совсем обессилел от дурных мыслей, бродивших по кругу, и задремал.

«Я здесь, с тобой, не бойся», — погладил его кто-то по лысой голове прохладной рукой. Марк понял, что спит, и опять не смог узнать знакомый голос.

Заскрежетал замок. Двое солдат вошли и увели отца Бартоломи.

Упирающегося, обильно потеющего отца Бартоломи завели в темную келью. Он так громко дышал! Его дыхание отражалось от стен. Высоко над головой ничего не освещало рассветное пятно окна; вокруг бродил злой свет свечей. В центре стоял большой стул, на ручках и в ногах были прикреплены кожаные ремни. Стул принесли с собой солдаты.

Отец Бартоломи увидел стул с ремнями и сразу сдался:

— Это настоятель приказал впустить ведьму! Это он защитил ее! Это он вывел ее и показал дорогу!

— Что делаешь, делай скорее... — проговорил себе под нос маленький монах и недовольно нахмурился.

Инквизитор всегда получал что хотел, а на отца Бартоломи даже не взглянул.

Отца Бартоломи начали бить, его жирное тело сотрясали рыдания.

— О-о-о, за что, за что вы меня бьете?!

Он был бы рад ответить, но его ни о чем не спрашивали.

Вид инквизитора выражал сдержанное сожаление.

— Что же ты так орешь? Разве не знаешь: мы любим тебя и хотим спасти твою бессмертную душу. — Бесстрастный голос инквизитора существовал будто отдельно от его мыслей.

Но отец Бартоломи ничего этого не замечал, он вопил:

— Отпустите! Я ничего плохого не сделал! Ничего плохого не сделаю! Я молюсь Богу по сто раз на день. У меня всего один грех — я люблю кушать. За что вы меня мучаете?! Я же сразу все рассказал! Это отец Марк, это не я, Господи! Господи!

— Думаешь, услышал тебя? — улыбнулся инквизитор.

Станный человек! Когда другие печалились — он радовался, а когда радовались — грустил. Значимый человек, в Совете его почитали и боялись. Зачем он сам поехал в маленький горный монастырь?

Истязания прекратились. Инквизитор подошел, наклонился к отцу Бартоломи, заглянул тому в глаза и прошептал:

— Не интересен мне твой настоятель. Отрекись от Бога, отец!

С отцом Матео пришлось повозиться. Потом был отец Хуан, стойкий молодой Сантьяго...

Загрел замок, Марк с Андреасом встали и обнялись. Отец Марк остался в темной крипте один и расплакался.

VIII.

Отец Марк увидел стул с ремнями и человека в черном колпаке. Чуть в стороне спиной к дверям стоял маленький монах и смотрел на тени свечей, бьющиеся по глухой стене. В окошко под потолком было видно черное небо и несколько звезд.

Монах повернулся и подошел. Марк увидел то, что до него наблюдали сотни еретиков: настороженные уши маленького монаха чуть прижались к лысой голове, кривой нос нацелил узкий колючий взгляд внутрь, в самую глубину. Такой взгляд вынул бы любой ответ, который был и которого не было.

— Здравствуй, отец. — Тихий знакомый голос.

Один глаз, похоже, синий, а другой зеленый.

«Добрый старик этот монах, по всему видно добрый», — думал Марк, это сбивало его с толку.

— Конечно, добрый, — сказал инквизитор. — Мы с тобой, Марк, похожи гораздо больше, чем ты думаешь.

В тишине был слышен треск свечей.

— Когда я встретил тебя, Марк, — улыбнулся инквизитор, — сразу понял, какой ты сильный.

— А когда ты меня встретил? — спросил отец Марк.

Инквизитор продолжил:

— Только сильный человек, прожив на Горе всю жизнь, может сомневаться в Боге. Ведь ты сомневаешься в Боге, Марк? Хочешь спасти своих братьев — отрекись от Бога, и мы выпустим их всех.

«Какой глупостью занят этот человечек», — подумал отец Марк. Он искренне верил: его братья живы, их нужно спасти, но не так.

Марк стал думать о смерти: «Больше не нужно ждать».

Подошел человек в капюшоне, усадил его на стул и затянул ремни. Капюшон на человеке оказался не черный, а красный.

Отец Марк боялся предать себя, предать Бога, но, странное дело, чем больше упрямствовал, тем больше находил в себе сил.

Откуда-то издалека он услышал голос инквизитора:

— Назови одного брата — того, кто виновен, — и мы выпустим остальных.

Отец Марк молчал, отключался, просыпался снова и слышал змеиный шепот:

— Любишь себя, отец? Ты же погибнешь здесь! Если не любишь себя, как же ты любишь Бога? Не хочешь отречься от Бога, не хочешь отречься даже от одного брата? Тогда назови себя виновным, и мы никого не тронем. Я всегда даю людям что они хотят.

Лоб отца Марка заливало потом и кровью, он с трудом поднял взгляд, увидел, как зрачок инквизитора отъехал в сторону, и наконец узнал его.

IX.

Отец Марк очнулся перед рассветом. Пошарил вокруг руками — его кровать, его келья. Он усилием воли встал, охнул от тяжести и боли.

Еле переставляя ноги, Марк шел по коридору, заглядывал к братьям. Двери были открыты, комнаты пусты. Он вышел во двор, отвернулся от темного храма, пошатываясь прошел в распахнутые ворота и побрел вверх по дорожке, по которой месяц назад провожал ее.

В этот раз он еле осилил дорогу в гору.

Застывшие без ветра травы волной стелились до темного близкого неба.

Марк подошел к самому краю и посмотрел вниз. Пушистое рассветное молоко скрывало склон и острые камни.

«Покой», — прошептал он и зажмурился.

На востоке, ни о чем не думая, вставало бесконечное солнце.

Говорят, Черная Мадонна начала исцелять. Теперь она дает людям что просят, а больше всего известна тем, что дарит женщинам радость материнства.

Сергей ЗАПЛАВНЫЙ

«НЕПРОЛИВАШКА» ЛИПАТОВА

Вот приедет Виль...

Штатным сотрудником томской областной ежедневной газеты «Красное знамя» я стал осенью 1965 г., а нештатным — еще в студенческое время. Учился на историко-филологическом факультете ТГУ, но будущее свое связывал прежде всего с журналистикой. А на пятом курсе, без отрыва от учебы, поработал еще и ответственным секретарем университетской многотиражки «За советскую науку». Так совпало, что одновременно с дипломом я получил членский билет Союза журналистов СССР и сигнальный экземпляр поэтического сборника четырех авторов «Эхо», где дебютировал мини-книжкой «Поиск», а три месяца спустя уже нес срочную солдатскую службу в ракетном дивизионе под Астраханью. Газетное дело пришлось на время отложить. Может, это и к лучшему. Как любил повторять мой дедушка Иван Степанович, «на один гвоздь всего не повесишь».

И вот я снова в старинном университетском Томске. После продутой стылыми ветрами прикаспийской степи все радует глаз, возвращает в бурное студенческое прошлое.

Сменив дембельскую гимнастерку на гражданский свитер, пошел определяться на работу. Из многотиражки, по моим ощущениям, я давно вырос. Значит, надо идти в «Красное знамя». Коллектив там большой, творческий, с полувековыми традициями. Со многими сотрудниками я давно знаком. Будет у кого уму-разуму поучиться.

Прежде в «Красном знамени» меня опекали завотделом науки и школ Елена Григорьевна Николаева и завотделом информации, лучший репортер земли томской Борис Ростиславович Бережков. Но их отделы оказались полностью укомплектованы. Оставалось лишь место в отделе писем, главная задача которого — дополнять и обслуживать все остальные. Честно говоря, я рассчитывал на большее, но вида не подал, пошел устраиваться «согласно обстоятельствам».

Отделом писем руководила Лидия Ильинична Титова, человек кипучей энергии, пламенного красноречия и крепкой журналистской хватки. Встретила она меня по-матерински ласково. Не жалея времени, посвятила в тонкости предстоящей работы и, поручив для начала изучить, а затем распределить по отделам свежую почту, отправилась расследовать какую-то запутанную семейную историю. Ее творческий конек — статьи на темы морали, нравственности, общественного порядка, а также судебная и милицейская проблематика.

Оставшись наедине со своими разочарованиями и надеждами, я занялся письмами читателей. Но работа не клеилась. В голову лезли посторонние мысли.

Тут-то и появился вездесущий Борис Ростиславович Бережков.



— Привет, старичок! С возвращением тебя на большую землю! Что, сокол, не весел, буйну голову повесил? Или не рад назначению? Напрасно. Вилька Липатов тоже у Электрички начинал. С этого вот стола, между прочим. — Он указал на стол, за которым сидел я. — С той же самой чернильницы и ручки, что в его недрах хранятся. Не веришь? Посмотри!

Я послушно заглянул в нижний ящик стола и, действительно, обнаружил там старый письменный прибор с фиолетовыми потеками на подставке из серого поделочного камня, а рядом вышедшую из употребления ученическую ручку. Чернильница напоминала крошечный аквариум с серебристыми рыбками, вкрапленными в толщу его прозрачных стенок. Внутрь вставлена обыкновенная школьная «непроливашка». Сейчас такие не делают. А в моем детстве их выпускали в массовом порядке. Представьте себе емкость из толстого зеленого стекла с воронкой сверху. Налить через нее чернила легко, а попробуйте вылить... Потому и называли их «непроливашками».

Кто такой Виль Липатов, я, конечно же, знал по его публикациям в центральных изданиях. О том, что в пятидесятых годах он работал сначала в «Красном знамени», а затем в асиновской районной газете «Причулымская правда», тоже знал. Все остальное явилось для меня полной неожиданностью. Выходит, и Липатов не минул отдела писем. А Электричка, надо полагать, это не кто иной, как моя сегодняшняя начальница Лидия Ильинична Титова.

Мне стало весело. А ведь и Бережкова смело можно называть Электричкой. Он так же шумен, неутомим, разве что лет на десять помоложе Титовой да ростом приземистей....

— Чего улыбаешься? — подозрительно глянул он на меня.

— Прозвище Лидии Ильиничны понравилось, — признался я. — Электричка! Метко и едко. Это экспромт или один из ваших прежних юморизмов?

— Из прежних. Но не моих. Это Виль ее так увековечил. Очень уж она в нем фельетониста разжигала. И разожгла. А как узнала, что на электричку смахивает — ох! ах! фу, неблагодарный! И губы бантиком. — Бережков изобразил, как именно. — Смотри, чтобы она и тебя в дебри морализма не завела.

— Обо мне потом поговорим, — предложил я, — а сейчас лучше о Липатове... Он-то как в отделе писем оказался?

— Генетически, — хохотнул Борис Ростиславович, однако, прочитав на моем лице непонимание, принялся объяснять: — Поначалу верх взяли гены матери. Она у него всю жизнь в школе проработала: сперва в Чите, потом у нас, в Колпашевском районе. Учительница русского языка и литературы. Виль по ее стопам пошел. После школы прямиком в Колпашевский учительский институт двинул (нынче он педучилищем зовется). Окончив его, стал Виль Владимирович ребятишек начальных классов просвещать, юных Ломоносовых из них взращивать. Но жизнь на месте не стоит. Впереди Томский пединститут замаячил. Историческое отделение. Его Виль потому выбрал, что захотел досконально изучить законы развития человеческого общества — ни больше ни меньше. Два года изучал, а к концу третьего в нем гены отца проснулись. Родитель-то у него знаешь кем был?

— Газетчиком, — догадался я.

— И не простым, — подтвердил Бережков, — а газетчиком экстра-класса. Одним из самых известных журналистов Забайкалья. Во как! Текущие материалы он своим именем подписывал, а ключевые статьи, очерки и публицистику — псевдонимом Старик Софрон. Ближайшим его другом был известный по тем временам писатель Георгий Шелест, автор «Партизанских новелл» и рассказов о Гражданской войне в Сибири. Он-то и предложил Старику Софро-



ну назвать сына Вилем. По инициалам Владимира Ильича Ленина. В ту пору было принято давать детишкам имена-символы. Революционные, индустриальные, героические... В «Красное знамя» он пришел в твоём примерно нынешнем возрасте. Стихов, правда, не писал. Да ведь и ты всю жизнь на них сидеть не собираешься. Так, нет?

— Причем тут я? У нас же разговор о Липатове.

— Ах да, — согласно хохотнул Бережков. — То-то ты уши навострил. Ну, слухай дальше... С именем Виля мы разобрались. Теперь о его родителях. Как ты уже, наверное, понял, они разошлись. Со старыми партийцами это тоже случается. Отец остался в Чите. Но Виль с ним продолжает переписываться. Как-то показал мне отцовские письма. Удивительное дело, почерки у них один к одному. А раз почерки похожи, значит, и характеры. О способностях я и не говорю... Когда у Виля отцовские гены зашевелились, послал он в «Красное знамя» несколько коротких зарисовочных рассказов. Титова его тут же на беседу пригласила и, выведав родословную, стала давать конкретные задания. Виль справлялся с ними легко — хоть сейчас в литсотрудники его бери... Титова и взяла, но с условием, что оставшиеся экзамены в пединституте он сдаст по-ленински — экстерном. И, представь себе, Виль сдал! Одипломился как положено и попер на газетном поле не хуже Старика Софрона. Но скоро в отделе писем ему тесно стало. И ушел он от Титовой в промышленный отдел к Немировскому. Простору захотелось. А Титова обиделась: она ли его не растила? она ли его не учила? она ли в нем души не чаяла?.. Отсюда мой тебе первый совет, дружище: не давай Электричке себя облагодетельствовать. Двигай своим ходом. Проще расставаться будет.

— До этого еще дожить надо, — отмахнулся я и поспешил перевести разговор на заинтересовавшую меня тему: — А прозаик в Липатове откуда взялся?

— Оттуда же, откуда в тебе стихотворец, — снова хохотнул Бережков. — Из школьной «непроливашки». А еще из неправильной повернутости правого полушария... Первые рассказы Липатов даже не в «Красном знамени» тиснул, а по соседству — в «Молодом ленинце». Мало кто из томских ценителей на них в ту пору внимание обратил. Очень уж местно, приземленно, бытописательно. Но Виль себе цену знал. Ах так? Собрал все написанное и послал в журнал «Юность». Журнал этот был тогда и впрямь юным — без году неделя. Охотно печатал начинающих авторов. А главное — редактировал его Валентин Катаев, один из любимых писателей Виля. «Если и Катаев забракует, — горячился он, — уйду в монастырь!» Но никуда уходить не пришлось. В пятом номере «Юности» за 1956 год под обалденной по «новизне» рубрикой «В сибирских лесах» появились сразу два Вилькиных рассказа: «Самолетный кочегар» и «Двое в тельняшках». Те самые, что в Томске незамеченными прошли. Потом в альманахе «Томь» еще два — «День жизни» и «Попутчики». А в «Красном знамени» и «Молодом ленинце» — «Блокнот», «Романтики» и «Сосенки». Представляешь? По сути дела, книжка рассказов, но пока что россыпью. Она тянула на лычки ефрейтора, а то и сержанта в большой советской литературе. Вот и решили мы это событие по старой доброй традиции отметить... Но это уже другая, я бы сказал, дисциплинарная история...

— И, надо думать, не первая, — понимающе предположил я.

— А вот это уже наше личное дело, — вдруг осердился Бережков. — Жизнь из чего состоит? Из будней и праздников. Будней, естественно, больше, праздников намного меньше. Для Виля это самый подходящий вариант. Он — пахарь. Я бы даже сказал, пахарь стахановского типа. Праздники для него сущее наказание.



— Это почему же?

— Опохмеляться не умеет. Если начнет праздничать, на полную катушку заводится. Со своими — ладно, мы-то знаем, как помочь ему обороты сбавить. А в командировках подсказчиков нет. Народ там простой, гостеприимный, на таких людей, как Виль, падкий. Интересно ему с умным человеком пообщаться, про жизнь с души на душу потолковать. О Виле и говорить нечего. Он в глубинку для того рвется, чтобы иметь точку отсчета. А люди-то вокруг разные. Газетчиков не все любят, особенно за критику. Ну и начинают из мухи слона делать...

— Теперь ясно, как Липатов в «Причудымской правде» оказался, — сообщил я. — Его туда на перековку отправили.

— И правильно сделали! — подхватил Бережков. — Счастье не конь, не везет по прямой дороге... Другой бы на месте Виля обиды взял, самолюбие показывать, а он — нет. Тихо-мирно в работу впрягся. И снова, заметь, в отделе писем. Во какой это универсальный отдел! Гордись, старичок...

— Чем гордиться-то?

— Тебе пока и впрямь нечем. Обживись сначала, себя покажи... А Виль к тому времени уже заматерел. Вот и устроил себе в «Причудымской правде» «дом творчества». Сел да и накатал повесть «Шестеро». Короткая такая, остро сюжетная, по отзывам московских критиков, «мускулистая». Про то, как молодые нашенские трактористы повели себя в экстремальных условиях. Тут тебе и сибирская героика, и яркий психологизм, и морально-этические проблемы. Журнал «Молодая гвардия» сходу ее напечатал. А Читинское издательство так и вовсе отдельной книжкой выпустило. Одним словом, дорос человек до лейтенантских звездочек в литературе. Отсюда мой тебе второй совет: хочешь чего-нибудь добиться, наберись терпения. Не получается — не паникуй. Свой голос ищи, своих героев, свою тему. Вот как Виль!

— И где он теперь?

— В Читку, на родину предков махнул. Сперва газетой Забайкальского военного округа рулил — «На боевом посту» называется. Сейчас — собкор газеты «Советская Россия» по Забайкалью. Словом, вверх по служебной лестнице пошел. Но и писательство не бросил. Таков уж закон природы: всяк на свою ногу хромает... И вот тебе мой третий совет: через недельку-другую попросись у Титовой в командировку. Хоть к речникам, хоть к лесорубам... Быт, культура, отдых, чаяния трудящихся... Заодно сравнишь написанное Вилем с тем, как оно в жизни ведется. Для тебя, по-моему, это лучший самоучитель.

— И куда лучше попроситься? — загорелся я. — В Колпашевский район или в Причудымье?

— А хоть куда... Нарымский край, он ведь такой — отсюда и досюда. — Бережков раскинул руки, словно желая раздвинуть стены отдела писем. — Как выразилась одна московская критикесса, «страна Липатия». Виль по ней свои литературные дорожки надежно протоптал. Их по названиям населенных мест определить можно. Взять, скажем, Тогур, его школьные пенаты. О нем у него много написано. Он что-то укрупнил и домыслил, а что-то из других мест перенес. Пришлось название подретушировать. И появился литературный Тагар. Точно так же Колпашево превратилось в Пашево, Кривошеино — в Косошеино, Чичка-Юл — в Чила-Юл, а Томск — в Ромск. Может, и не совсем складно, зато узнаваемо. И к автору никаких претензий. — Тут Бережков глянул на ручные часы и охнул: — Заговорились мы с тобой, старичок, а мне репортаж сдавать надо.

— Спасибо, Борис Ростиславович, за культпросвет!

— Вот придет Виль, — хохотнул Бережков напоследок, — я вас и познакомлю. А «спасибо» до той поры побереги.

У героев Липатова

Вскоре я завел разговор с Титовой о командировке.

— И куда же вы хотите отправиться? — первым делом осведомилась она.

— А куда пошлете, — не раздумывая ответил я и вдогонку добавил: — В люди, как писал Алексей Максимович Горький. И желательно в самую гущу.

— Должна вам заметить, — вместе со стулом развернулась в мою сторону Лидия Ильинична, — я никого никуда не посылаю. Это не мой лексикон. Я даю выездное задание... На «горячий Север» к нефтяникам не обещаю. Там нынче и без вас толкотно. А в Тегульдетский район — милости прошу... Давненько никто из наших сотрудников там не был. Да и писем оттуда меньше, чем из других мест, приходит. Значит, надо работу с нештатным активом оживлять, а по району дать несколько авторских материалов. Ну и свой в придачу. Такая «гуща жизни» вас устроит?

— Заманчиво, — не стал разочаровывать ее я. — Давно мечтал побывать на Чульме...

Чуть было не сказал «на липатовском Чульме», но вовремя осекся.

Чулым даже по сибирским меркам — богатая река. Она рождается в горах Кузнецкого Алатау на севере современной Хакасии и кружным путем, изрядно поблуждав по холмам и равнинам Красноярского края, устремляется к Оби-матушке. Здесь ее путь пролегает через четыре района Томской области. Асиновский и Первомайский с Зырянским — это Нижнее Причулымье, а Тегульдетский — Среднее. Бывал ли здесь Липатов — даже знатоку его творчества Бережкову доподлинно не известно. Скорее всего, не бывал. В те годы, когда он работал в «Красном знамени», Среднее Причулымье подверглось нашествию сибирского шелкопряда, лесодобычу здесь пришлось частично свернуть. А Липатов писал в основном о лесорубах, сплавщиках, речниках, рыбаках и транспортниках...

Однако со студенческих лет жил в моем сознании еще один, я бы сказал, исторический Чулым — Чулым, по которому на рубеже XVI—XVII вв. на Томь каждый год приходили за данью воинственные киргизы из Алтысарского улуса. Обобрав до нитки томских татар-эуштинцев, они возвращались в свою каменную крепость, расположенную в верховьях Чульма, попутно опустошая мирных кизилов, басагаров, ачинцев, аргунов, шустов, камларов, хакасов. Это и заставило князя эуштинцев Тояна Эрмашетова просить московского государя Бориса Годунова взять его племя «под высокую царскую руку и велети в отчине его в Томи поставити город». Что и свершилось в 1604 г. Нынче о том времени напоминают разве что названия городских речек — Большая и Малая Киргизки — да населенные пункты, ставшие частью Томска, — тоже Киргизки. Здесь алтысарцы разбивали свои станы, приходя за данью.

И вот я в Берегаево. Поселок крепкий, красивый. С одной стороны Чулым, с другой — озеро Бергай. Иду по широкой улице, здороваюсь с прохожими. А навстречу мне Василий Андреевич Новокшонов, журналист, краевед, общественный деятель, человек в Тегульдетском районе широко известный. К тому же нештатный сотрудник «Красного знамени». Знакомы мы с ним шапочно, но такие вот неожиданные встречи мгновенно сближают.

Среди писем, которые я захватил из редакции, особое место занимала поэтическая тетрадь Новокшонова. Подборку его стихов «желательно» (по словам Титовой) подготовить для публикации в нашей газете.

— На ловца и зверь бежит, — невольно убыстрил шаги я и стал цитировать строки из запомнившегося мне стихотворения Новокшонова:





У костра я спал, в стогу.
В воду лез от зноя.
На чулымском берегу
Не бывал давно я.
Петли, плесы, поворот.
Яр крутой и ломкий.
Рыбы всплеск и птиц полет
На родной сторонке...

На вид Новокшонову лет сорок. Невысок, плотен. На голове суконная шляпа. Через плечо фотоаппарат. Лицо широкое, мягко очерченное. Нет-нет да и проглянут в нем черты коренных жителей Причулымья.

— Вам куда? — спросил я, переложив из руки в руку дорожный портфель.

— Сюда, — указал взглядом на гостиницу Новокшонов. — А вам?

«Так он же не берегаевский, — запоздало вспомнилось мне, — он из Тегуль-дета. Значит, здесь тоже в командировке. И, судя по всему, не первый день».

— Тогда чего мы стоим, как бедные родственники? — развеселился я. — «Вперед — под кров гостеприимный, сводящий странников в пути...»

— Мест нет, — сочувственно сообщила администратор, но, увидев за моей спиной Новокшонова, вопросительно замерла.

— Оформите товарища, — тихо попросил он. — Рядом со мной.

— Хорошо, Василий Андреевич. Вот ключ.

Из этого мимолетного диалога я понял, что Новокшонов здесь влиятельный постоялец, но решил ни о чем его не расспрашивать. Захочет — сам расскажет.

Он и рассказал. Недавно Высшую партийную школу в Новосибирске окончил. Отпуск решил догулять в Берегаево. Здесь никто не помешает ему заняться творческими и краеведческими делами. А с администратором гостиницы они, можно сказать, родня: в детстве жили «через забор» — в деревеньке Луговое Тегульдетского района.

Не откладывая дел в долгий ящик, разобрали мы с Василием Андреевичем плюсы и минусы его поэтической тетради, внесли согласованные правки. Заодно обсудили письмо в редакцию от работников Тайгинского лесопункта Берегаевского леспромхоза. Они просили отметить в «Красном знамени» новаторскую, по их выражению, работу Гришиной Валентины Семеновны, заведующей котлопунктом. Захламленный прежде, запущенный до невозможности вагон узкоколейки она превратила в образцовую передвижную столовую. Теперь это самое радостное место на лесоучастке, настоящий очаг культуры. Здесь всегда чисто, вкусно, музыкально; слова грубого не услышишь...

Обычно такие письма после литературной обработки сразу идут в номер — похвала не нуждается в проверке. Однако на этот раз Титова поручила мне изучить обстановку на месте и подготовить толковый материал о быте и культуре на лесозаготовках. С тем я и прибыл в Берегаево.

Новокшонов, добрая душа, вызвался мне помочь. Я стал было отговаривать Василия Андреевича: мол, не тратьте на меня свое отпускное время. Тут-то и выложил он свой решающий довод:

— Снимки — лицо газетного материала. Так? Так! А у меня ФЭД последней модификации. Вот и выходит, что без фотокода вам нынче не обойтись...

Утром, чуть свет, совершив бодрящий марш-бросок до станции берегаевской узкоколейки, я и мой добровольный фотокорреспондент заняли места в жарко натопленном вагончике поезда, идущего в лесосеку. Каждый новый пассажир



заводил свойский разговор с Новокшоновым, а я рассматривал их обветренные лица, вслушивался в немногословные диалоги.

Одной из последних в наш вагончик поднялась молодая женщина в пуховом платке. Следом дюжие парни в новеньких телогрейках легко внесли флягу с молоком, плетеную корзину с продуктами и эмалированное ведро с подпирющим крышку тестом. Для женщины и ее груза тут же нашлось место. Устроившись поудобнее, она размотала платок, расстегнула на пальто верхние пуговицы. На мгновение задумалась и, словно беседуя сама с собой, вдруг умиротворенно сказала:

— Новый денек в гости пожаловал. Чем плохо?

И все вокруг согласно заулыбались:

— Да ничем и не плохо...

Вагон качнулся и, набирая ход, затрусил прочь из поселка — в укутанные утренним туманом, прореженные вырубками бескрайние таежные пространства.

Мы с Новокшоновым сразу поняли: это и есть Валентина Семеновна Гришина, повар-новатор Тайгинского лесопункта.

На мастерском участке вагоны как-то враз опустели. Пассажиры стали деловито расходиться по своим местам. Транспортировать молоко и продукты до котлопункта вызвались мы с Новокшоновым.

Далеко идти не пришлось. Вот и он. Вытерев ноги о хвойную подстилку, по-хозяйски положенную у порога, мы вошли в вагончик. Одну его половину занимала светлая, с веселыми узорными занавесками кухонька, другую — столовая, украшенная геранями, кактусами и другими комнатными растениями. А навстречу нам со стены гостеприимно улыбался лучезарный Юрий Гагарин.

Узнав, кто мы такие, Гришина виновато ойкнула, но тут же поставила жесткое условие: пока она не растопит печь и не управится с тестом, посторонними разговорами ее не отвлекать.

— Время терпит, — кивнул я. — А мы пока по участку пройдемся. — И первым вышел из «котлопункта».

Так вот и начался этот привычный для многих и такой необычный для меня день. Беседуя с Гришиной, затем с завсегдатаями ее столовой, еще позже с начальством Тайгинского лесопункта, я чувствовал себя так, словно уже встречался с этими людьми. Где? Ну конечно же, в рассказах и повестях Липатова, залпом прочитанных накануне командировки в Причудылье. И внешне мои собеседники выглядели так же, как персонажи его произведений. И вели себя похоже. Их легко было представить на месте литературных героев Липатова. Ведь главное в его произведениях — не сибирская экзотика, не сам по себе производственный процесс, не умение рисовать сегодняшнюю жизнь завтрашними красками, а способность создавать живые и достоверные характеры, убедительно показывать становление личности и коллектива в непростых жизненных обстоятельствах.

Известный московский критик Александр Макаров, много и благожелательно писавший о Липатове и других авторах живущих «во глубине России», в одной из своих статей отметил, что «талантливый сибиряк» обладает «киномышлением».

Что правда, то правда. По складу своего дарования Липатов скорее сценарист, чем повествователь. Он рисует короткими сценами, точными художественными деталями, запоминающимися диалогами. Сюжеты его произведений динамичны, зримы, композиционно завершены, но порой грешат налетом театральности. К тому же они не касаются истории и жизни малых народностей Причудылья и Приобья. Почему? Ведь он историк.



А ведь и я за день, проведенный здесь, не встретил среди работников лесопункта ни одного чулымца. Спрашивается, почему? Не найдя ответа, обратился к Новокшонову.

— Не их это дело — валить лес, — с неожиданной горечью объяснил он. — Их дело — беречь и почитать его. Это в крови у каждого сибирца. Надо срубить дом или промысловую избушку — рубили. Надо обласок выдолбить или посуду сделать — делали. Как без этого? И дрова запасали, и ловушки на зверя, рыбу и птицу мастерили, но ни одной щепки при этом старались зря не потратить. Кедр и вовсе не трогали. Только *когур* для умерших разрешалось из него делать, гробовину, значит, да орехи брать. А перед тем как *обронить* дерево, просили у него прощение. Такое вот отношение к лесу было. А теперь? «Лес рубят, щепки летят». Или того хуже: «Лес по дереву не плачет». Дескать, так его многоросло, что и жалеть не о чем, другой вырастет. А лес не просто плачет. Если вокруг сильно смолой запахло, значит, он криком кричит. Вот как сейчас...

Я вздохнул полной грудью и поневоле закашлялся.

— Это с одной стороны, — продолжал Новокшонов. — С другой — разговор шире вести надо. Заготовка древесины ведется в государственных масштабах. Где найти столько людей, чтобы каждую щепку берегли? Да нигде не найдете, как ни старайтесь. А искать надо. Это называется кадровая политика. Ею не только прямые кадровики занимаются, но и пресса, и партийные работники, и художественная литература. Взять хоть нашего Виля Липатова... С Липатовым мы лично встречались не раз. В Томске и на кустовых совещаниях лесозаготовителей. Интересный, скажу я вам, человек. Себя не выпячивал, но и за словом в карман не лез.

— Чем еще он вам запомнился?

Новокшонов задумался, потом оживленно заговорил:

— Взять такой случай. Липатов мне сам его рассказал. Заночевал он как-то в деревне Балагачевой. Это Пышкино-Троицкий, а ныне Первомайский район. Видит, хозяйка дрова на растопку колет. Старая уже, малосильная. Решил помочь. Взял топор, со всего размаха в полено. А он не втыкается. По-другому полено поставил: та же история. Топор-то маленький, неловкий. Им только щепу обкалывать. Упыхался вконец, взмок... А причина была в том, что у чулымских татар дрова на растопку женщины готовят. Потому и топор у них маленький, по их руке. Это русскому мужику сразу колун подавай, чтобы в три удара полено на четыре части раскроить. У женщин все по-другому. Они не силой, а старанием берут. На первом месте у них терпение и хозяйская бережливость... Вот и задумалось Липатову такую повесть написать, чтобы в центре ее женщина-вальщик стояла. Не лесовод, а лесоруб, но с женскими подходами. Представляете? Он даже имя ей подобрал — Фиона. Сразу запоминается. Не попадалась вам повесть с такой героиней?

Я молча развел руками.

— Жаль, — вздохнул Новокшонов, — Ну ничего. Быть может, еще напишет...

Обское Велиководье

Вскоре после моего возвращения из лесодобывающего Причулымья Титова наградила меня командировкой на «горячий Север» — сначала к вышкомонтажникам Александровской нефтеразведочной экспедиции, затем к строителям нефтеграда Стрежевой, начало которому положили бойцы томских студенческих стройотрядов. И лишь после этого довелось побывать мне у авиаторов и



геофизиков в городе Колпашево на Средней Оби. Здесь окончил учительский институт мой предшественник по отделу писем «Красного знамени» Виль Липатов. Так и продолжилось мое заочное знакомство с его жизнью и творчеством.

К тому времени, поработав собкором «Советской России» в Чите и Брянске, Липатов перебрался в Москву и стал спецкором сразу нескольких центральных газет: с одной стороны — «Правды» и «Известий», с другой — «Литературной газеты» и «Литературной России». Два начала боролись в нем, «но не на смерть», как пошучивал Борис Ростиславович Бережков. А еще он пошучивал: «Ох и далеко яблоко от яблони откатилось! Как бы чужие дяди по ошибке его не съели...»

Подлетая к Колпашеву на трудяге-самолете Як-12, я невольно залюбовался открывающейся панорамой. На высоком крутом яру величаво смотрелся просторный, уходящий к пойме городок. Обские старожилы называют такие яры на удивление метко и образно: *прилавками* или *гляденьями*.

Колпашевский глядень подчеркивал полусельский-полугородской облик этого исторического поселения. В нем было много света, зелени и тополиного пуха. Стоит ли удивляться, что четыре века назад сургутский казак Первуша Колпашник срубил именно здесь дозорную деревеньку? Рядом стали селиться служилые, гулящие, пашенные и ремесленные люди. Одного не учли: Обь не просто река, а река-море, особенно в пору весеннего *поломая*, когда она выходит из берегов и, смывая все на своем пути, затопляет окрестные *долы* и *кулиги*. В эту пору ее иначе, чем *Обское Велиководье*, не назовешь. День за днем, год за годом подмывает и обрушивает оно крутое правобережье, меняя русло. Трудно сосчитать, сколько поселений за минувшие века оно разорило и снесло. Теснит и Колпашево. Но город стоит наперекор стихиям, трудится и растет.

Нигде раньше не встречал я улиц, мощенных круглыми деревянными чурочками, а в Колпашево — пожалуйста. Увидел и залюбовался. Очищенные от коры, просушенные и просмоленные, заглублены они в землю на двадцать-тридцать сантиметров.

Вот она какая — торцовая мостовая из дерева! Ни пыли на ней, ни шума от машин. Слово по узорному паркету идешь.

Непривычно смотрелись и окраинные улицы, отсыпанные толстым слоем опилок. Они пружинили под ногами, хорошо впитывали грязь, наполняли воздух острыми лесными запахами.

А того более запомнился мне лесопромышленный поселок Тогур, где прошло детство Липатова. Расположен он в междуречье Оби и ее правого притока Кети. В переводе с кетского языка Тогур — это «соленая река». Со временем здесь возникло *село казацкого рода* с богатыми ежегодными ярмарками и церковью во имя Воскресения Господня. Построена она в стиле сибирского барокко двести без малого лет назад. Кирпич, известь, железо для ее постройки доставлялись сюда по зимнему Нарымскому тракту из купеческого Томска. На передних санях рождественского обоза ставился расписной деревянный киот на шесте и дорожная икона. Иными словами — ямщицкая часоушка-столбовка. Чем не крестный ход, сопутствующий святому делу?

От Колпашева до Тогура всего-то семь километров. Наверное, поэтому в моей памяти они живут как единое целое: город и его рабочее предместье. Липатов рос в том и другом. Наверняка и на занятия в учительский институт добирался из Тогура чаще пешком. На велосипеде, конечно, было бы удобней и быстрее, но вряд ли у него был тогда велосипед. Шла война...

Эта командировка расширила мои представления о Липатове. Она помогла представить то, что окружало его в детстве и юности, формировало характер,



а затем и писательский стиль. Далеко не все из того, что я узнал и увидел в Колпашеве и Тогуре, отразилось в его произведениях. Оно и понятно: не хотел копировать очевидное, стремился создать свой живой, реальный и вместе с тем особенный книжный мир. Отсюда и появился в его прозе тот налет театральности, которая нет-нет да и дает о себе знать...

«Пора братья за словари...»

И вновь потекли редакционные будни. Пролетел год, другой. За это время, по словам Бережкова, я «оперился», почувствовал вкус «газетной поденки», перешел из отдела писем в отдел науки и школ и даже написал свой первый, весьма посредственный, рассказ.

А Липатов в это время прогремел циклом повестей и рассказов «Деревенский детектив». Они печатались в журнале «Знамя», «Роман-газете», издательстве «Молодая гвардия», переводились на румынский, словацкий, чешский и другие языки. На киностудии имени М. Горького, по сообщениям прессы, режиссер И. Лукинский начал снимать художественный фильм с тем же названием. Имя Липатова стало популярным.

И вдруг в августе 1968 г. получаю от него письмо:

Дорогой Сергей! Мы с Вами не знакомы, но Томск и газета «Красное знамя» — мои родные люди, так что я решил отбросить формальности и написать Вам.

Недавно я встречался с И. Фoniaковым, с которым разговорились о родных местах, о томичах, и о том, что в Университете вышло уникальное издание «Русские старожильческие говоры», так нужное мне для работы.

— Мои друзья-томичи, — сказал я Илюше, — обманули! Обещали, но так и не прислали книгу.

— Я знаю, кто может достать! — ответил Илья и назвал Ваше имя, присокупив к тому, что вы с ним друзья.

Вот и обращаюсь к Вам с нижайшей просьбой: если возможно, приобретите для меня за любую цену. Ей-бо, стану Вашим вечным должником!

Мой большой привет А. Новоселову, И. Мизгиреву, Н. Василенко, Б. Бережкову, М. Мальцеву, С. Кропачеву и всем, кто мне дорог, а в «Красном знамени» мне дороги все.

Борьке Бережкову скажите, что я его люблю, но он — чушка. Уехал — и хоть бы хны!

Искренне Ваш
Виль Липатов

В те годы поэт Илья Фoniaков был собственным корреспондентом «Литературной газеты» по Сибири. Он часто бывал в Томске, курировал начинающих авторов. Вот и мне он написал предисловие к той самой мини-книжке «Поиск», о которой я упоминал в самом начале.

Ко всему прочему, Илья Олегович был заядлым книжником. Приезжая в Томск, он любил бывать в издательстве ТГУ и меня увлекал за собой. После одного из таких посещений и появился в «Литературной газете» его восторженный отклик. Начинался он так:

У меня в руках книга. Интереснейшая. Если найти соответствующий «угол зрения», ее можно читать с увлечением, как хороший роман. Это «Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби», том первый. Полистать такую книгу, окунуться в это море слов — не слов-символов, лишенных цвета и аромата, а слов-образов, — ох как здорово и здорово!



«Ну вот, — потеплело у меня на душе, — и до Липатова докатился отзвук той восторженности...»

Мысленно поблагодарив Фоянкова за дружескую рекомендацию, я отправился передавать привет от Липатова коллегам, в первую очередь — Бережкову. Оказалось, это он, будучи в Москве, обещал выслать Липатову словарь, да «дела заели».

Тут Бережков свойски хохотнул и жизнерадостно добавил:

— Я же обещал тебя с Вилем познакомить, вот и радуйся. Пути Господни неисповедимы...

Выполнить просьбу Липатова оказалось не так-то просто. Вышло уже три тома искомого им «Словаря русских старожильческих говоров». Первый давно стал библиографической редкостью. Второй и третий с дарственной надписью редактора Веры Владимировны Палагиной, доктора филологических наук, профессора, одного из моих университетских наставников, и свою книжку стихов «Весна сбывается» я отправил Липатову. Тогда же отослал только что вышедший третий том «Словаря» Виктору Петровичу Астафьеву и Илье Олеговичу Фоянкову.

С Астафьевым я и моя жена, прозаик Тамара Каленова, познакомились в 1966 г. на Кемеровском совещании молодых писателей Урала, Западной Сибири и Алтая. В то время Виктор Петрович жил в Перми и был уже довольно известным автором. Ему выпало вести прозаический семинар, а мои стихи обсуждались на одном из поэтических. Вероятно, это нас и сблизило. Он не был моим руководителем, я не был его семинаристом. Меня тянуло к прозе, его к поэзии. Он подарил нам с Тamarой сборник рассказов с красноречивым названием «Поросли окопы травой» и великолепно оформленную повесть «Последний поклон», мы ему в ответ — свои тоненькие ученические книжки. К ним «для весомости» я и присовокупил первый том ставшего популярным «Словаря русских старожильческих говоров».

И тут же получил благодарный отклик:

Дорогой Сережа! Спасибо тебе за книги. «Словарь» мне просто позарез необходим. Я ведь живу далеко «от родной реки», а память, как бы она ни была устроена, истощается и устаёт от эксплуатации, вот и помогают такие книги в работе...

Ну всего доброго. Пусть тебе хорошо работается. Это главное.

В. Астафьев

Тогда я и подумать не мог, что «Словарь» в будущем свяжет меня и с Липатовым. Пути Господни, действительно, неисповедимы...

Липатов отдался сборником хорошо знакомых мне рассказов «Самолетный кочегар», в который также входила и повесть «Зуб мудрости». К нему приложил такое вот письмецо:

Дорогой Сергей! Ну спасибо, дружище! Знали бы Вы, как я наслаждаюсь, читая. Лежу, хохочу, взрываюсь.

Еще раз сердечное спасибо. Может быть, со временем обнаружится и первый том, тады я — на коне. Но и за это — весь Ваш.

Палагиной немедленно вышлю книгу.

Опять привет всем друзьям.

Вашу книгу непременно прочту, а сейчас тороплюсь отблагодарить за книги.

Ваш Виль Липатов



Следом пришло письмо от Астафьева:

Дорогая Тамара!
Дорогой Сережа!

Я и не знаю, как и чем мне благодарить вас за присланные книги! Вы даже и не представляете себе, как они мне нужны! А не представляете оттого, что живете в той языковой стихии, в какой и работаете. Чтобы ощутить разницу в этой, громко названной «стихии», надо долго слушать перелив интонации, строй говора, да и сами слова, как это произошло со мной. Пока я был молод и ткань моей памяти была гибкая, перенасыщена «материалом», да и с языком в своей работе я обращался вольно, несло меня «стихией», все было более или менее... Но вот заскорбла «ткань», поистратились «запасы», да и сама моя прекрасная память пооскудела, износилась, ибо эксплуатировал я ее беспощадно (никогда ничего не записывал, носил ее, и без того перегруженную, полную мусора, матерщиной и всякой всячины), словом, пришла необходимость браться за словари, и тут мне как воздух нужны сделались словари сибирских говоров, а у меня их кот наплакал: один красноярский, да те, что вы в тот раз прислали (в особенности ценна книжка — «Словарь фразеологизмов»). Если бы вы видели, как досконально, до дна я изучал их и как много пользуюсь вашими книгами, то и поняли бы, отчего я так тронут и благодарен за эти книги.

Сам я «материально» пока ничем вас отблагодарить не могу, чтоб «по весу» равно было. Вот посылаю книгу превосходного нашего писателя Василия Ивановича Белова, ибо до вас она едва ли дойдет, и буду рад, если мой «подарок» вам придется по душе...

Ну, еще раз спасибо, люди добрые. С новосельем вас! Пусть вам хорошо пишется и дышится! Поклон от меня домашним. Я вас обнимаю.

Ваш Виктор Петрович

В начале 1969 г. меня назначили редактором томской областной газеты «Молодой ленинец». Предстояло лететь на утверждение в ЦК ВЛКСМ. Первый том «Словаря русских старожильческих говоров», как и предполагал Липатов, к тому времени счастливо «обнаружился». Появилась возможность лично вручить его Вилю Владимировичу. И надо же такому случиться: в Москву я вылетел в тот самый день, когда вместе с поэтами Марком Лисянским и Михаилом Таничем Липатов вылетел в Томск. Как я узнал потом от Бережкова и других «краснознаменцев», свое пребывание здесь он не афишировал. С кем захотел — встретился, тех, кому не симпатизировал, стороной обошел. Спрашивал обо мне, хотел руку пожать, да не судьба.

В Тогуре тоже побывал. Руководители Колпашевского райотдела милиции попросили его встретиться с милицейским коллективом района. Народ там собрался любознательный. Засыпали Липатова вопросами. Всех интересовало, откуда родом герой «Деревенского детектива» Федор Иванович Анискин. Одни утверждали, что из Колпашевского района, другие возражали — из Парабельского, третьи настаивали — из Каргасокского. Липатов ответил:

— В детстве я знал одного милиционера по фамилии Анискин. Смутно помню, что он был толстый, страдал одышкой, двигался медленно и отличался необыкновенной добротой. От этого Анискина исходило ощущение всеобщей нужности. Со всех сторон слышалось: Анискин приедет, Анискин найдет, Анискин поможет. Однажды я украл у дяди ружье, добыл три патрона и, как истый сибирячок, отправился на охоту. Но охоты не получилось: Анискин как чувствовал, что с ружьем я могу натворить бед. Этот полузабытый, детский мой, всем очень нужный Анискин и стал прототипом участкового уполномоченного



в «Деревенском детективе». Это собирательный образ, но, как и большинство действующих лиц моих книг, он имеет реальные истоки.

Всезнающий Борис Ростиславович Бережков, тучностью и неукротимой энергией живо напоминающий книжного Анискина, не преминул дополнить:

— А ведь на образ деревенского детектива Виль еще в пору своего «краснознаменства» вышел. Дело так было. Дала ему Электричка задание об участковом уполномоченном из Старой Ювалы Кожевниковского района очерк написать. Заслуженный человек. Майор милиции. Как сейчас помню фамилию — Шинкевич, Александр Григорьевич. Более тридцати лет он на одном месте отрубил. Всех сельчан наперечет знал. Авторитетом пользовался оглушительным. Ну, Виль ноги в руки — и айда в Старую Ювалу, благо она у Томска, считай, под боком. Неделю с Шинкевичем на службу ходил. Смотрел. Слушал. Записывал. Те записи ему теперь ой как пригодились...

Вслед за кинофильмом «Деревенский детектив» были сняты два телевизионных фильма по рассказам Липатова — «Анискин и Фантомас», «Снова Анискин», фильм-спектакль «Развод по-нарымски», поставлены радиоспектакли «Стерлядь — рыба древняя», «Анискин и чудеса». Они и открыли произведениям Липатова путь в кинематограф. По рассказу «Мистер Твистер» снят одноименный короткометражный фильм (1969), по повести «Сказание о директоре Прончатове» — трехсерийный телефильм «Инженер Прончатов» (1972), «Ленфильм» выпустил ленту «Иван и Коломбина» (1975), а «Мосфильм» — «Три солнца» (1976).

Встречи

Впервые с Вилем Липатовым я встретился в декабре 1975 г. на IV съезде Союза писателей РСФСР. Проходил он в Москве в зале заседаний Большого Кремлевского дворца. На съезд я попал в качестве гостя и согласно пригласительному билету отправился на балкон. Но во время перерывов делегаты и гости перемешивались и, оживленно беседуя, перетекали с места на место или в гордом одиночестве бродили по фойе, оглушенные кремлевским великолепием и государственной важностью события, участниками которого им довелось стать.

Поначалу и я все ходил да разглядывал. Перездоровался с теми, кто одновременно со мной прошел обкатку на региональных и всесоюзных совещаниях молодых авторов и благодаря этому дорос до участия в писательском съезде. Но таких было сравнительно немного. Зато на каждом шагу попадались писатели с известными литературными именами и громкими званиями. Как пошутил Виктор Петрович Астафьев, только что удостоенный Государственной премии РСФСР: «по одному фигуранту на квадратный метр кремлевской площади».

В число этих фигурантов наконец-то попал и Виль Липатов. Известностью он был и прежде не обделен, но лишь теперь, в сорок восемь лет, за роман «И это все о нем» получил свою первую всесоюзную премию имени Ленинского комсомола.

На съезд он пришел с женой, киносценаристом Ириной Ильиничной Мазурук. Вместе они написали сценарии к трем кинофильмам по произведениям Липатова.

Заметив меня, Виль Владимирович сделал приветственный жест рукой. Затем, сказав что-то своей привлекательной спутнице, направился в мою сторону. Я поспешил навстречу.

— Ну, здравствуй, дружище, — крепко стиснул он мою ладонь. — Наконец-то увиделись... А я думаю: ты это или не ты? Книжные снимки хороши, когда автор рядом... Кстати, поздравляю. Ты нынче именинник. Видел твою новую книгу на выставке в Комитете по делам издательств... Ту, что вышла в серии «Молодая проза Сибири». Две повести. Солидно. Надеюсь, ты мой домашний адрес не забыл и догадаешься прислать дарственный экземпляр?

— Догадаюсь, — подтвердил я и в свою очередь поздравил его с премией Ленинского комсомола.

— Ну, рассказывай, что в Томске делается, — поторопил он меня. — Кто из ваших на съезд прибыл? Как Боб Бережков поживает? Как жизнь молодая?

Я начал рассказывать, но тут к нам подошел Владимир Алексеевич Чивилихин. Представляя ему меня, Липатов подчеркнул, что мы — коллеги не только по писательскому, но и по журналистскому цеху: в одной газете работали...

— На одном стуле сидели, в одну «непроливашку» перья макали, — подстроился к нему я.

Сам не знаю, что на меня нашло.

Но Липатов не обиделся.

— Ну-ка, ну-ка? — по-бережковски хохотнул он. — О какой «непроливашке» речь? Я что-то позабыл. Напомни.

Я и рад стараться. Как можно забавней обрисовал письменный прибор, хранившийся в моем редакционном столе.

Не раз после этого встречались мы с Вилем Владимировичем в правлении Союза писателей, в Центральном Доме литераторов, в Доме творчества «Переделкино».

В 1977 г. внимание всесоюзного читателя привлекли новые произведения Липатова: роман «Игорь Саввович», повести «Житие Ванюшки Мурзина» и «Повесть без названия, сюжета и конца». А на экраны вышел телевизионный художественный фильм в шести сериях по роману «И это все о нем» с И. Костолевским, Е. Леоновым, Л. Марковым, Э. Виторганом и Л. Удовиченко в главных ролях. Он вызвал неоднозначные мнения.

Помню, на одной из читательских встреч Виктора Петровича Астафьева спросили, есть ли у нас в стране «массовая культура» и как он относится к творчеству Виля Липатова. Вопрос был задан явно с подвохом. Астафьев ответил:

— Массовая культура в сегодняшнем понимании — это западная, потребительская культура, отрицательно влияющая на отечественную. Отголоски ее, конечно же, есть и у нас. Прежде всего, это упрощенность и бездумная развлекательность. Становится нормальным петь без голоса, писать без таланта, рисовать как курица лапой, снимать фильмы без мало-мальского профессионализма, лишь бы это завлекало, возбуждало, уводило в область инстинктов и иллюзий. Но, слава богу, мы живем в стране Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, великих композиторов и художников, ученых и просветителей. А эта часть культуры куда как более массовая. Наш читатель и зритель сам отыскивает в гуще произведений литературы и искусства то, что его волнует, укрепляет духовно и нравственно. Мне кажется, именно такой популярностью пользуются ныне лучшие произведения Виля Липатова. Это неровный, но очень крепкий и ответственный писатель со своим миром и темами, со своим словом и сибирским сердцем.

— А что вы относите к его лучшим произведениям?

— Прежде всего образ Анискина, повести «Серая мышь», «Еще до войны»... В них есть реальная жизнь во всей ее многомерности. Но, чтобы почувствовать это, нужна заинтересованность и непредубежденность...



Однажды случай свел нас с Липатовым в Центральном Доме журналистов. Туда мы пришли с Геннадием Комраковым. В мои «краснознаменские» годы он был собственным корреспондентом газеты «Известия» по Томской области. Каждая его публикация вызывала десятки, а то и сотни читательских откликов. Из Томской области его перебросили в Киргизию, затем в Ярославль и, наконец, в Москву. Но связи с Томском Комраков не терял, неоднократно публиковался на страницах «Красного знамени». Став одним из «золотых перьев» «Известий», он получил известность и как писатель. Достаточно вспомнить его повести «За картошкой» и «До осени полгода», опубликованные А. Твардовским в журнале «Новый мир».

Как ни странно, Липатов и Комраков до той встречи в ЦДЖ лично знакомы не были. Узнав, что Комраков писатель и журналист в одном флаконе, Липатов преисполнился к нему интересом. А когда выяснилось, что «флакон» этот томского производства, тут же пригласил нас в буфет отметить это замечательное событие.

И начался вечер воспоминаний. Замелькали имена наших общих знакомых и, конечно же, журналистов «Красного знамени». Всплыли в памяти связанные с ними случаи из газетной практики, публикации, реакция на них тех или иных руководителей... Слушая своих старших товарищей, я вдруг остро ощутил, что каждое поколение сотрудников газеты «Красное знамя» — это не просто свой мир, свой круг, это еще и своя эпоха. При Липатове ведущее место занимало лесное хозяйство, вот он и писал прежде всего о нем. Мы с Комраковым ступили на «газетную тропу», когда началось бурное освоение нефтяного Севера, строительство нефтеградов — Стрежевого и Кедрового, Нефтехима, животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных хозяйств, Академгородка, учреждений культуры и многого другого. Потребовались сотрудники, умеющие действовать нестандартно, энергично, с заглядом на будущее. А где их взять? Пришлось учиться на ходу, что-то теряя, что-то обретая.

Липатов приумолк, погрузился, потом признался:

— Знали бы вы, братцы, как в Томск тянет... Однако боюсь, что он теперь другой. Шибко осовременился. Да и я переменялся... Вроде бы газетчик и писатель — два сапога пара, но это с какой стороны посмотреть. Газетчик, условно говоря, это изделие обувной фабрики «Скороход», а писатель — из артели народных промыслов. Вот и получается: один сапог из кирзы, другой из хрома. Один глядит влево, другой вправо. Как быть?

— Приспустить на сапоги штанины, — ослепив нас широкой улыбкой, шутливо посоветовал буйноволосый Комраков. — Из-под них сапоги будут казаться ботинками. А еще лучше — роман о газетчиках написать, чтобы не было раздвоенности. Ведь профессия эта особая. Она свой образ жизни имеет, свою философию, свой поиск истины.

— А я и пишу, — оживился Липатов, — но урывками. Все что-то мешает... В газете как было? Сегодня написал — завтра или послезавтра опубликовали. С литературой не так. На нее годы уходят: доделки, переделки, новые редакции, умные разговоры о культуре писательства... Терпеть их не могу! Баловство это, трата времени. Каждому из нас свой срок отпущен. Я свой без медиков знаю. Года два, три... Такое ощущение, будто головой в потолок уперся. Астафьев, как всегда, шутит: это, мол, маята сочинительства. Поживи еще, осмотрись, мыслишек свежих поднакопи — глядишь, потолок и подыметесь... Он ведь у нас известный балагур. Скажет — как спляшет. Мог бы и промолчать...



Признание Липатова застало меня врасплох. Больным он не выглядел. Скуластое выразительное лицо с волевым подбородком; пылливый прищур глаз из-под круто изогнутых бровей; усы треугольником; окладистые, до плеч, волосы; круглая челка на лбу. Похож то ли на старосветского помещика из романов восемнадцатого столетия, то ли на художника-передвижника. Со времени нашей последней встречи в его плотной приземистой фигуре появилась не сразу бросающаяся в глаза болезненная сутуловатость. Неужели он и вправду свой «потолок» чувствует? В это не хотелось верить.

— А может, вы не так друг друга поняли? — предположил я. — Виктор Петрович, действительно, пошутить любит, но без обиды. И к вам хорошо настроен. Он сам это говорил.

— Когда?

Я пересказал ответ Астафьева на читательской конференции.

Липатов как-то обмяк, повеселел, поднял тост за Астафьева:

— Виктор — он такой... Непредсказуемый. Нас ведь с ним вывел в люди Александр Николаевич Макаров, критик милостью божьей... Это я о серии его статей «Во глубине России»... Но я помладше Астафьева на три года. Фронта не нюхал, а это целая жизнь! Вот он и пошучивает на правах старшего. Недавно «поселковым деревенщиком» меня назвал, «дитем природы из Тогура». Приходится терпеть. А ничего и не поделаешь. Пусть ему дольше живется и шутится...

Под конец нашей затянувшейся допоздна встречи я спросил у Липатова: написал ли он повесть о женщине — вальщице леса со старинным именем Фиона?

— Хотел, — признался он, — да вовремя понял, что это ложный ход. Женщина может все, но должна ли?..

Предчувствия его не обманули. Липатову суждено было прожить всего пятьдесят два года (1927—1979). Уже в больнице, неизлечимо больной, Виль Владимирович дописывал свой последний роман с необычным названием «Лев на лужайке». Действие его завязывается в редакции областной партийной газеты «Знамя» старинного сибирского города Ромска, а заканчивается в стенах столичной газеты «Заря». Молодой, удачливый и талантливый журналист Никита Ваганов, кривя, где надо, совестью, предавая близких и друзей, делает головокружительную карьеру — становится главным редактором «Зари». Он убеждает себя, что такая власть нужна ему ради «власти над делом». Однако, достигнув желанной цели, он вдруг начинает понимать, что все эти годы служил не людям, а начальству, не правде, а ее миру. Это и погубило его талант. А еще непомерное честолюбие.

Имена персонажей, по-липатовски лишь слегка закамуфлированные, подсказывают, кого из сотрудников газеты «Красное знамя» он имел в виду. На мой взгляд, не надо бы делать такие прозрачные намеки... Однако тот же Борис Ростиславович Бережков не согласился со мной.

— Все мы люди, все мы человеки, — пояснил он. — Кому-то нравится портреты на Доску почета клепать. А Виль всю жизнь искал живые краски. Ретушь терпеть не мог, хотя порой и сам на нее сбивался. В том же Столетове из его премиального романа «И это все о нем», к примеру. Зато в истории Никиты Ваганова не только критика есть, но и самокритика. Какие-то неважные черты и моменты из собственной жизни он ему, как к мишени в тире, прилепил, чтобы потом по ним пальнуть. Не у всякого на это духа хватит, а у него хватило. — Тут Бережков умолк, а потом горестно добавил: — Болезнь свою работой глушил. В Томск памятью рвался. Подтрунивал над нами, как бывало. Значит, жить хотел...

Память

А теперь вернусь к «Словарю русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби», с которого началось мое личное знакомство с Вилем Владимировичем Липатовым и продолжилось — с Виктором Петровичем Астафьевым. В 1997 г. за этот уникальный семитомный труд коллектив языковедов Томского государственного университета был удостоен Государственной премии РФ в области науки и техники (В. В. Палагина посмертно). Горячо ратовали за такое решение писатели Виктор Астафьев, Валентин Распутин и другие. Уверен, что в этом ряду был бы и Виль Липатов, проживи он дольше. Об этом свидетельствует такой вот отрывок из статьи Астафьева «Очарованные словом», опубликованной журналом «Студенческий меридиан» (№ 5-6 за 1997 г.):

Помню, давно уже Виль Липатов, почти безвылазно живший в переделкинском Доме творчества, зазвал меня в свою комнату и, любовно оглаживая скромно изданную книгу, заявил: «А вот этого-то у тебя нет, хоть ты и в сибиряках числишься». — «А вот и есть!» — отвечивал я. Тогда Липатов начал выбрасывать из тумбочки и из стола словари томичей: «А это? А это?» — и, узнав, что томичи присылают мне в Вологду словари, и красноярцы присылают, и комплименты, которыми меня осыпают критики и читатели за знание родного языка, надо бы адресовать на кафедры русского языка Томского университета и в Красноярский пединститут, Виль Липатов мрачно сказал, мол, ты хоть по Москве не трепись, что эти сокровища у тебя есть, я ж всем показываю, хвастаюсь ими, — и, что было для него не характерно, грустно добавил (а было это незадолго до его преждевременной смерти): «Больше-то мне нечем, вот и хвастаюсь словарями да тем, что я — сибиряк».

Это признание и впрямь не характерно для Липатова. Ему было чем гордиться. Но при этом он понимал: всем, чего он успел добиться в литературе, он обязан прежде всего живому великорусскому языку, необыкновенно богатому смысловыми оттенками, народными говорами, фольклорной стилистикой, вновь созданными словами и выражениями. Он читал и перечитывал «Словарь» как художественную литературу, радуясь все новым и новым открытиям, печалась, что не сможет использовать их в произведениях *уходящего будущего*...

Творчеству Липатова посвящены десятки литературоведческих работ, научные диссертации. В них разбираются тема труда, проблема героя, конфликты, характеры, жанровые формы, эстетический идеал, диалектная лексика, место Липатова в советской прозе... Но самая оригинальная работа, на мой взгляд, — книга американской славистки из Принстонского университета Кэтлин Партэ «Русская деревенская проза: светлое прошлое» (другое ее название — «Два сыщика в поисках деревенской прозы»).

Кэтлин Партэ достаточно точно и объективно проанализировала произведения лучших советских «деревенщиков» 50—80-х гг. прошлого столетия на примере «Деревенского детектива» Вили Липатова и «Печального детектива» Виктора Астафьева. Радует, что эта монография увидела свет не только в Принстоне и Санкт-Петербурге, но и в Томске, на родине писателя. У нас ее выпустило издательство ТГУ в переводе с английского сотрудников университета И. М. Чеканниковой и Е. С. Кирилловой.

В феврале 1983 г. в Томске состоялась премьера двухсерийного телевизионного художественного фильма «Еще до войны», созданного на киностудии имени А. Довженко. Ряд эпизодов этой ленты снимался в окрестностях села



Ярское Томского района. Четыре года спустя на той же киностудии экранизирован роман Липатова «Игорь Саввович» (в трех сериях). И вновь массовые сцены к нему снимались под Томском. Затем Свердловская киностудия создала фильм «Серая мышь» по мотивам его одноименной повести. Продолжали издаваться его книги. В театрах Москвы, Ленинграда, Тюмени, Свердловска и других городов ставились спектакли. В издательстве «Молодая гвардия» вышло собрание сочинений Виля Липатова в четырех томах. В том же издательстве впервые был опубликован его роман «Лев на лужайке». У многих читателей и зрителей это вызывало обманчивое чувство, что писатель жив и продолжает активно работать. Думаю, Липатов был бы счастлив, узнай он об этом...

«Я, как и большинство коллег, не собирался быть писателем, но стал им не случайно, — признавался он. — Видимо, это единственный способ моего существования на этой круглой и теплой земле».

«Круглой и теплой» томской земле есть что помнить и кем гордиться. Не затерялось в ее памяти и светлое имя Виля Липатова. Вскоре после его смерти областное отделение Союза журналистов СССР учредило ежегодную Липатовскую премию в области журналистики. Для опытных сотрудников газет, радио и телевидения она стала знаком признания их заслуг, для молодых — путевкой в жизнь, творческим ориентиром и напутствием. Премия присуждалась десять лет. Если бы не «лихие девяностые», присуждалась бы и дальше.

Трепетно сохраняют память о Липатове жители города Асино. Бывшая улица Промышленная теперь носит его имя, а на районной библиотеке имени В. В. Липатова (здесь размещалась раньше редакция газеты «Причудымская правда») в его честь установлена мемориальная доска.

Есть улица имени Липатова и в рабочем поселке Тогур Колпашевского района. Кроме того, здесь создана парковая аллея в его честь. Самое заметное здесь — деревянная скульптура человека, отдыхающего на одной из скамеек. Присмотревшись, вы понимаете, что это не кто иной, как участковый милиционер Федор Анискин — знаменитый «деревенский детектив». Задумавшись, он решает одну из своих служебных головоломок.

А Томское отделение Союза писателей России не первый уже год проводит в Асине, Тогуре и Колпашеве Липатовские чтения. Один из пятнадцати томов библиотеки «Томская классика», изданной нашей писательской организацией, знакомит современного читателя с избранными повестями и рассказами Виля Липатова.

В Доме искусств, где мы размещаемся, создан Литературный музей. Очень жалею, что не сохранил для него тот чернильный прибор с «непроливайшкой» Липатова, который счастливо достался мне полвека назад и который я по свойственной молодости беспечности не сберег.



Олег СИДОРОВ (АМГИН)

«МНОЙ ОСТАВЛЕННЫЕ ПЕСНИ В СТОЛЕТИЯХ СОХРАНИТ НАРОД...»

О Платоне Ойунском

В один из холодных ноябрьских дней далекого 1893 г. в юрте, уютно расположенной в аласе со звучным названием Дэлбэрийбит¹, увидел свет мальчик, которому будет суждено исполнить судьбу защитника и преобразователя Срединной земли якутов, предначертанную его великими предками — шаманами и олонхосутами². Он позже опишет родные места: «цветущий алас, трав зеленая гладь, мое отчее поле, где родился и рос... сияющий чудный простор, журавлиные клики, журавлиная статья...». Нарекли его именем Платон — в честь родного дяди и согласно церковному календарю — как родившегося накануне дня святого Платона³. Мальчику из якутской глубинки предстояло пройти полный взлетов и падений жизненный путь, в чем-то схожий с тем, что прошел святой покровитель его именин. Так сошлись звезды, расписав в книге судьбы Платона Слепцова совершенно немислимые зигзаги: от глашатая революционных идей до возродителя якутского эпического и мифологического слова и сознания.

Платон родился и рос в многодетной семье. Ничто не предвещало его блистательной карьеры в политике и поэтической судьбы — до поры до времени, до тех пор, пока у него не раскрылся талант певца-импровизатора. Его очаровали слова и образы олонхо, которые упитительно исполнял его сосед и дальний родственник Пантелеймон Слепцов. Когда Платон учился в Якутске, он каждое лето приезжал к родным, помогал по хозяйству и, как вспоминал его сверстник и друг детства Кузьма Алексеевич Слепцов, все так же жадно тянулся к олонхо и песням. Практически каждый день он бывал в гостях у Пантелеймона и записывал себе в тетрадь притчи и легенды, которые тот рассказывал.⁴

Когда Платон впервые исполнил олонхо, вначале для своих сверстников, ему было лет восемь-девять. В автобиографии он писал впоследствии:

У меня в детстве воображение было богатое, красочное, рассказывал красноречиво. Получал приглашение тоенов, которые на досуге наслаждались по длинным зимним ночам моими рассказами.

¹ *Дэлбэрийбит*, алас (якут.) — малая родина Платона Ойунского, находится примерно в восьми километрах от села Черкёх. Здесь создан мемориальный музей-усадьба. «Дэлбэрийбит» в переводе на русский — «трескаться, лопаться, взрываться». Алас — «поляна», форма рельефа, представляет собой пологосклонную и плоскодонную ложбину круглой или овальной формы, образованную при вытаивании подземных льдов, усадке грунта и т. д. В дореволюционное время для якутов была характерна т. н. аласно-дисперсная система расселения: на одну семью собственный алас.

² *Олонхосут* (якут.) — исполнитель якутского героического эпоса олонхо.

³ Святой мученик Платон // Русская православная церковь. Официальный сайт Московского патриархата [Электронный ресурс] / URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/912651.html>.

⁴ Слепцов К. А. Из детских лет писателя // П. А. Ойунский. Статьи и воспоминания. Якутск, 1969. С. 101.



Детство Платона прошло в мире необычном, овеянном мифами и легендами. Его с юных лет окружали сказители-олонхосуты, народные певцы, чьи рассказы казались частью реальной жизни. Якуты жили в мифологизированном мире, полном бесчисленных духов. Всем, что происходило на земле, правили духи, алгысчыты (заклинатели), шаманы. При этом древняя вера легко сочеталась с православием, это двоеверие было устойчивым. Но большинство понимало, что есть еще другой мир, воплощением которого являлся город Якутск — богатый, просвещенный, блистательный. Многие якутские семьи стремились дать своим детям образование, но не всегда удавалось то, чего желали и родители, и сами дети. Но если это желание обращается в стремление действовать, то всего можно добиться. Так Платон оказывается в Якутске и окунается в совершенно другой мир.

Тут следует объяснить один из символических поступков Платона Алексеевича, на мой взгляд, оказавший мистическое влияние на его жизненный и творческий путь. Мы знаем его как урожденного Платона Алексеевича Слепцова. Но в историю он вошел под своей приобретенной звучной фамилией Ойунский. Фамилия Ойунский происходит от слов «ойуун» (шаман) и «уус» (род) — Ойунускаяй, то есть «из рода шаманов».

По якутским поверьям считается, что род и происхождение определяют судьбу человека. Платон начал использовать псевдоним Ойунский, еще обучаясь в Якутском четырехклассном училище. А в 1920 г. официально оформляет псевдоним как фамилию. Газета «Ленский коммунар» в номере от 18 декабря 1920 г. опубликовала небольшое извещение «О перемене фамилии», в котором сообщалось:

Протокол № 1. 1920 г. Ноября 29 дня. В якутский местный отдел ЗАГС поступило от гражданина, заготовсуправ Якутгубревкома Платона Алексеевича Слепцова заявление о перемене им своей фамилии. На основании означенного заявления... П. А. Слепцов впредь именуется фамилией Ойунский с соблюдением ст. 5 декрета Совнаркома «О правах граждан изменять свои фамилии и прозвища». Настоящий протокол, согласно ст. 3-й вышеуказанного декрета, публикуется во всеобщее сведение. Заготовзагса В. Румянцев.

Почему же он решил изменить фамилию? Известно, что многие большевики меняли свои фамилии на подпольные клички. Но почему именно Ойунский — однозначного ответа нет. Может быть, это было такое своеобразное вольнодумство, направленное против принятого весной 1920 г. решения губревкома о том, что «на территории Якутской области объявляется беспощадная борьба с шаманством, профессиональными шаманами и шаманской спекуляцией». Представителям советской власти — сельским ревкомам и милиции — предписывалось «строго преследовать всех шаманов, отбирать у них шаманские костюмы, бубны и разные символические деревянные изображения — эмэгэты, а также налагать штрафы за камлание: полученное шаманами вознаграждение в двойном размере. Все железные и медные символические принадлежности шаманских костюмов употреблять на нужды общества, а бубны, былайхи⁵ и деревянные изображения сжигать на местах».

Что удивительно, в защиту шаманов выступил тогдашний член Сиббюро РКП(б) Емельян Ярославский, будущий главный идеолог «воинствующих безбожников». В газете «Советская Сибирь» от 19 ноября 1920 г. на первой странице появилась его статья «Чем провинились шаманы?». Автор, прямо называя виновника — «Якутский отдел управления губревкома», пишет:

⁵ Былайхи — колотушки.



Ни с какой стороны нельзя назвать это решение правильным в Советском государстве. Я лично очень близко знаком с так называемой «черной верой» — шаманством, с которым беспощадную борьбу вело царское правительство как с «язычеством». Но что, собственно, такого особенного в этой «черной вере», что ее надо преследовать штрафами и арестами?.. Это распоряжение должно быть отменено, так как оно противоречит декрету об отделении церкви от государства. Что же, скажут якутские товарищи, значит, не надо бороться с шаманством, с этим грубейшим суеверием, опутывающим умы забитой, темной якутской массы? Конечно, надо бороться, но не теми средствами, какими боролись русские попы.

Дальше Ярославский называет «правильные» средства борьбы: культурно-просветительская работа, распространение точного знания и «полное экономическое раскрепощение человека». Хотя известно, что к шаманам обращались чаще всего при болезнях и увечьях, то есть из-за недостатка или отсутствия медицинской помощи.

В такой ситуации Платон Слепцов, инстинктивно осозная свою судьбу, крест своего рода, становится Платоном Ойунским. Так было предначертано в книге судьбы Платона, потомка великого легендарного шамана Кэрэкэнэ: стать тем, кем он стал — живым воплощением волшебного камня Сата, способного преобразовать мир саха.

Пылающий камень Сата

Одно из самых первых проявлений Платона как культурного деятеля — письмо из Томска его другу Максиму Аммосову. На исходе декабря 1917 г. он пишет свое вдохновенное слово, своего рода манифест, я бы назвал его манифестом нового мировоззрения, который, как окажется потом, предопределяет столбовую дорожку якутской культуры на протяжении всего трагического XX века и вплоть до наших дней.

Якут исключительно был поэт, но за отсутствием богатой письменности (родной) не усовершенствовал свой дар. Наша будущность — в совершенном развитии этой поэзии и нашего на вид бедного и тяжелого языка, но языка весьма гибкого, образного. *Наша история в том, чтобы свою литературу сделать общечеловеческим достоянием* (выделено мной. — О. С.). Кто откажет в своеобразной и родной прелести слога и содержания нашей сказки? Кто откажет в крупности дара первому драматургу В. В. Никифорову, творцу «Манчары»? Кто откажет в талантливости поэту Кулаковскому А. Е.? Кто откажет как выразителю своего времени таланту А. И. Софронова? У нас язык живой и гибкий.⁶

Эту идею, предложенную якутской интеллигенции, он сам лично воплощал в течение всей своей короткой жизни. Якутская литература не могла развиваться иначе, нежели на основе традиционной словесности. И человеком, угадавшим это свое и якутских литераторов предназначение, был Платон Слепцов.

Литературный дебют Ойунского, кстати, состоялся не в 1917-м, когда он по заказу Ем. Ярославского переделал для якутов революционную «Рабочую Марсельезу», как официально считалось в годы советские. А на самом деле намного ранее — с публикацией в ученическом журнале «Маяк» стихотворения, посвя-

⁶ Дорогой товарищ Максим! 27 декабря 1917 года // Дорогой Максим, у нас есть будущее, счастливое и мирное... / Сост. В. Н. Протодяконов. Якутск, 2013.



щенного графу Л. Н. Толстому. Стихотворение, подписанное «Жехсорусцов»⁷, было написано на русском языке; на смежной странице рукописного журнала Платон нарисовал портрет Толстого, подписав: «Мир не без добрых и гениальных. ПЖ». Увлечение творчеством классиков русской и мировой литературы было популярно в среде учащейся молодежи города Якутска. Платон Ойунский как личность сформировался именно в эти годы учебы в Якутске, поступив сначала в четырехклассную школу, потом продолжив образование в учительской семинарии. Платон становится одним из организаторов литературного кружка учащихся и так вовлекается в круговорот литературного творчества, соединявшего, на первый взгляд, несоединимое: идеалы русской классической литературы, коды древнего эпоса олонхо и революционную поэтику.

Начало XX в. было временем кристаллизации идейных позиций и формирования мировоззрения якутской интеллигенции, шел процесс объединения национальных сил. С 1907 г., с выхода первого номера первой независимой якутской общественно-политической газеты «Саха дойдута» — «Якутский край», начинается отсчет истории якутской журналистики на двух языках: русском и якутском. Постоянными читателями первых якутских газет и журналов были ученики школ и семинарии. Стремление к знаниям и просвещению овладевает умами поколения.

В литературе Ойунский создал свой, ни на что не похожий мир: реалистичный, с революционным накалом, и при этом мифологизированный — мир олонхо и древних преданий, гармонично сочетающихся с глобальными проблемами мироустройства, политики и реалий 1920—1930-х гг. Он революционер не только потому, что использовал революционную риторику, но и в том смысле, что стал зачинателем новых литературных форм в якутской художественной словесности.

Чем больше вчитываешься в Платона Ойунского, в его восхитительные своей одухотворенностью строки, в его прозаические и драматические произведения, тем больше они начинают раскрываться с неожиданной стороны. У него не было простых восхвалений революционной поры, ее романтизации, как кажется на первый взгляд. Начав свой путь как поэт-революционер, Ойунский мог остаться в истории только как поэт революции, но он выбрал свой путь. Он, скорее, модернист в творчестве. Он экспериментатор. Он сочетает революционный экстаз своих лучших стихотворений с фольклорной основой якутской поэзии, с символизмом, мистикой, мифологией.

В 1983 г. на юбилейном вечере в Москве, посвященном 90-летию Ойунского, переводчик⁸ его стихотворных произведений поэт Олег Шестинский поделился своими очень точными наблюдениями:

Стихи были широки по своей художественной палитре, по своему широкому дыханию, ибо они включили в себя и проникновенную лирику, обращенную к женщине, и печальную песню над могилой матери... Я почувствовал, может быть, интуитивно, какой он могучий поэт по ощущению различных явлений, происходящих в мире, какой гражданский поэт и какой тонкий лирик в одно и то же время... Ойунский разнообразен не только тематически, но и ритмически.

⁷ Жехсорусцов — один из первых псевдонимов Платона по названию его родного 3-го Жехсогонского наслега.

⁸ Произведения Ойунского переводили в разные годы Олег Шестинский, Владимир Державин, Валентин Корчагин, Анатолий Кафанов, Анатолий Сендык, Георгий Юнаков, Борис Макаров, Иван Дремов, Александр Лаврик, якутские авторы Альбина Борисова, Егор Сидоров, Владислав Доллонов и др. Иван Иннокентьев переложил рассказы «Александр Македонский» и «Соломон Мудрый» в пьесу на русском языке, поставленную на сцене Русского театра Якутии. Переводы произведений Ойунского издавались в известной серии «Библиотека поэта» в издательстве «Советский писатель» в 1978-м и в издательстве «Художественная литература» в 1993 г.

Большие строки, маленькие строки — все это перемежалось, создавало очень живой, разговорный поэтический язык. Я пытался воссоздать его по-русски, одновременно сохраняя ритмический рисунок. Это было трудно и потому, что якутская поэзия строится по другим принципам, чем русская. Якутская поэзия, как я ее понимаю, зиждется на аллитерации, на звукописи внутри стиха.

Заметим, что творческому почерку Платона Ойунского не чужды сатира и юмор. Он великолепный мастер-баснописец. Его кумир — Иван Крылов. Переводя его произведения, он не только учится, осваивая новый жанр, но и приближает его к якутской культуре. И это не привнесенный, «искусственный» жанр: нравоучение и сатира не чужды якутской устной традиции. Он сродни колючим, разящим насмешкой пословицам, песням чабыргах, сказкам, высмеивающим пороки людей.

Самый идеальный перевод не может передать полноты ощущений материнского языка произведения. Мы можем говорить только о понимании смысла произведения. Строки Ойунского на родном языке звучат совершенно по-другому, его язык — это «иччилээх, хомуһуннаах тыл», что значит «вещие, проникновенные слова», имеющие «магические, колдовские, волшебные силы». В чем же была сила его слова?

Тут уместно обратиться к мнению известного исследователя Бориса Шишло, писавшего:

Я хочу говорить об этой специфической силе якутского Слова, пытаюсь внести мой скромный вклад в понимание сути якутской поэзии. Для этого я хочу прежде всего обратить внимание на несколько специфических якутских выражений, найденных в конце XIX века известным лингвистом Пекарским. Например, «сангарбыга — сата былгыт буолла», что можно приблизительно перевести как «речь его стала как грозное облако Сата», или «сангатын сататын», что переводится «каков яд (буквально Сата) его речи», или еще «Аба-Сата», буквально «большая Сата», что Пекарский переводит как «сарказм, яд речи». Эти выражения трудно перевести и понять. И, чтобы раскрыть их глубокий смысл, необходимо уловить суть слова «Сата», которое является семантическим ключом к этим вербальным формулам⁹.

Затем Борис Петрович обращается к олонхо Ойунского «Ньургун Боотур Стремительный», в котором, по его мнению, автор «реконструирует во всех деталях то, что можно назвать мифическим реализмом прародины якутов». Ойунский описывает сотворение мира, когда в глубине долины преобразующегося хаоса находится пылающий красным цветом волшебный камень Сата. Обладатели этого камня имеют власть над миром, они всемогущи, они могут менять порядок вещей в природе.

Талант Платона Ойунского был сродни этому камню Сата, и он, словно богатырь из олонхо, бросил его в жизненный водоворот, чтобы изменить свою родину, повернуть в лучшую сторону жизнь простого народа. Он становится главным проводником идей мифологического сознания якутского человека, живущего в невыносимо жестоких природно-климатических условиях.

Платон Ойунский был продолжателем, преемником таких классиков якутской литературы, как Алексей Елисеевич Кулаковский-Ексеюлах (1877—1926), Анемподист Иванович Софронов-Алампа (1886—1935), Николай

⁹ Шишло Б. О силе якутского слова (доклад на научно-практической конференции в Париже 6 декабря 1993 г.) // Ойунская С. П. Светлое имя отца: Поэмы, эссе, статьи, воспоминания. Якутск, 1999. С. 38.



Денисович Неустроев (1895—1929), просветителей Василия Васильевича Никифорова-Кюлюмнюра (1866—1928), Гавриила Васильевича Ксенофонтова (1888—1938).

18 июня 1926 г. в опубликованном в газете «Кыым» прощальном слове об А. Е. Кулаковском Платон Ойунский называет Ексеюлях Елексея «отцом художественного Слова (творческого слова)» и подчеркивает его роль в культуре Якутии:

Ексеюлях Елексей не только поэт, он исследователь древней якутской истории. Якутский народ потерял лучшего поэта, первого исследователя из якутов... Умер Ексеюлях, но остались его исследования, значение которых из года в год будет только расти. Написанные стихи, напетые тойуки, исполненные песни — из века в век в народе саха будут передаваться, изучаться.

Память о рождении, жизни и творчестве Ексеюляха осталась, творческим словом преобразенный лик его не исчезнет, не умрет...

Пусть исполнится Ексеюлях Елексея завещание: «Творческое слово засияет!!! Слово проникновенное воспламенится!!!»

Ексеюлях Елексей — прощай!!!!¹⁰

П. А. Ойунский в 1920—1930-е гг., когда начинал вплотную заниматься научным изучением олонхо, особый интерес проявлял к вопросу о происхождении якутов и к их древней системе верований. Этот интерес, на наш взгляд, был продиктован его восприятием олонхо как источника устной истории народа и религиозных взглядов якутов. Он рассматривал эти вопросы в работах «Якутская сказка (олонхо), ее сюжет и содержание» в 1927 г., «Происхождение якутов» в журнале «Чолбон» в 1928 г. В конце 1920-х гг. он обращается к вопросам религии. В 1928-м публикует в «Чолбон» статью «О происхождении шаманизма», а в 1930 г. брошюру «О происхождении религии» с уточняющим подзаголовком «Злой дух-бог, дух-божество (творец), удаганка-шаман». Эти работы были написаны на якутском языке и, судя по всему, предназначались для широкого круга читателей, то есть в них ставились не только исследовательские задачи, но и просветительские. В этих работах П. А. Ойунский излагал свою теорию о происхождении шаманизма и якутских верований.

В самом начале 1930-х гг. в творчестве Ойунского наступило, если можно так выразиться, время олонхо. Первым он в 1930 г. заканчивает «Туйаарыма Куо Светолицую». Потом в 1930—1932 гг. настал черед главного олонхо народа саха — «Ньургун Боотур Стремительный», состоящего из более чем тридцати шести тысяч стихотворных строк. Первая песнь его вышла в печать в том же 1930 г., а вторая и третья — в 1931 г. В конце последней песни он укажет дату: «1932 г. 3.VII».

Сегодня «Ньургун Боотур Стремительный» воспринимается как символ самоидентификации народа саха. В олонхо мы находим ответы на многие вопросы, касающиеся веры, воспитания, нравственности и морали. П. А. Ойунский удивительно точно угадал потребности якутского народа в условиях отрицания православной религии и воинствующего атеизма. Олонхо — это источник веры и нравственности.

В жизни Ойунского были две главные темы: автономия и олонхо. Автономия — это была идея, изменившая самосознание народа саха, мир саха. Поэтому она имела ключевую роль в повороте населения Якутии к Советской власти. А архетипы олонхо способствовали объединению якутов в нацию.

¹⁰ Перевод автора статьи.

Платон Ойунский был очень душевным, ранимым человеком. Романтическим и пылким. Иначе он бы не написал свои гениальные произведения и не добился бы невозможного — статуса автономной республики для Якутской области.

Так Платон Алексеевич Ойунский (1893—1939), потомок старинного рода шаманов-ойунов, становится знаковой фигурой современной якутской культуры, художественного слова и науки. Он писатель, поэт, ученый, политик, мыслитель — и наравне с Максимом Аммосовым (1897—1938) и Исидором Бараховым (1898—1938) по праву считается одним из основателей государственности современной Республики Саха.

Платон Алексеевич был первым председателем Совета народных комиссаров Якутской АССР (июнь 1922 — январь 1923) и председателем Центрального исполнительного комитета Якутской АССР (январь 1923 — июль 1926).

Сибирь в судьбе Платона Ойунского

Возвращение произведений Платона Ойунского широкой читательской аудитории начинается после его реабилитации постановлением Прокуратуры ЯАССР от 15 декабря 1955 г. и восстановления 25 января 1956 г. в правах члена Союза писателей СССР. Пятнадцатого февраля 1956 г. на заседании секретариата Якутского обкома КПСС была образована комиссия по изучению литературного и научного наследия П. А. Ойунского и подготовке к изданию его избранных литературных и научных произведений под председательством Василия Протодяконова-Кулантая, тогдашнего председателя Союза писателей Якутии.

Первая подборка стихотворений Платона Ойунского после реабилитации выходит в № 6 (ноябрь—декабрь) журнала «Сибирские огни» за 1956 г. под рубрикой «Поэты народов Сибири». В переводе Александра Лаврика были опубликованы три стихотворения П. Ойунского: «Песня Свободы», «Железный конь» и «Я метко стреляю...». Эта скромная публикация имела решающее значение для начала общественной реабилитации писателя. Переводчик, поэт, прозаик, журналист Александр Григорьевич Лаврик (1915—1979) к тому времени более двадцати лет проработал в Якутии и переводил произведения якутских авторов.

Примерно через год, в декабре 1957 г., журнал «Новый мир», который редактировал тогда Константин Симонов, публикует статью кандидата филологических наук Иннокентия Пухова «Платон Ойунский (1893—1939)» и подборку стихов Ойунского разных лет, состоящую из восьми произведений. В 1959—1962 гг. вышло в свет подготовленное самим Ойунским шеститомное собрание сочинений, оттиски и корректура которого, сделанные в 1938 г., были чудом сохранены. Так началось возвращение имени Платона Ойунского в общественное сознание, хотя и в усеченном варианте. Вплоть до 1990-х гг. многие факты умалчивались, он подавался только как поэт-революционер, большевик, один из организаторов автономной республики. До окончательного возвращения было еще далеко. Оно наступит только в начале 1990-х.

Сибирь имела в судьбе Платона важнейшее значение как культурный и интеллектуальный мост, соединяющий восток страны с Центральной Россией. Идеи и взгляды сибиряков повлияли на его общественно-политические и творческие устремления. С Сибирью его связал город Томск, где он учился с сентября 1917-го по май 1918 г. в Томском учительском институте. С марта по май 1918-го он — инструктор по организации советской власти Томского



губернского совета. В июне он возвращается в Якутск в качестве инструктора Центросибири по организации советской власти в Якутии. После свержения советской власти в Якутске в октябре возвращается в Томск и до мая 1920 г. работает учителем Казанской начальной школы.

Томск был притягателен для молодежи сибирских народов как крупнейший научно-образовательный центр, кузница кадров для всей русской Азии. Как подчеркивает исследователь О. К. Абрамов: «Томск в начале XX в. становится одним из центров революционного марксизма. Молодежь оказывалась под всплеском сильнейшего идеологического воздействия, агитации и пропаганды. Что повлияло на выбор судьбы многих из них»¹¹. С Томском связаны имена трех лидеров сибирских национальных республик: Платона Ойунского, а также бурят Элбека-Доржи Ринчино (1888—1938) и Михея Ербанова (1889—1938).

Участие в общественно-политической жизни Томска укрепило убеждение Платона о возможности автономии для Якутии. В письме от 21 сентября 1917 г. он рассуждал:

В томской общественной жизни и общественных мнениях нет определенной политической физиономии, а есть одно вечное колебание между настоящим и неизвестным будущим, между случайностью и неопределенностью. Жизнь общества исходя из общества становится для общества непонятным, туманным призраком, и нет конца недоумению и недоразумению общества. Граждане товарищи! Революция, вышедшая из глубины народной массы, убаюканная народным невежеством и темнотой — очень ужасна, ибо многомиллионный народ, как буря на океане волнуясь, своим течением заглушает их голоса, которые до революции и бури — ярким светочем горели на горизонте новой жизни, и получается горькое растворение великих в море малых. Мы дожили до такого момента, в котором следует напрягать все свои силы и способности и стать на защиту свободы и полноправия граждан и гражданок Русской республики перед бурей реакции, и в частности Якутской области, ибо идет теперь во всей Республике мощное течение национального самоопределения на началах федеративной автономии всех народностей. Главное внимание вы должны обратить на автономию Сибири, где инородческие населения все идут навстречу полной автономии Сибири и национальному самоопределению на федеративных началах. Мы, якутская молодежь в г. Томске, в центре главного научного образования Сибири, горя желанием принести пользу своему родному краю и народу, сочли своим долгом объединиться между собою и организовать национальный якутский центральный кружок и работать на благо родного края, чувствуя, что в данное время нужны и крайне необходимы работники для ведения дел нового нашего земства, для правильной постановки дела народного и национального образования и для поднятия уровня экономического благосостояния якута. Поэтому задались целью организовать центральный кружок, где могли бы наши товарищи подготовиться теоретически к практической работе, и работать практически самому, и проявлять первые дары деятельности и талантливости на заре нашей жизни, и быть посредником между нашим народом и другими сибирскими инородческими племенами, будущими нашими соратниками в делах процветания международного блага и союза общесибирских племен. Мы ищем нравственной и материальной поддержки родной земли, чтобы наши намерения были горячо поддерживаемы родным народом и чтобы повсюду ратники нашего дела, задавшиеся нашими идеями, организовались в националь-

¹¹ Абрамов О. К. Молох ГУЛАГа: сходство судеб трех лидеров сибирских национальных республик (Платон Ойунский, Элбек-Доржи Ринчино, Михей Ербанов) / О. К. Абрамов // Тоталитаризм и тоталитарное сознание. Томск, 2015. Вып. 13. С. 106—120. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000514173>.



ные кружки и имели с нами сношение для близкого духовного объединения и для поддержки друг друга, чтобы пышно возродилась наша родная культура на заре новой свободной жизни — человечества, чтобы началась у нас эра новой жизни, жизни творчества и самостоятельности.

6—17 октября 1917 г. в Томске прошел первый Сибирский областной съезд, избравший Сибирский областной совет. Съезд постановил, что Сибирь должна обладать всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти, иметь Сибирскую областную думу и кабинет министров. Предусматривалась возможность преобразовать Сибирь в федерацию.

Платон участвовал 6—15 декабря в работе Чрезвычайного Сибирского областного съезда, принявшего решение о необходимости «приступить к организации временной сибирской социалистической власти» и с этой целью назначившего на 8 января 1918 г. открытие Сибирской областной думы. Для подготовки открытия думы съезд избрал Временный Сибирский областной совет во главе с Г. Н. Потаниным.

Именно в Томске Платон пишет процитированное выше письмо — своеобразный манифест, в котором он изложил свои взгляды на происхождение, культуру и исторические перспективы якутского народа. Возможно, с высоты сегодняшнего дня не все в этом письме покажется верным. Но его размышления интересны не только исторически, в них проявляется позиция будущего литератора и ученого, человека, который будет определять направление государственной политики в сфере искусства, культуры и науки. Ойунский, которому тогда исполнилось всего 24 года, открыто объявляет о своей готовности взять ответственность за будущее народа, за просвещение народа, культуру и науку. В дальнейшем он шаг за шагом будет воплощать в действительность эти свои воззрения. Время выявит и тех, кто будет думать и действовать в духе его «манифеста», кто вольется в коллектив единомышленников, — и противников, открытых и до поры до времени тайных.

Следующая его встреча с Сибирью связана с самым знаменитым произведением писателя — песней-олонхо в четырех действиях «Красный Шаман». Оказавшись волею судьбы в Томске, а позже став учителем в селе Казанка, Платон Слепцов, тогда совсем еще молодой человек, уже успевший познать вкус победы и горечь поражения, но не сдавшийся, начал одно из самых своих трагических произведений и работал над ним в течение семи лет. Написание Платона вдохновили его боль и думы о времени, о судьбе своего народа, очертания его будущего пути, казавшиеся ему тогда ясными и четкими.

Одно из самых значительных произведений Платона Алексеевича, «Красный шаман» стал визитной карточкой якутской литературы (естественно, за исключением семнадцати лет запрета и умолчания). Удивительно, как социалистический реализм мог присвоить себе это произведение, мало что общего имевшее с его теориями! Возможно, помогла мысль товарища Сталина, сказавшего, что пролетарская культура должна быть «национальной по форме, социалистической по содержанию». Эта самая национальная форма не раз спасала произведения Ойунского от бдительных партийных цензоров, но самого его спасти не смогла...

Не все было гладко у «Красного Шамана» уже в начале пути. Ойунский обвинялся во всех грехах, но сумел одержать победу над своими противниками, «северными рапповцами». Отвечая на статью Кюндэ «Фатализм, мистицизм и символизм в произведениях якутских писателей» в газете «Автономная Якутия» от 17—18 марта 1926 г., он пишет сатирическое стихотворение «Похо-



ронный марш Ойунскому», опубликованное в 1929 г. Он описывает, как на его «похоронах» выступают Кюндэ, Элляй и Абагинский, сменяя друг друга и торжествуя, что теперь-де они лучшие из поэтов. Но приходит перевоплотившийся в Красного Шамана дух Ойунского, который, превращаясь в рабочего и красноармейца, декламирует выдержки из стихов «покойного». В конце стихотворения один из героев произносит: «Скажут — опять фатализм? Скажут — опять символизм? Скажут — опять мистицизм? Слушать это, кажется, приятно, — что еще услышим дальше? Не будут же, словно кукушка, повторять одно и то же?!» Позже Ойунский напишет великолепный образец статьи-памфлета «Литературные спекулянты», высмеивая критиков устного народного творчества, особенно олонхо. Он опубликует его в № 2 за 1930 г. журнала «Кыһыл ылык» — и докажет свою правоту выбором народа.

Драма — или, по определению автора, «олонхо-тойук» — «Красный шаман» впервые была опубликована отдельной книгой на якутском языке в 1925 г., а в 1930-м вышла с предисловием автора в переводе на русский язык А. Боярова и П. Черных-Якутского. За два года до этого, в 1928-м, с этим переводом, вернее, с его подстрочником познакомился Максим Горький. Горький был в Якутии одним из самых популярных и авторитетных русских писателей. Было важно каждое его слово, тем более если оно касалось якутской литературы. Прочитав переводы на русский язык «Красного Шамана» и поэмы «Ангел и Дьявол» Анемподиста Софронова-Алампы, он дал им высокую оценку. В 1928 г. в приветствии I Съезду литераторов Сибири он упомянул и процитировал якутских писателей:

Не зная языка бурятов и якутов-саха, я, наверное, все-таки понял бы прекрасное чувство, вложенное неизвестным мне поэтом-саха, автором поэмы «Кысыл Ойун» вот в эти слова:

Пришла пора
Зажечь неугасимые костры
Пламенной свободы
По всем тернистым тропам
Бедственной жизни Земли.

И услышал бы слова А. И. Софронова, поэта якутов:

Настал желанный день
Расплодить по всей Земле
Бесконечное добро!

Приветствие было опубликовано в газете «Правда» 20 апреля 1928 г. Почему же Максим Горький выбрал именно творчество якутских писателей? Мы знаем, что он был знаком с Якутией через ссыльных, а также через известного якутского предпринимателя и издателя Алексея Алексеевича Семёнова (1882—1938), с которым подружился. Первая встреча с якутскими писателями Петром Черных-Якутским и Алексеем Бояровым состоялась в 1928 г. и была связана с именем Платона Ойунского. Черных-Якутский задумал перевести на русский язык и опубликовать поэму «Красный Шаман» в планируемом Горьким сборнике национальных писателей. Благодаря переводу Боярова и Черных-Якутского творчество Ойунского и через него якутская литература становятся известны Горькому и не только ему.

Обратимся к воспоминаниям народного писателя Якутии Николая Мординова-Амма Аччыгыйа:

Чрезмерно ретивые в рапповские времена якутские критики неистово цап-рапали Ойунского за его превосходную поэму «Красный Шаман». «Архаизм, символизм, шаманизм, мистика» — как только не крестили они эту поэму! И вот в самый разгар шумихи 20 апреля 1928 года в «Правде» появляется приветствие Горького литераторам Сибири, где была высоко оценена эта поэма, с которой всеведущий Горький был уже знаком по подстрочному переводу. Критики, разумеется, сразу притихли, но спустя год-два взялись «изобличать» Ойунского в «безыдейности» за его титанический труд по воссозданию якутского героического эпоса-олонхо «Ньургун Боотур Стремительный»... Как часто родная Москва спасала нас от нас самих!¹²

В то время писатели Сибири предпринимали попытки объединиться в творческий союз, но этого не случилось из-за идейных разногласий и давления из Москвы.

Съезды сибирских писателей проходили дважды. Первый прошел в октябре 1925 года: у литераторов, группировавшихся вокруг «Сибирских огней», возникла мысль о создании единой организации сибирских писателей. Образовалась инициативная группа, а затем оргбюро, которое, используя связи журнала, создало 12 групп во всех крупнейших городах Сибири. В марте 1926 года в Новосибирске открылся Первый съезд сибирских писателей. Участники съезда утвердили устав и «платформу» Сибирского союза писателей, объединившего более ста литераторов. На съезде были рассмотрены коренные проблемы дореволюционной и современной литературы Сибири, решены многие организационные, издательские и правовые вопросы. Несмотря на отдельные недостатки в работе и решениях съезда, он явился, по общему признанию, рубежом, переход которого знаменует начало организованного строительства литературы.¹³

В Якутии не было организовано отделение Союза, и нет свидетельств участия якутских писателей в сибирском писательском движении тех лет. С другой стороны, мы можем констатировать, что Платон Ойунский был в курсе всей этой истории по созданию Союза. Он, будучи наркомом просвещения, в 1928 г. высказал мысль об объединении писателей в статье «О мероприятиях по развитию якутской национальной культуры», опубликованной в Бюллетене НКПЗ ЯАССР: «Считать необходимым объединение всех литературных сил края в единый союз писателей во главе с научно-художественным Советом, а также считать необходимыми командировки в центр на повышение квалификации особо заслуженных лиц». Возможно, на эту его позицию повлияла и идея сибирских писателей.

«Неистовство и мощь, живущие в огне...»

Шаман, да еще Красный! Естественно, это сразу приковывает внимание читателей. Почему же Платон, член большевистской партии, взялся за переосмысление места и роли шамана в якутском обществе? В этом проявилось его глубокое понимание души своего народа, его истории и культуры. Весь окружающий мир якутами воспринимался через шамана, связывавшего людей с миром

¹² Мординов Н. Е. Живой наш современник // Слово о Платоне Ойунском. Якутск, 1985. С. 39—40.

¹³ Литература Советской Сибири // Западная Сибирь: география, города, природа и природные зоны [Электронный ресурс] URL: <http://sibering.ru/history-of-siberia-siberia-during-the-construction-of-socialism/beginning-of-the-socialist-reconstruction-of-the-economy-1926-1928-gg/160-references-soviet-siberia.html> См. также: Яранцев В. Литература Сибири или сибирская литература? // Сибирские огни, 2013, № 11.



духов, вызывавшего не только трепетное уважение, но и страх. Шаман, несмотря на массовое принятие якутами православной веры, занимал очень большое место в сознании народа. Выводя в песне героя-шамана, который преобразается на глазах читателя, Платон не ошибся. «Красный Шаман» сразу же вызвал живой интерес в народе, у Платона появилась масса поклонников. Видимо, тогда же он принял окончательное решение о перемене своей родной фамилии на Ойунский. Сочинив на взлете революции «Красного Шамана», он приобрел в глазах народа тот образ, который вполне соответствовал его реальным делам и планам, наполнял их сакральным смыслом.

И еще один интересный штрих к пониманию творческого метода Ойунского. Сохранились воспоминания Реаса Кулаковского, сына Алексея Кулаковского-Ексеюлях, в которых он упоминает очень важный, на наш взгляд, случай. Когда Реас учился в младших классах, в село Черкёх приехал Платон Алексеевич. Реас решил взглянуть на него. Днем к нему ходило много народу, и юноша выбрал вечернее время, чтобы никого рядом не было. Когда он обходил дом, в котором остановился Платон Алексеевич, ему послышалось камлание шамана — а шаманить мог только сам Ойунский. Это заставило Реаса отказаться от своего замысла, он решил не испытывать судьбу и убежал играть с мальчишками. По прошествии нескольких лет он услышал, как бабушки Маайа и Сюекюлэ обсуждали: «В свой приезд к нам Ойунский писал “Красного Шамана”. И во время разговора или чаепития он вдруг начинал напевать, камлать по-шамански»¹⁴.

Трудно сказать, пробовал ли он входить в образ или это были более серьезные позывы, идущие из глубин его подсознания.

Неистовство и мощь, живущие в огне!
 Неведом был язык ваш вещей мне...
 Черед пришел — раскрылась суть моя:
 Четвертый год, как стал шаманом я.
 Четвертый год, как я увидел сон...
 Чьим чудодейством был тогда я осенен?¹⁵

Начинается поэма с того, что шаман сидит на черно-белом клетчатом ковре — не образ ли это мира как шахматной доски, знакомый многим культурам? Звучит величавая песня-олонхо: «Сумерки летнего ненастного вечера. Гремит гром, сверкают молнии. Возле шалаша, опустившись на одно колено, стоит Красный Шаман. Он повернул лицо к востоку, рука его опирается на бубен. Под ним черно-белый клетчатый ковер». Далее Красный Шаман начинает петь заклинание:

Стоя над миром восьмидорожным,
 Стон его слыша ухом тревожным,
 Зная коварство сил его темных,
 Зренья даруя глазам угнетенных,
 Все свои думы связав с бедняками, —
 В сердце народа вдохнул ли пламя
 Яростной битвы с гнетом, с обманом
 Я, именуемый Красным Шаманом?

¹⁴ Вспоминаю меня...: Воспоминания о П. А. Ойунском / Отв. ред. С. П. Федосеева. Якутск, 2003. С. 99.

¹⁵ Здесь и далее цитируется перевод «Красного Шамана» В. Корчагина по кн.: Ойунский П. Стихотворения и поэмы / Сост. Н. Сивцевой. М., 1993. С. 83–113.



Для Ойунского мир, как и шахматная доска, «восьмидорожен», для человека в нем открыты многие пути, но только один из них ведет к постижению правды. По прошествии времени уходит в небытие поверхностное восприятие драмы как описания революционных событий 1917—1920-х гг. «Красный Шаман» — ни в коем случае не политический памфлет, а произведение на вечные темы любви к людям, власти, долга, чести, веры.

Начав писать «Красного Шамана» в 1917 г., Платон Ойунский постепенно вырастает из революционных «пеленок», становится великим поэтом якутской земли, страны олонхо, которую сам и создавал своими произведениями. Его стихи приобретают философскую основу. По определению литературоведа Василия Протодьяконова, «Красный Шаман» — это философская драма, размышления о месте человека в Среднем мире, о его созидательной и разрушающей безднах, о борьбе двух начал, светлого и темного, о двуединой сути человека.

Поступками и делами Шамана автор передает свое видение и понимание мира. Голосом Красного Шамана он говорит о сути жизни на земле:

Горем мир наш гложется,
Горе в мире множится...
Счастья в мире не найдешь,
Счастье — сказки, счастье — ложь...

Черство небо... Небо глухо...
Человек! Не падай духом!
Из-под молний, из-под града,
Из кровавой тьмы и смрада,
От порога бездны черной
Отрывайся, обреченный!
Стон прерви, почувствуй силу,
Стань орлом, взлети к светилу —
И вкуси лучей сиянье
И победы ликованье
Вылей в выдохе последнем!
Вот спасенье в мире Среднем...

В этих словах весь Ойунский — великая и трагическая фигура XX в. Поэт и революционер. Писатель и публицист. Романтик и прагматик. Идеалист и материалист. Созидатель и государственный деятель. Борец за самоопределение и за единство. Для него вся его жизнь есть борьба, а борьба — это не только физические, но и душевные усилия. По сути, как понимает Красный Шаман, борьба — это душевные усилия и воля, направленные на преодоление преград, это столкновение разных интересов и мнений. Но в конечном счете борьба, как показывает Ойунский, есть и взаимодействие противоположных мнений, их творческое развитие в философском смысле. Получается, что борьба, и это очень важно, — источник развития, движения вперед. В конце драмы герой не умирает физически, а отказывается от своей шаманской силы, которая преобразовывается в другую, более отвечающую тогдашнему общественному запросу силу.

По определению культуролога и философа Алексея Радугина, «русские символисты (Вяч. Иванов, А. Белый, В. Хлебников, ранний А. Блок) провозгласили сознательную, теоретически оформленную установку на миф, фольклор, архаику, корнесловие»¹⁶. И якутский символист Ойунский неотделим в своих

¹⁶ Радугин А. А. Культурология. М., 2001. С. 225.



взглядах от их позиции. Своим «Красным Шаманом» он вступает в спор о Сверхчеловеке, популярной теме среди представителей Серебряного века. Этот спор он продолжит в другом своем крупнейшем, но уже прозаическом произведении «Кудангса Великий».

Драма завершается тем, что Красный Шаман избавляется от своих шаманских атрибутов: облачения, бубна и колотушки. Практически все, что происходит с Красным Шаманом, воспринимается как сотворение нового мира, мира без угнетения и притеснения человека. Вместе с тем происходит и преобразование самого человека. Красный Шаман понимает, что сотворение нового мира и преобразование человека — это не так-то просто. Размышления на эту тему Платон Ойунский продолжит спустя десятилетие в своих прозаических произведениях, написанных в 1935—1937 гг. Отметим только, что он к этому времени пересмыслит многие свои взгляды на мир вокруг, на место человека в этом мире, в том числе на свое предназначение.

Грани таланта: последнее десятилетие жизни

Последние 10 лет жизни Ойунского связаны с созданием таких произведений, как «Столетний план», «Великий Кудангса», «Александр Македонский», «Соломон Мудрый», «Кэрэкэн», с его деятельностью на постах наркома просвещения, председателя правления Союза писателей Якутии, научной работой и защитой диссертации.

1927 г. считается поворотным в судьбе Платона Ойунского. Известный ученый-топонимист М. С. Иванов-Багдарыын Сьюльбэ в статье «П. А. Ойунский после 1927 года» аргументированно анализирует «Кудангсу Великого», «Александра Македонского», «Большевика» и приходит к выводу, что Платон Алексеевич после 1927 г. во многом пересмотрел свои взгляды, что «это уже не Ойунский 1917 года»¹⁷. Его позицию поддерживал председатель Союза писателей Якутии, народный писатель Якутии Софрон Данилов. Важнейшим событием, повлиявшим на взгляды Ойунского, несомненно, стало принятое в 1928 г. решение ЦК партии, обвинявшее в национализме руководство республики. Из Якутии были изгнаны Максим Кирович Аммосов и его соратники, лишённые права возвращения на родину в течение десяти лет.

Платон Ойунский уходит из власти чуть раньше. В июле 1926 г. он оставляет пост председателя Центрального исполнительного комитета Якутской АССР и уезжает на лечение в Москву до 1928 г. Нам сложно судить об истинных причинах этого поступка еще до решения ЦК 1928 г. Но очевидно, что отход от государственных дел оказался благоприятным и плодотворным не только в творческом и научном отношении. Это дало ему возможность и время подумать, переосмыслить прошлое и настоящее, соотнести все происходящее в стране со своим видением, с той мечтой о грядущем, которая стала для него десятилетие назад путеводной звездой. После возвращения в Якутск назначение его 6 января 1928 г. наркомом просвещения и здравоохранения ЯАССР не становится возвращением во власть. Эта должность слишком мала для реализации его планов, для масштаба его личности. Но Ойунский и здесь остался Ойунским. За короткий срок он успел сделать много полезного и нужного для республики. В эти неполные два года он погружается в практическую организационную ра-

¹⁷ Иванов М. С.-Багдарыын Сьюльбэ. П. А. Ойунский после 1927 года // П. А. Ойунский: Взгляд через годы. Новосибирск, 1998. С. 64—75.



боту в сфере просвещения, здравоохранения, социального обеспечения, и это открывает новые возможности, например, для того, чтобы перенести проблему изучения якутского языка и письменности на более высокий государственный уровень. Для него было важным решение таких хозяйственных вопросов, как строительство школ, которых катастрофически не хватало, укрепление базы медицинских и просветительских учреждений, работа по отделению хотонов (помещений для скота) от жилья. Также стояла задача ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Платон Алексеевич занимался и такими перспективными вопросами, как вопросы интенсивной подготовки кадров для различных отраслей хозяйства. Созданная им комиссия в 1930 г. направила на учебу в центральные вузы 223 человека. В том же году в Иркутском пединституте открылось якутское отделение.

Для Якутии 1927 г. стал годом ожесточенных споров о будущем республики. Весной началось выступление группы П. В. Ксенофонтова за повышение статуса республики до союзной, за пропорциональное представительство якутов в Совете национальностей СССР и органах республиканской власти, за отделение партии от государства и предоставление большего самоуправления местным органам власти. 28 сентября было заявлено о создании Младоякутской национальной советской социалистической партии конфедералистов. Выступление Ксенофонтова и его соратников, известное как «восстание конфедералистов», или «ксенофонтовщина», было жестоко подавлено в начале 1928 г. Историк Е. П. Антонов отмечал:

Повстанчество 1927—1928 гг. в первую очередь явилось следствием национальной политики, проводившейся местными партийно-советскими органами. С узурпацией власти в стране генеральным секретарем ЦК ВКП(б) И. В. Сталиным и началом формирования тоталитарной империи статус автономии для ЯАССР фактически утратил свое подлинное содержание и превратился в пустую декларацию. После заключения Союзного договора 1922 года стали ущемляться права не только личности, но и целых наций, начала осуществляться политика сверхцентрализации, складываться сталинская унитарная система «автономий». Открыто проявлялся шовинизм русских чиновников в партийно-советских, административных и хозяйственных органах, расцвели бюрократизм, взяточничество и «комчванство».¹⁸

Надвигался 1928-й — год особой комиссии Яна Полуяна и упомянутого нами постановления ЦК ВКП(б) «О положении в Якутской организации», которое стало поводом для обвинений местной интеллигенции в контрреволюционной деятельности, национализме, шпионаже в пользу Японии и т. д.

В такой обстановке летом 1927 г. Платон Ойунский завершает рассказ «Великий столетний план», первое литературное произведение в якутской литературе, написанное в жанре утопии. Этим рассказом Платон Ойунский вводит в якутскую литературу образец нового жанра, переплетает мифологическое мировосприятие, присущее якутам, с новыми веяниями в литературе. В этом состоит авангардность этого рассказа и в целом творчества Ойунского. Сама фантазмагоричность сюжета олонхо, его эпический стиль с легким налетом сарказма, гротескности вдохновили Ойунского на создание этого рассказа, который он сам назвал «зарождающимся олонхо». Очень важно понимать, как мне

¹⁸ Антонов Е. П. Движение конфедералистов в Якутии (1927—1928 гг.) // Сибирская заимка. История Сибири в научных публикациях [Электронный ресурс] / <http://zaimka.ru/antonov-rebel/>



кажется, что, когда автор пишет о «зарождающемся олонхо», он имеет в виду олонхо именно как синоним жизни, будущего. Вернее, это будущее, которое было описано в олонхо и которое может стать реальностью, реализоваться в будущей жизни этого «громадного улуса».

В этом рассказе, современном олонхо, речь идет не только о прообразе будущего, где все свершилось, исполнились все мечты — устами героя рассказа автор рисует это будущее в виде поэтапного плана, показывает в процессе становления и реализации. Это — идея будущего. В каком-то смысле это рассказ-идея, идея всеобщей свободы и всеобщего счастья. Олонхо здесь — это метафора самой жизни. Это зарождающаяся жизнь, новая страна, новая республика.

Если воспринимать олонхо как память о золотом веке в истории якутов, то новое олонхо Ойунского — это олонхо о грядущем, его предвидение. Таким образом, описывая то, что по плану «исполнительного комитета» будет происходить через каждое десятилетие, Платон Алексеевич в тревожный и для республики, и для него лично год решается на предвидение будущего.

Следователи НКВД в 1938 г. нашли в этом небольшом рассказе повод для обвинения. Вот как он ими был воспринят: «В художественной литературе протаскивал буржуазно-националистические троцкистские взгляды, например: в воспоминаниях “Прошедшие дни и годы”, в новелле “Столетний план” и т. д.»¹⁹ Оказывается, взгляды не только оппозиционные, но и антисоветские, антигосударственные. Таковы были стандартные обвинения чекистов, и невозможно было что-либо им доказать. Только в 1955 г. Ойунского оправдали: в документе на имя секретаря обкома КПСС С. З. Борисова, озаглавленном «Заключение» и подписанном прокурором ЯАССР Шлепаковым, министром внутренних дел ЯАССР Подгаевским, министром юстиции ЯАССР Кочайцевым, председателем КГБ при Совмине ЯАССР Горбатовым и его заместителем Ильясовым, было указано: «То, что в своих произведениях “Прошедшие дни и годы”, “Столетний план” протаскивал троцкистские идеи, является неправильным. Изучением настоящей комиссией перевода на русский язык указанных произведений установлено, что в них не содержится ни троцкистских, ни других контрреволюционных идей»²⁰. Рассказ был, как и автор, «реабилитирован».

В качестве наркома республики Платон Ойунский формирует политику в области культуры и искусства. Его позиция выразилась в статье «О мероприятиях по развитию якутской национальной культуры», опубликованной под рубрикой «В порядке обсуждения» в 1928 г. в «Бюллетене Наркомпросздрава ЯАССР». В ней он определяет «общие принципы» культурной политики или, как он выразился, «первоначальные пути развития национальной культуры и национального искусства». После ухода в 1929 г. из наркомата он работал председателем и ответственным редактором Якутского государственного издательского общества «Якутгосиздат», затем директором Якутской государственной типографии. После прихода в Якутский госиздат Ойунский много сил отдавал публикации именно научных трудов.

Лето 1928 г. он провел в родном Таттинском улусе, а лето 1929-го — в Олёкминском районе, где участвовал в распределении земельных наделов. В 1931 г. Ойунский выезжает с семьей в Москву и поступает в аспирантуру НИИ национальностей при ЦИК СССР.

¹⁹ Калашников А. А. Из памяти народа не вычеркнут...: Публикация документов // Якутский архив, 2003, № 2, с. 17.

²⁰ Там же, с. 24.



В 1934 г. состоялся I Всесоюзный съезд советских писателей. Основой для этого стала принятая 23 апреля 1932 г. программа ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». На съезде было объявлено о приверженности советских писателей принципам социалистического реализма. Их озвучил Максим Горький: правдивое изображение действительности в ее революционном развитии, сочетание исторической конкретики с героикой и романтикой. Во главу угла были поставлены идейность, партийность и народность. Эти принципы стали базовыми для программ всех творческих союзов, пришедших на смену ликвидированным творческим объединениям 1920-х.

Якутских писателей на съезде представляли Платон Ойунский и Николай Мординов-Амма Аччыгыйа. На съезде Ойунский был избран членом правления Союза писателей СССР. А 2—11 декабря 1934 г. в Якутске была проведена Первая Всеякутская конференция писателей. Якутские писатели также объединились в единую организацию и избрали своим руководителем Ойунского, находящегося в Москве, с его согласия.

Новое творческое объединение собрало не только писателей — по настоянию Платона Ойунского в него включили и народных исполнителей-олонхосутов. В Союз писателей были приняты народные певцы и импровизаторы Н. А. Абрамов-Кынат, И. И. Бурнашев-Тонг Суорун, Д. М. Говоров, С. А. Зверев-Кыыл Уола, Е. Е. Иванова, Н. И. Степанов-Ноорой, М. Т. Шараборин-Кумаарап, П. П. Ядрихинский-Бэдьээлэ и др. Это было знаковое решение для всей якутской культуры. Ойунский получил поддержку, признание своих убеждений, своей роли как объединителя, моста между двумя разъединившимися, казалось, мирами: советским и мифологическим. Союз стал реальной трибуной для реализации творческих устремлений и планов.

В 1936—1937 гг. Ойунский пишет серию статей о будущем якутской словесности. В 1935 г. в качестве председателя комитета нового алфавита готовит доклад «О якутском языке и путях его развития». В нем он обосновывает свое видение дальнейшего развития языка.

Сомнения — вещь совершенно естественная для писателя, для человека, который ищет свой путь, свой почерк. Ойунский не был исключением. В поисках ответов на свои сомнения и вопросы он обратился к истории. И написал три произведения, которые с течением времени вызывают все больше и больше вопросов. Их объединяет главная мысль: гибельность личной, ничем не ограниченной власти. Как предупреждение, как предостережение.

В 1929 г. Ойунский завершил «Кудангсу Великого», одно из самых загадочных своих произведений. Однако аллегорические, полные тайных смыслов и предсказаний, не до конца понятые произведения в его творчестве не ограничиваются «Кудангсой Великим». Это и «Красный Шаман», и «Александр Македонский», и «Соломон Мудрый», и «Кэрэкэн», и олонхо «Ньургун Боотур Стремительный». Но «Кудангса Великий» имеет другое значение, более эпическое — именно как произведение, соединившее мифологические представления народа с новой мифологией XX в. В самом его начале автор задается вопросом:

Когда, с каких пор имеющий облик человеческий достославный саха впитал
в свою аюлу, горячую кровь, в свой белый, бурлящий мозг неугасимое пламя
спора-раздора между голодным и сытым, между рабом и господином и одержим
тем неимоверно?²¹

²¹ Здесь и далее перевод «Кудангсы Великого» и «Александра Македонского» А. Борисовой.

По распространенному мнению, в «Кудангсе» иносказательно говорится о событиях 1917-го — конца 1920-х гг.: Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война, культ личности, борьба с врагами народа, репрессии. Через образы мифологии автор выводит предупреждение власти: пагубен путь, когда в жертву приносятся невинные. По сути дела, он выносит приговор складывающемуся культу личности Сталина. Обожествление возмнившего себя владыкой простого смертного — культ личности приводит к самоистязанию, самоубийству власти и народа. Кажется, что Ойунский зашифровал здесь свое понимание политики Сталина, свое предсказание будущего развития страны и бесславного конца такой политики. Как же он решился на такой шаг? Думаю, он обращался в будущее, к тем поколениям, которые смогут понять скрытый смысл произведения. Все его сомнения и предчувствия, что руководство страны идет не тем путем, выразились в этой аллегорической притче. «Кудангса Великий» в 1929 г. открыл триаду его философских, историко-мировоззренческих произведений. В 1935 г. Платон Алексеевич закончил «Александра Македонского» и «Соломона Мудрого». Удивительно, что «Александр» был опубликован в газете «Кыым» в 1937 г. Власть и кровавая война не приносят победителю счастья. Показателен последний разговор с самим собой Александра Македонского, блестящего победителя, великого царя, восхваляемого своими вельможами:

«Мое счастье — счастье кровавого оружия, в чем же умысел счастья того? В чем польза его?» — подумал так он, но не произнес вслух... Постепенно утихла острота обуйавшей его радости, притупилось ощущение торжества и значения одержанной им победы, на глазах улетучились, превратясь в дым, обратясь в туман, пока совсем не исчезли... Горько досадуя, оперся на кровавое оружие свое Александр Македонский: «Знание правды — стало моим проклятием... Предавая беспощадному огню государства этого мира, подвергая их безжалостному разрушению, проливая кровь людей, изводя на корню их родовой, я взберусь на вершину мира, воткну, торжествуя, острием вниз верный меч свой, оставив за собой кровавый, полный проклятий след... В том — мое счастье!» — так подумал он и принял это как свое проклятие, незабываемое в веках, и затаил в сердце незаживающую рану... Не вынеся боли от раны той, умер он в совсем молодые годы... Так сказывают с далеких-давних времен люди.

Платон Ойунский — человек, который был непосредственным участником победы нового строя на огромной территории на северо-востоке страны, — пишет философски и исторически обоснованный приговор новому царю — генсеку Сталину. Он понимал, что у него нет сил вырваться из этого царства насилия и лжи, и спешил предупредить потомков, сказать свое слово о пагубной дороге, по которой шла страна.

Поэт не смог приспособиться к конъюнктуре власти, постоянно меняющейся установки и лозунги в угоду новому царю. Да, он пел дифирамбы новому строю, как в статье, опубликованной в «Литературной газете» в день открытия сессии Верховного Совета СССР. Но он выполнял некий необходимый ритуал и, уверен, так и относился к этим своим вынужденным поступкам.

К 1930-м гг. Платон Алексеевич при всей кажущейся импульсивности научился сдерживать свои эмоции и юношеские порывы. Его научила такому поведению жизнь, порою безжалостная и жестокая не только лично к нему, но и к его близким и друзьям. И все же в те годы чувство обреченности время от



времени прорывалось в его стихотворных произведениях. Сознательно отказавшись от государственного служения, он отдал всего себя осмыслению природы власти. Эти его прозрения — во многом посыл будущим поколениям. Он не только стремился предвидеть будущее, но и упорно трудился, приближая его. Создал и развивал три общественных института: книжное издательство, Союз писателей, Институт языка и культуры, которые сохранили якутскую культуру, искусство и духовность. Его художественное осмысление природы власти привело к жестокому выводу: власть, ставшая бесконтрольной, приводит к диктаторскому правлению и репрессиям. Он рассматривает жизнь как борьбу, как противостояние власти и интеллекта, свободного человеческого духа. Обо всем этом говорят «Кудангса Великий», «Александр Македонский», «Соломон Мудрый» — и еще «Кэрэкэн».

Он спешит исполнить еще одну свою миссию — основать научно-исследовательский институт. К этому времени Платон Алексеевич готов был посвятить себя служению науке. Ради этого он оставил свою работу в Якутске и поступил в аспирантуру НИИ национальностей при ЦИК СССР. В 1935 г. он успешно защитил диссертацию на тему «Якутский язык и пути его развития».

Аспирантуру он окончил блестяще. Английский язык сдал на «хорошо», а все остальные предметы на «отлично». Защита кандидатской диссертации Платона Алексеевича стала событием для якутян, живущих в Москве. Многие из них, в том числе студенты, присутствовали на защите Ойунского, болели за него. Защита, по свидетельству Д. Лазарева, тоже прошла блестяще, он на все вопросы отвечал обстоятельно и подробно, а в конце, поблагодарив преподавателей, прочитал свои стихи на русском языке.²²

Труд Ойунского «Якутский язык и пути его развития. Русско-якутский термино-орфографический словарь» был опубликован в 1993 г. в третьем томе избранных сочинений после большого перерыва. Первая его публикация состоялась в 1935 г. в Москве.

Наступил 1937-й. Осенью началась небывало масштабная кампания выборов в Верховный Совет СССР. Платон Ойунский 4 октября был выдвинут несколькими коллективами, в том числе родного Таттинского улуса, кандидатом в депутаты Совета национальностей Верховного Совета. У простого народа жила надежда, что депутат будет защищен от произвола репрессивных органов. Казалось, что звание депутата защитит народного любимца Платона Ойунского, пламенного поэта-революционера, от ложных обвинений. Он шел на выборы с надеждой еще раз внести свой вклад в развитие и процветание родного народа. Он ощущал опасность, которая нависла над ним. Сохранились воспоминания очевидца, участвовавшего во встрече с кандидатом в депутаты. Платон Алексеевич был очень тронут встречей земляков в Таттинском улусе. Он поблагодарил за поддержку и даже, не выдержав, всплакнул.

Ойунский сказал, что никогда не забудет проявленную доброту, теплую встречу, что когда-нибудь постарается оплатить сторицей, и вдруг замолк, у него выкатились слезы, долго простоял, замолчал. Достав платок, протер глаза и очки, тяжело вздохнув, успокаиваясь, продолжил, и далее его речь полилась свободно.²³

²² Лазарев Д. П. Умнуллубат кэрэ киһи // Мин аатым ааттаныа...: Воспоминания о П. А. Ойунском. Якутск, 2003. С. 276–277 (на якут. яз.).

²³ Воспоминания ветерана войны и труда А. В. Захаркина // Талба Таатта, 2013, № 3, с. 72 (на якут. яз.).

Предчувствие, которое тревожило его, как потом окажется, не обманет.

Выборы состоялись 12 декабря. За Платона Ойунского из 26 536 избирателей проголосовало 14 859 человек, то есть он получил 56 процентов голосов. 29 декабря дома собрались друзья, товарищи, чтобы проводить Ойунского на сессию Верховного Совета в Москву. Сессия открылась 12 января, а закончила свою работу 19 января 1938 г. Платон Алексеевич несколько дней поработал в издательстве над своим сборником сочинений. 25 января телеграфировал супруге: «27 января выезжаем, деньги получил, целую. Платон».

3 февраля 1938 г., Иркутск. Гостиница в центре города. Платон остался один в своей комнате, сказав, что отдохнет. Он словно ждал ареста. И действительно, в 17 часов его арестовали, не дав никого предупредить и передать семье прощальные слова. Что это было? Чекисты действовали в родной стране как какие-то заговорщики. Ведь пройдет не один день, пока правда дойдет до семьи и до народа, так горячо его полюбившего за годы становления новой власти.

Распоряжение об аресте было подписано заместителем наркома НКВД М. П. Фриновским без санкции Верховного Совета СССР и прокурора. Наступило 3 июня 1938 г. На городской партийной конференции прозвучало как гром среди ясного неба: «Платон Ойунский — враг народа!» Этот день стал самым черным днем в жизни дружной и любящей семьи Ойунских.

Почти в течение года Ойунский содержится в Москве, во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке. Известно, что его допрашивал лично Ежов. Платон Алексеевич говорил Николаю Субурускому в якутской тюрьме: «Тот, кому не пришлось пройти через мои допросы, тот не представляет, что это за допросы».

Принимается решение этапировать его в Якутск. Из Москвы в начале 1939 г. его везли в отдельной камере в арестантском вагоне с конвоем полтора месяца. Ойунский находился в якутской тюрьме с 18 марта по 31 октября 1939 г., до самой смерти. Жизнь Платона Ойунского оборвалась в тюремной больнице в Якутске.

Остались его произведения, его предвидение:

Мы все, родившись, солнце видим,
Мы все, родившись, встретим смерть,
И я умру — мой прах исчезнет,
Травой мой холмик прорастет,
Но мной оставленные песни
В столетях сохранит народ.²⁴

Он был пламенем, словно камень Сата из мифологического мира олонхо. Слово писателя — всегда живое и сродни огню, дающему свет и тепло. Его сердце и душа были открыты. Он воспринимал мир как бесконечную боль и воспламенялся неистово, чтобы изменить мир к лучшему.

²⁴ П. Ойунский. Из стихотворения «Прощай». Пер. И. Дремова.

Михаил ХЛЕБНИКОВ

В ОЖИДАНИИ ТОПОТА «БОЕВЫХ ЛОСЕЙ»

Вышедший в начале века роман А. Иванова «Сердце Пармы» практически мгновенно обрел литературное признание, став предметом не только профессионального разбора, но и послужив поводом для многочисленных обсуждений в среде его (по)читателей. Одной из тем стал вопрос об использовании в романе «боевых лосей», на которых «шаманы-смертники» мчались в атаку на воинов московского князя, пожелавшего присоединить к своему растущему и крепнущему царству пермские земли. Многочисленные историки с энтузиазмом, переходя границы правил «научных дискуссий», доказывали невозможность «сомнительной» сцены, ссылаясь на документы, свидетельства археологических исследований и прочие «неопровержимые данные науки». Но бешеные рейды парнокопытных настолько прочно вплавлены в романное пространство («а лоси все скачут и скачут»), что отделение «реального» от «нереального» представляется просто невозможным. Подобный сплав историчности, фэнтезийности и психологической точности в описании внутреннего мира героев рождает эффект «удвоения достоверности». Внешне нереалистичные, «волшебные» элементы повествования парадоксально подтверждают истинность и внутреннюю непротиворечивость всего пространства текста. Понятно, что уральский писатель не является первооткрывателем подобных приемов, освоение и внедрение которых следует отнести к на-

чалу прошлого века. Пунктирно обозначим ряд авторов, формально относящихся к разным стилистическим и культурным практикам, но использующих подобные сюжетные и повествовательные ходы. Это Л.-Ф. Селин, Г. Грасс, Г. Г. Маркес, Д. Фаулз, М. Павич, П. Зюскинд, Мо Янь.

Позволим себе небольшое теоретическое отступление, объясняющее востребованность и даже необходимость подобных приемов в современной литературе. То, что мы называем реализмом в различных его вариантах: от критического до социалистического, имеет общее основание — претензию на объективное воссоздание действительности. Литература, как и искусство в целом, пыталась преодолеть условность, склонность к идеализации, чрезмерную авторскую субъективность. В наиболее чистом виде воплощение принципов подобного толкования реализма мы можем найти в натурализме, оказавшем огромное воздействие на литературу Франции, Англии и США. Писатель тогда уподоблялся исследователю, методично переносящему на страницы книги полученные и обработанные им «научные», «объективные» данные. Но, как часто это бывает, именно наука прервала триумфальное шествие «научной» литературы и привела к общему кризису реализма в искусстве. Например, развитие фотографии нанесло практически фатальный удар по портретному и пейзажному жанру. Художники были

вынуждены искать иные способы выражения и отражения мира, лишенные «фотографической точности». Импрессионизм, символизм, абстракционизм, «искажая», «преломляя» картины действительности, позволили художникам заявить, а потом и утвердить ценность и самодостаточность индивидуального творческого мировосприятия.

Схожие процессы мы наблюдаем и в литературе. Развитие и распространение средств массовой информации поставили писателя в заведомо невыгодное положение. Как бы быстро он ни реагировал на веяния эпохи, его реакция запаздывала по сравнению с газетными и журнальными статьями, читатели которых довольствовались полученной информацией без дополнительной «эстетической нагрузки». Литература начала прошлого века попыталась сформулировать несколько стратегий ответа на вызовы эпохи. Одна из них заключалась в полном погружении творца в текст, в их взаимной самодостаточности, подчиняющейся лишь субъективным авторским движениям. Ярким воплощением подобной практики выступает «Улисс» Д. Джойса — роман, подвиг написания которого сопоставим только с подвигом его прочтения. Действительно, для подобных текстов читатель — элемент факкультативный по сравнению с критиками и литературоведами, профессионально живущими за счет «интерпретаций», «деконструкций», «герменевтических прочтений» и прочих забав, недоступных обыкновенному человеку. Но последнему распаивают свои объятия «массовая литература», предлагая формально широкий, но одноразовый выбор «культурного продукта».

Между двумя этими крайностями и существует обозначенный нами тип литературы, имеющей как своего читателя, так и «издательское пространство». Реальность в этом типе литературы преобразуется под воздействием «фэнтезийного элемента», очищенного от присутствующих

этому жанру недостатков. Дело в том, что, каким бы внешне «суровым» и даже «жестоким», «игропрестольным» фэнтези ни было, в основе его лежит принцип эскапизма, приводящий к запрограммированному отказу от соблюдения бытийственной правды. Всегда найдется забытая руна, в нужный момент будет легко обойден какой-нибудь незначительный физический закон, связанный с функционированием времени и пространства. В нашем же случае «мифического реализма» «волшебные» моменты не уничтожают законы реальности, но подчеркивают, «онтологизируют» их.

Отражение Сибири в русской литературе, а потом и возникновение собственно сибирской литературы имели ряд своих особенностей, следующих как из социокультурного феномена Сибири, так и из специфики развития русской литературы. Упор делался на двух элементах: экзотико-этнографическом и социальном. Здесь вполне уместна параллель с американской литературой того же периода. Сравним картины освоения Дикого Запада, захватывающих приключений, столкновения сильных характеров — с «реалистическими» изображениями Сибири и ее обитателей.

С разной степенью бездарности и политической ангажированности читателю предлагался практически один и тот же набор образов и сюжетных ходов. Он включал в себя: ссылку-каторгу невинной жертвы судебного произвола или борца с «кровавым режимом», суровый, безжизненный климат, самодурство местной администрации, воплощенное в образе пьяного исправника, добрых, но забытых туземцев, угнетаемых упомянутым исправником. Мощная гуманистическая составляющая русской литературы на сибирском материале приводит лишь к созданию морально двусмысленных сентенций. Вспомним известное изречение Короленко из рассказа «Соколинец»: «Сибирь приучает видеть и в убийце че-

ловека». Афоризм содержит в себе мрачноватые инварианты, предлагающие, например, подозревать в каждом сибиряке убийцу. Естественно, что в соревновании «имиджей» Сибирь безнадежно проигрывала своему заочному заокеанскому конкуренту. Вспомним хрестоматийный рассказ Чехова «Мальчишки», герои которого — юные «искатели приключений» — планируют побег именно в Америку, страну «индейцев» и «бизонов», в которой «вместо чая пьют джин», игнорируя при этом наличие собственного «Дикого Запада». Символично, что в Америку герои собираются бежать как раз транзитом через Сибирь:

«— Сначала в Пермь... — тихо говорил Чечевичин... — оттуда в Тюмень... потом Томск... потом... потом... в Камчатку... Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив... Вот тебе и Америка... Тут много пушных зверей.

— А Калифорния? — спросил Володя.

— Калифорния ниже... Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом».

Однако все это сторонний и достаточно давний взгляд на Сибирь. А что же наши земляки и современники?

Показателен в этой связи пример такого незаурядного, пользующегося заслуженной известностью и в Сибири, и за ее пределами писателя, как М. Тарковский, — автора повестей и рассказов о суровой жизни обитателей Туруханского края. Именно там он и живет уже более тридцати лет — среди своих героев, примеряя на себя их быт, образ жизни. В одном из интервью Тарковский сравнивает писательство с охотой: правильно найденное слово или образ отождествляется с метким выстрелом. Высшим достижением творчества он называет «истинность детали», рождающую чувство доверия у читателя. И хотя содержание прозы Тар-

ковского далеко не сводится к бытописательству и этнографическим очеркам, тем не менее на новом витке развития мы получаем нечто сходное с, казалось бы, уже пройденными канонами позапрошлого века. Сибирь — как место добровольного, вынужденного ли изгнания, край испытаний и выковки характера.

Видимо, следует признать: борьба с негативным имиджем при помощи чисто реалистического письма приводит только к его частичной модификации и не может повлиять на кардинальную пересборку образа.

Отметим, что современные сибирские писатели осознают потребность в освоении новых повествовательных и сюжетных приемов. Зачастую это принимает экстравагантные формы. Молодой томский автор С. Буркин в 2006 г. выпускает роман с многообещающим названием «Волшебная мясорубка». Название не обманывает. И то и другое присутствует в романе. В обратной последовательности. Впрочем, он начинается как история о трех юных немцах, в 1944 г. призванных в гитлерюгенд. Новобранцы под руководством опытных наставников, которые им устраивают даже «домашние праздники», достойно, с огоньком овладевают азами военной науки. Автор сразу дает понять, что герои, «маленькие солдаты» — хорошие ребята и они не должны погибнуть в осаждаемом Кенигсберге. Тем более что ребята обладают еще одним примечательным положительным качеством: они любят котиков. Предполагается, что штурмующие столицу Восточной Пруссии к кошачьим равнодушны, поэтому молодой автор предпочел их не персонализировать.

Понятно, что такие замечательные персонажи, как Михаэль, Франк, Вилькене, вообще-то обречены, как это ни банально. Но их спасает котик — уводит в волшебную страну. О дальнейшем трудно говорить, укажем лишь на некоторых обитателей арийской Нарнии. В наличии:

добрый дракон, гномы, злой дракон, волшебники и, естественно, котики.

Подобный дебют не мог остаться незамеченным и неоцененным, и одноименной премии удостоился второй роман автора. А. Приставкин, вручая автору премию «Дебют», отметил сходство романа Буркина «Фавн на берегу Томи» с прозой Б. Окуджавы. Достаточно двойственный комплимент, учитывая некоторые особенности исторических романов последнего.

Уже из названия следует, что автор решил на этот раз скрестить мифическое с реальным на материале Сибири. Последняя появляется там далеко не сразу, отступая перед мистическим. Главный герой — учитель словесности Дмитрий Борисович Бакчаров, любовная лодка которого наткнулась на мель, отправляется из Польши в добровольное изгнание (опять наш навязчивый мотив) в означенную Сибирь. В поезде он знакомится с таинственным и непростым человеком. Об этом говорит хотя бы то, что сам незнакомец представляется как Иван Александрович Говно, хотя в его визитной карточке значится «Иван Александрович Человек». Иван Александрович, не будем уточнять фамилию, следуя правилам изощренной литературной игры сочинителя, сопровождает героя в его несколько унылых странствиях. Где-то он ведет себя как человек, где-то полностью соответствует тому, как он представился герою и читателям. За сибирский колорит отвечают: ямщик Борода — песенно богатый, громадного роста и в светлых лаптях, русалки, ведьма Зилимиха и тиф несчастного учителя, призванный сгладить сюжетные провалы. В этой связи известный критик Л. Данилкин не без тревоги информировал читателя о том, что «есть сведения, что перед нами лишь первая часть будущей трилогии».

Отметим, что Приставкин не зря сравнивал прозу Буркина с историческими романами Окуджавы. Автор не чужд

поэзии, один из образцов которой мы и приводим:

**Ах, кто это там, прячась
за розовыми кустами,
Со мной, ловцом коварным,
играет звонким взглядом?
Может статься, девочка
с оранжевыми губами
И прелестно мальчишечьим задом?**

Нужно сказать, что на этом эксперименты молодого автора со смешением условно «мифического» с «историческим» в рамках «серьезной прозы» заканчиваются. В дальнейшем он без особого энтузиазма пытался продолжить семейную франшизу «Остров Русь», начатую его отцом Ю. Буркиным в соавторстве с С. Лукьяненко в девяностых годах прошлого века. Продолжение еще раз, к счастью читателей, ограничилось только одной книгой.

Но мы не будем ограничиваться примерами не слишком удачного комбинирования названных элементов при наличии достаточно удачных проектов. Их мы видим в сегменте, внешне далеком от серьезной прозы. Прежде всего следует обратить внимание на такого раскрученного автора, как А. Бушков, — заслуженного многостаночника массовой литературы, автора десятков книг различных жанров: от фэнтези, уголовных романов до «исторических исследований». Несмотря на всю пестроту творчества писателя, в его основе находится концептуальное ядро — миф о Шантарске и Шантарском крае, прообразами которых выступает Красноярск и, соответственно, Красноярский край. Бушков не просто переименовывает реальные географические объекты. По сути, он создает свой вариант альтернативной, мифической истории Восточной Сибири, имеющей собственную хронологию и внешне совпадающей с историей России. Один из его серийных героев — Алексей Бестужев — исполнил мечту чеховских мальчишек, побывал в

Америке. Внешне отрабатывается положенный ковбойский репертуар: салуны, блондинки, грохот кольтов. Но весь приключенческий пафос нивелируется фактом съемок похождений Бестужева на камеру. Таким способом заправили рождающегося в те годы Голливуда хотели добиться эффекта присутствия, что неизбежно должно было положительно отразиться на кассовых сборах. В отличие от искусственных, целлулоидных американских «подвигов», в Шантарском крае героев Бушкова ждут настоящие испытания, где смерть приходит по-настоящему, без пистонных выстрелов и назойливого присутствия кинокамеры.

Бушков в цикле использует характерный прием, перемещая своих героев из реалистического хронотопа в одном романе в пространство мифическое — в другом. «Бесшовный» переход позволяет создать замкнутый самодостаточный универсум, персонажи которого «не замечают» расхождений двух его измерений. Конечно, мы не отрицаем родимых пятен массовой литературы, хорошо заметных в слишком обширном творчестве писателя. Это и облегченность психологических портретов героев, и явная шаблонность сюжетных ходов, как и «неожиданных» авантурных поворотов. Но наличие названных черт не делает множество других современных российских сочинителей популярными. Бушков сумел одной ногой шагнуть за границу массовой литературы — на территорию, позволившую ему занять особое место среди популярных российских авторов.

Нельзя сказать, что А. Бушков — единственный сибирский автор, удачно использующий приемы мифологизации в своем творчестве. Примеры подобного подхода мы находим в серии «Сибиряда» издательства «Вече». Сама серия — уникальное явление в отечественном книгоиздании. Уже больше десяти лет она знакомит читателя с книгами, посвященными истории Сибири, ее вымышленными и реальными героями. Среди десятков

авторов различной стилистической и жанровой направленности, разнесенных во времени и пространстве, мы можем найти писателей, алхимически экспериментирующих с историческими и фантазийными началами. К числу таких книг можно отнести романы В. Дегтярева «Золото Югры», «Охотники за курганами». Особенно это относится к последнему роману, в котором читателю предлагается весьма вольная интерпретация истории Сибири второй половины XVIII в. Сама завязка сюжета — попытка иезуитов использовать сокровища сибирских курганов для «окатоличивания» жителей Сибири — рождает вопросы относительно исторической достоверности романа. Но эти вопросы снимаются по мере знакомства читателя с историей противоборства князя Гарусова с эмиссаром ордена Полоччио-Колонелло. Совместное путешествие по Сибири посланца иезуитов и Гарусова, личного агента Екатерины II, с разбойниками, мистическими откровениями, зашифрованной картой сокровищ — все это и образует сюжет романа. Ради справедливости отметим, что автору не удалось достичь абсолютной гармонии в тексте, некоторые части которого, как, например, фольклорные изыскания, носят явно искусственный характер по отношению к повествованию. Но в целом благодаря соединению проработанного исторического пласта с его мифологической интерпретацией возникает внутренне непротиворечивый и одновременно многоуровневый авторский текст — источник читательского интереса к книге.

Подводя итоги, отметим, что мы не собирались создавать «формулу сибирского бестселлера», главное в котором, конечно, талант автора, что невозможно рецептурно выписать в критической статье. Речь идет о вероятном пути его создания, отвечающем запросу времени. Главная, почти детективная интрига: кто и как реализует накопленный сибирской литературой потенциал?

В ПОИСКАХ ГЛАВНОГО СМЫСЛА

Кожухов И. А. Когда взойдет солнце. Рассказы. — Новосибирск: Редакционно-издательский центр «Новосибирск» НПО СП России, 2017. — 320 с.

Для автора, который сравнительно недавно появился на литературной арене, три сборника прозы — это немало. Имя Игоря Кожухова сибирские читатели впервые услышали в 2015 г., когда в «Сибирских огнях» был опубликован его рассказ «Дедова правда», а вскоре вышла и первая книга «Булемина любовь». Через год последовала вторая — «Последняя коммуна». И вот у меня в руках третья — «Когда взойдет солнце», изданная в ушедшем 2017-м. Автор продолжает тему российской глубинки, деревни, пережившей слом 90-х и выживающей в нашей рыночной современности, пытаясь при этом сохранить свои прежние ценности и основы. Как справедливо замечает в предисловии А. Горшенин, деревенских «чудиков» Кожухова прежде всего отличает духовный заряд и обостренность нравственного чувства. В условиях потребительского общества, погони за наживой эти люди, действительно, выглядят чужаковато, выбиваются из общего ряда. Таков, например, Егор — герой рассказа «Жить вопреки», которому даже родной брат пеняет на то, что он вдвое дешевле продает дрова некоторым односельчанам:

Григорий все больше и больше недопонимал Егора. Какая-то сердобольность, глупая и давно людьми в себе изжитая, сидела еще в нем и постоянно вмешивалась в их с Григорием дела. Правда же, то той бабке надо помочь, то те старики

очень скромно живут, или Дарья-брошенка с двумя детьми... Гришкину долю он всегда отдавал сполна, но сколько оставалось ему, Гришка не знал.

Но именно эта братнина черта помогает Григорию перенести внезапную смерть Егора, найти смысл в том, чтобы жить дальше. Вопреки чему? Не просто жизненным невзгодам, от которых не уберечься, как ни старайся, но еще и вопреки тому очерствению сердца и души, которое навязывает новая рваческая реальность.

Кожухов с большой теплотой показывает своих героев, не утаивая при этом их слабостей. Да, они простоваты и часто охочи до алкоголя, не очень грамотны и порой излишне доверчивы. Но при этом трудолюбивы, стойки, по-житейски практичны, заботливы по отношению к близким, земле, природе. Их кормильцы — поле и лес, их радость и исцеление — баня, а больше всего они боятся, как ни удивительно, не погоста, а больницы. В их мире свои приоритеты, своя логика, которая постороннему, городскому взгляду кажется странной, почти безумной. Герой рассказа «Родная душа» убежден, что душа его покойного брата, перед которым он чувствует неизбывную, мучительную вину, поселилась в младенце, родившемся по соседству, и забота о мальчике и его матери приносит ему облегчение. А деревенские персонажи рассказа «Статья» и вовсе поражают начинающего журналиста Артема: закручивают целый детектив, чтобы от молодого приезжего забеременела женщина, чей муж пропал без вести на второй чеченской войне.

И свекор этой женщины объясняет Артему на полном серьезе:

— Он придет, но мне-то скоро помирать, а внука нет. Нету! Кому все оставлю? — Он смотрел теперь опять в упор, уже сухими глазами. — Не думай, я не дурак и не пьяный. Внук будет! У него (сына. — Л. П.) осталась здесь девушка, она его любит до смерти. И поклялась ждать, сначала ему, а когда пришла бумага — мне, глупая. А теперь не хочет клятву нарушать, да оно и не с кем. Но я-то понимаю все! Еще пройдет немного — и она уже не сможет, а внук нужен. Помогите! А Федор придет, я сам, если что, с ним поговорю... — Он опять затрясся в плаче, стягивая со стола скатерть.

Эта семейная преемственность, непрерывность родовой нити очень важна для героев Кожухова. Его персонажи переживают внутренние кризисы, страдают от насилия, надрываются на работе, уезжают далеко от дома, попадают в больницу, но что бы с ними ни происходило — их душевный центр тяжести остается в семье. Какие бы разрушительные процессы ни шли в стране и даже во всем мире, главное — чтобы сохранялась любовь, верность, домашнее тепло, чтобы росли и были счастливы дети. Если беда проникает в семью — вот тогда, действительно, мир рушится, как это случилось с героем рассказа «Конец» Сергеем Петровичем. Он не винит ни неразумного любовника своей молодой жены, ни саму жену, которая смогла наконец в результате этой связи забеременеть. Но для него-то смысл жизни утрачен: он не только женщину потерял, но и все, во что верил.

В рассказе «Когда взойдет солнце?», который дал название всему сборнику, встречаются два, казалось бы, совершенно разных героя. Пожилой горожанин Федорыч, переехавший «на пенсию» в деревню, — поэт, бывший спортсмен, бывший начальник на производстве, немало нелепый, не очень практичный, мало понимающий в сельском труде. Егор — молодой деревенский парень,

умелец, хорошо ориентирующийся в лесу и быстро находящий выход в любой жизненной ситуации. Но есть и то, что объединяет этих непохожих мужчин. Во-первых, нравственное чувство. Когда в богемном кафе, куда герои случайно попали, некий поэт начинает скабрёзничать и говорить гадости о влюбившейся в него женщине, только эти двое одергивают его, нарываясь на скандал. А во-вторых, оказывается, что оба они ранены в душе неполнотой семьи. Отец Федорыча — летчик, кумир — ушел из семьи: «улетел однажды и не прилетел совсем». А у Егора — «жена без имени», с которой он расстался и о которой предпочитает не вспоминать. Эта рана делает их по-своему неприкаянными, похожими на корабль с оборванным якорем, а утраченная вера в любовь саднит и мучает. И в конце концов заставляет Егора с болью спросить:

— Ну скажи мне, Федорыч, когда люди поймут, что не надо совсем искать правду — она давно найдена! Она найдена, лишь понять ее надо, понять и принять. Да и жить, как всегда жили люди, в любви и вере! Когда-то будет такое?

Федорыч отвечает: «Скоро уже, Егор, скоро! Вот только взойдет солнце!..» В его словах больше горячей надежды, чем знания, и после прочтения рассказа, да и всего сборника, остается привкус горечи: сколько уже их было, таких людей, веривших в изначальную чистоту и гуманность человеческой натуры!.. Но как жить без этой веры?

В заключение хочется сказать несколько слов о составе сборника в целом. В него включены не только новые рассказы, но и ранние. С одной стороны, в этом есть свой резон, если их объединяет тема или настроение. С другой стороны, сразу видна разница в шлифовке: последние по времени тексты выглядят стилистически более неряшливыми, торопливыми, может быть, недостаточно отлежавшимися. А ведь должно быть наоборот: читатель

должен видеть, что мастерство писателя с годами возрастает, особенно учитывая то, что И. Кожухов пишет интенсивно, быстро наращивая литературский опыт. Хочется пожелать, чтобы следующая книга этого автора получилась более взвешенной, хорошо отредактированной и выверенной. Эмоциональный и нравственный заряд текстов Кожухова только выиграет от качественной огранки.

Складчина: литературный альманах / под ред. С. П. Денисенко и Л. В. Новоселовой. — Омск: Издательский дом «Наука», 2017. — № 42. — 382 с.

Первый номер омского литературного альманаха «Складчина» увидел свет в 1995 г., и вот мы держим в руках уже 42-й выпуск. Его предваряет вступительная статья С. П. Денисенко, посвященная памяти друга и соратника А. Э. Лейфера. В 2018 г. Александру Эрахмизовичу исполнилось бы 75 лет, но болезнь прервала его земной путь. О том, как много значил этот человек для литературной и общественной жизни Омска, как близок и дорог он был для многих лично, говорят посвященные ему стихи поэтов — участников альманаха. А. Э. Лейфер много лет был вдохновителем и составителем «Складчины», даже в самые трудные времена находил средства для ее издания. Когда такие люди уходят, их друзья и близкие чувствуют себя осиротевшими, и эта печальная нота ясно слышится в текстах, которые вошли в 42-й номер.

Но одновременно этот выпуск «Складчины» доказывает, что дело Лейфера продолжается. Под обложкой альманаха собраны произведения сорока авторов из Омска, Павлодара, Санкт-

Петербурга, Москвы, Новосибирска. Читатель найдет здесь как известные имена (Анатолий Авдеенко, Вероника Шелленберг, Виктор Богданов, Ольга Григорьева, Алексей Деккельбаум, Сергей Денисенко, Андрей Козырев и др.), так и новые.

Кроме прозы и стихов есть раздел «Критика и литературоведение», где помещены рецензии В. Физикова «Чем спасется душа?...» (на поэтическую книгу Г. Кудрявской «Ждала раскрытая тетрадь...») и В. Яранцева «Цепная реакция добра» (на книгу воспоминаний о М. Малиновском «Найти себя в себе самом...»).

Раздел «Публикации» подготовлен к 105-летию омского писателя В. Г. Уткова и открывается посвященной ему статьей С. Зальгина «Есть все-таки еще надежда на возрождение таких людей...». Здесь же можно прочесть очерк В. Уткова «Забытая история» о проекте строительства русско-американской телеграфной линии через Берингов пролив в середине XIX в. (публикуется впервые), воспоминания А. Э. Лейфера об Уткове и фрагменты их переписки. Кроме того, в этом разделе помещены не публиковавшиеся ранее стихи Леонида Мартынова.

В альманахе две цветные вклейки с фотографиями из семейных архивов А. Э. Лейфера и В. Г. Уткова, архивов Б. Метцгера и И. Турбиной, а также из фондов Омского государственного литературного музея им. Ф. М. Достоевского.

В конце альманаха приводится внушительная хронология литературных событий и мероприятий, организованных Омским отделением Союза российских писателей в 2016—2017 гг.: конкурсов, книжных презентаций, творческих встреч и др.

Лариса Подистова

Тамара ДРАНИЦА

АРКАДИЙ ГУТЕРЗОН

Аркадий Ильич Гутерзон (1922—1981) родился в г. Мозыре Белорусской ССР. С 1937 по 1941 г. учился в Витебском художественном училище у Л. М. Лейтмана, В. Я. Хрусталева. С 1945 г. жил и работал в Иркутске. Участник выставок с 1945 г. Член Союза художников СССР с 1957 г. Работы находятся в Иркутском и Новосибирском художественных музеях.

По-разному складывается посмертная судьба художников. Еще не освоенному, не оцененному в должной мере творческому наследию Аркадия Ильича Гутерзона суждена долгая и интересная жизнь. Значение искусства А. И. Гутерзона не только в широте познавательных устремлений и актуальности разрешаемых художником проблем нашей действительности. Подлинная ценность его лучших полотен заключена в правдивости выделенных характеров, в искренности авторского голоса, остроте внутреннего зрения, позволившего увидеть высокий смысл самых простых вещей и явлений.

Целостное в многообразии своих проявлений творчество иркутского мастера посвящено Сибири, ее природе и людям.

А. И. Гутерзон родился в Белоруссии в 1922 г. Едва окончив Витебское художественное училище, 18-летний юноша добровольно ушел на фронт. Тяжесть военных дорог, ранение, фашистская каторга, годы личного и творческого самоутверждения сформировали личность художника, определили социальный характер его поэтики.

Именно поэтому лирическая сторона дарования Аркадия Ильича, его способность к непосредственно-эмоциональному мировосприятию («Портрет отца»,

1957; «Геолог Коноплев», 1958; «Чабаны Афанасьевы», 1960), раскрывшиеся позднее, отступили перед гражданским пафосом работ 50—60-х гг.

Своеобразным художественным документом личной судьбы А. И. Гутерзона стала его первая картина «Возвращение к жизни» (1957). Традиционное по пластическому исполнению полотно воспринимается как индивидуальный драматизированный поток воспоминаний.

Портрет легендарного военачальника периода Гражданской войны в Сибири Нестора Каландаришвили (1960) можно считать этапным для художника произведением. Отдавая должное требованиям времени «сурового стиля», А. И. Гутерзон решает полотно в приподнято-романтическом плане, выявляя общие духовно-волевые качества исторической личности. Новая монументальная образность портрета предопределила новизну его формального решения: экспрессивно-жесткий пластический язык и резкую первооснову, «подачу» героя.

Названная тенденция продолжается в «Художниках Октября» (1967), «Богатырях Байкала» (1966), параллельно сосуществуя с другой, более характерной для зрелого стиля художника лирико-эпической образной трактовкой в «Прово-

днике геологов» (1964), «Золоте тайги» (1966), «Портрете участника Ленских событий И. Шибанова» (1969).

В «Портрете участника революции 1905 года и Октябрьской революции В. А. Кригера» (1957) наблюдается переход к более глубоким, развернутым характеристикам личности в ее многообразных связях с действительностью. Портрет современен не в формальном отношении, поскольку написан в живописной традиции «выразительной речи», со всеми вытекающими отсюда законами пластической конструкции произведения. В сопоставлении героя и окружающей его исторической обстановки (помещение Александровского централа) обнаруживаются сложные пространственно-временные контексты образа, раскрывается его внутренняя драматургия.

Позднее заметно трансформировались и сюжетно-тематические картины А. И. Гутерзона, в которых как бы материализовалась историческая память художника. В работе «Художник и солдат. Мелодия зимы» (1971) тема творческой личности тонко и ненавязчиво переходит в тему связи поколений: солдата наших дней и бывшего воина, призванных защищать просторы родной земли. Сходную задачу решает А. И. Гутерзон в «Памяти героев 1941 года» (1970). Но сама творческая тема, при всей визуальной наглядности трактовки, истолкована не столько лирически-повествовательно (как в предыдущем полотне), сколько символически-ритуально.

Гутерзон-лирик и Гутерзон-гражданин никогда не конфликтуют. А. И. Гутерзон — художник, который не впадает в громкую декларативность или лирический шепот, точно определяя равнодействующую между ними. Лирическое чувство художника всегда глубоко и полнокровно, а гражданственность поэтически проникновенна.

Эта золотая интонационная середина и гибкая, способная к саморазвитию пла-

стическая система, выстроенная на плавных линейно-ритмических конструкциях, согласованных в тональном колорите, нерезко выраженной первоплановости композиции, определили зрелый стиль А. И. Гутерзона 70-х гг.

Этот (к сожалению, последний) период творческой деятельности художника характерен и другими важными приобретениями: расширением тематики, появлением новых жанровых единиц — пейзажа и натюрморта, а также особого рода бессюжетных композиций обширного «байкальского цикла». Впрочем, сюжетная основа в произведениях существует, но не внешне, а как бы изнутри, растворяясь в общем поэтическом строе образа. «Над Байкалом туман» (1971), «Друзья» (1971), «Мои соседи на Байкале» (1975) — привлекают не внешним сюжетно-повествовательным значением, а глубиной философской мысли и поэтического чувства. Внутреннее содержание этих работ много шире видимой простоты мотивов. За внешней изобразительной канвой прочитывается идея неразрывной связи человека и природы, пребывающих в некоей единой духовной субстанции, утверждается нравственно-этическая ценность человека, осваивающего, преобразующего, оберегающего этот заповедный уголок земли. Отношение художника к изображаемому не отстраненно-созерцательное, а духовно-контактное. Поэтому, не навязывая своих суждений и выводов зрителю, А. И. Гутерзон заставляет проникнуться образно претворенной реальностью, поверить искренности авторского чувства, его представлениям о добре, долге, красоте.

Для многих современных художников Байкал служит постоянным источником творческого вдохновения, а для А. И. Гутерзона он был еще и по-настоящему родным домом (мастерская художника находилась в одном из самых красивых и уютных байкальских распадков). Байкал А. И. Гутерзона не потрясает вооб-

ражения своим размахом и стихийной силой. Как хозяину-старожилу этих мест, А. И. Гутерзону дорог каждый погожий, безветренный день, близка обжитая, укрощенная, добрая к человеку стихия («На Байкале праздник», 1972; «Байкал в декабре», 1972; «На Большую землю», 1970; «Зима в Листвянке», 1976; «Весенний Байкал», 1976; «Желтые лиственницы», 1971).

Ровным и глубоким дыханием природы наполнены и натюрморты художника. «Большая» и «малая» природа воспринимаются А. И. Гутерзоном пантеистически, как неделимые части прекрасного живого целого. Неслучайно автор использует «сквозной» принцип изображения, при котором пейзаж и первоплановый предметный мотив поддерживают, дополняют, раскрывают друг друга в пределах единого эмоционального живописного поля («Утренний чай», 1971; «Натюрморт с корзинками», 1975).

В полном гармоническом согласии с природным окружением протекает естественная и простая жизнь человека. Многочисленные портреты А. И. Гутерзона — «Женщина с острова Ольхон», «Забайкалец И. Трубочеев», «Редактор газеты Миронова» (все 1979 г.), «Лимнологи Байкала» (1970) и др. — подкупают редкой подлинностью человеческих характеров, которым свойственны, при всей их индивидуальной неповторимости, некие общие, типические народные черты. Избранный художником крупный план позволяет зрителю спокойно, неторопливо взглянуть в немолодые лица, прочесть в них сложную жизнь души, представить нелегкую жизненную биографию.

Тема Байкала была для А. И. Гутерзона главной, но не единственной. Художник стремился быть в эпицентре важнейших событий времени. Ряд полотен создан в результате творческих командировок на крупнейшие сибирские стройки: «Праздник на Саяно-Шушенской ГЭС»

(1975), «Молодая семья на БАМе» (1980), «Дорога на Усть-Илим» (1972).

Как художник с развитой историко-культурной памятью, А. И. Гутерзон находит эстетический идеал человека не только в настоящем. Совершая экскурсии в недавнее или далекое прошлое народа, художник не анализирует кульминационные моменты явлений и событий. В серии «Декабристы» («Художник-декабрист Н. Бестужев», 1974; «Декабрист М. Лунин», 1974; «По дорогам декабристов», 1977) художник обращается к морально-этической стороне проблемы. Историчность портретов Н. Бестужева и М. Лунина не в обилии исторического реквизита, ибо само понимание художником истории не абстрактно-отвлеченно, а жизненно-конкретно. А. И. Гутерзон не стремится к индивидуально-определенной характеристике людей. Это скорее образы-представления, возникшие в результате раздумий автора над личностями, судьбами, поступками первых русских борцов за свободу.

Проблема человека в контексте времени разрешается художником в одном из последних его произведений с символическим названием «Время» — «Портрете Курдюковых» (1979). Сопоставление пожилой супружеской четы и уникальных старинных часов не только объясняет их благородное увлечение и раскрывает духовную близость людей — содержание образа воспринимается в более широком философском плане нравственной оценки жизни, отданной людям.

Характерной особенностью произведений А. И. Гутерзона со времени его персональной выставки в Москве в 1974 г. стало усиление личностного начала, субъективизация художественных ощущений и понятий, сообщающих образу качество лирической исповеди. Особой уплотненностью чувств и настроений отмечены автопортреты. Анализируя собственную личность в различных жизненных и временных ипостасях («Ав-

топортрет с костылями», 1975; «Шесть этюдов», 1977), художник не боится открыть двери в мир собственной души, ибо глубина и полнота мировосприятия его взяты не извне, а выстраданы, обретены в сложной духовной борьбе за свое человеческое «я». Простота и убедительность подачи сложного жизненного материала свидетельствуют о подлинной свободе и зрелости образно-пластического мышления художника.

Позднему А. И. Гутерзону подвластны как узколичный, так и более широкий художественный самоанализ. Если внутренний диалог «Автопортрета с костылями» не выходит за рамки индивидуальной психологии, то образное содержание «Шести этюдов» раскрывается через сложную жизненную коллизию, через тему возвращения домой, к близким, в конечном счете — к самому себе...

Избранный художником мотив непрерывного «входящего» движения усложнил его пластический замысел. Сжатая, лаконичная манера лишена некоторой статичности более ранних работ. Разомкнутая, как бы незавершенная композиция, появление экспрессии в живописных элементах сообщили образному полю полотна особое напряжение. К чувству умиротворенной усталости после трудного дня примешивается нотка скрытой тревоги, драматического предчувствия, заставляющего человека острее и глубже видеть не только гармонию, но и диссонансы окружающего мира. В портрете нет внешней конфликтной событийности, но она подразумевается в контексте происходящей на наших глазах сцены, через которую прочитывается личность художника — требовательного к себе, предан-

ного любимому делу, ответственного за судьбу близких.

Двуединым ощущением красоты и драматической сложности бытия проникнуты поздние натюрморты и портреты художника. «Зимняя сказка» (1977) и «Реквием» (1978) решены в характерной для А. И. Гутерзона расширенной трактовке предметно-пространственного мотива. Первый из них — тонкая по настроению живописная элегия — обращен к интимному миру чувств и переживаний художника; другой, исполненный высокого драматического начала, — решен как пластическая аллегория. Почти стереоскопическая реальность форм, интенсифицированные цветовые контрасты придают образу трагедийную окраску. Но драматический накал «Реквиема», посвященного морякам, погибшим во время Гражданской войны в Сибири, лишен безысходности. В празднично-торжественном сиянии духовых инструментов, в густом серо-синем водном просторе есть жизнеутверждающее начало, поскольку продолжается жизнь, остаются дела и последователи погибших: старые капитаны («Два капитана», 1979) и молодые моряки («Байкальские моряки», 1980). А. И. Гутерзон воссоздает особый тип байкальцев, не уступающих своей человеческой статью морским волкам больших океанских лайнеров, дает сжатые укрупненные характеристики всегда готовых к действию людей.

Утверждению активного, созидательного начала человека, раскрытию его индивидуальной, духовной составляющей, отображению величественной природы Сибири была отдана до конца творческая жизнь и доброе сердце А. И. Гутерзона.



АВТОРЫ НОМЕРА

Башкуев Геннадий Тарасович родился в 1954 г. в Улан-Удэ. Окончил филологический факультет Иркутского государственного университета. Прозаик, драматург. Пьесы поставлены в театрах РФ и ближнего зарубежья. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Современная драматургия», «Сюжеты». Член Союза писателей России. Живет в Улан-Удэ.

Берязев Владимир Алексеевич родился в 1959 г. в Кузбассе. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор поэтических сборников «Окоем», «Золотой кол», «Мои Великого Скифа», «Посланец», «Тобук», «Кочевник», романа в стихах «Могота» и др. Живет в Новосибирске.

Бимаев Анатолий Владимирович родился в 1987 г. в пос. Солнечный Красноярского края. Окончил юридический факультет Хакасского государственного университета. Работал таксистом, риделтором, пресс-секретарем, копирайтером. Публиковался в журналах «Нева», «Сибирские огни», «День и ночь» и др. Живет в Москве.

Денисова Полина Александровна родилась в 1971 г. на станции Басандайка Томской области. Училась в Иркутском институте иностранных языков. Работала переводчиком с английского в интернет-журнале, дизайнером в багетной мастерской. Публиковалась в интернет-журнале «Новая литература». Живет в Рыбинске.

Драница Тамара Григорьевна родилась в 1948 г. в Улан-Удэ. В 1979 г. окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР. Искусствовед, старший научный сотрудник Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева. Живет в Иркутске.

Елизарова Наталья Владимировна родилась в 1977 г. в Омске. Окончила филологический факультет Омского государственного университета. Кандидат исторических наук. Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Прозаик, драматург, театральная критик, журналист. Печатались в журналах «Москва», «Огни Кузбасса», «Урал» и др. Лауреат ряда литературных конкурсов и премий. Живет в Омске.

Заплавный Сергей Алексеевич родился в 1942 г. в Чимкенте. Окончил историко-филологический факультет Томского государственного университета. Поэт, прозаик, публицист. Автор нескольких десятков книг прозы и поэзии. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Урал», «Наш современник» и др. Живет в Томске.

Злобин Владимир родился в 1990 г. в Новосибирске. Трудится разнорабочим. Лауреат премии журнала «Сибирские огни» 2017 г. Живет в Новосибирске.

Муханов Игорь Леонидович родился в 1954 г. в Бузулуке Оренбургской области. Окончил Самарский государственный университет и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Собирает фольклор, бурятского и алтайского фольклора. Публиковался в журналах «Дальний Восток», «Урал», «Сибирские

огни». Член правления Союза писателей Республики Алтай. Живет в Уймонской долине, Республика Алтай.

Палий Алексей Валериевич родился в 1975 г. в Николаеве. Окончил Государственную морскую академию им. Макарова. Публиковался в журналах «Звезда», «Волга», «Невский альманах», «Аврора», «Нева». Работает заместителем директора в транспортно-экспедиторской компании. Живет в Санкт-Петербурге.

Подисова Лариса Николаевна родилась в 1967 г. в Алма-Ате. Окончила Новосибирский государственный университет, филолог. Много лет преподавала русский язык и литературу, а также иностранный язык в школе. Стихи и проза публиковались в журналах «Новосибирск», «Невский альманах», «Дальний Восток», «Север» и др. Член Союза писателей России.

Радашкевич Александр Павлович — поэт, эссеист, переводчик. Родился в 1950 г. в Оренбурге, вырос в Уфе. В 70-х годах жил и работал в Ленинграде. Эмигрировал в 1978 г. в США, работал в библиотеке Йельского университета (Нью-Хейвен). В 1984 г. переехал в Париж, где работал редактором в еженедельнике «Русская мысль». В 1991—1997 гг. был личным секретарем великого князя Владимира Кирилловича и его семьи. Автор десяти книг поэзии, прозы и переводов. Член Союза российских писателей и Союза писателей XXI века, официальный представитель Международной федерации русскоязычных писателей во Франции. Стихи переведены на английский, французский, сербский, болгарский и арабский языки. Живет в Париже.

Сидоров (Амгин) Олег Гаврильевич — писатель, публицист, главный редактор журнала «Илин», председатель Ассоциации «Писатели Якутии», заведующий кафедрой журналистики филологического факультета Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Живет в Якутске.

Соловьев Алексей Сергеевич родился в 1980 г. в г. Буй Костромской области. Окончил Московский государственный университет путей сообщения. Работает в сфере железнодорожного транспорта. Живет в г. Буй.

Хлебников Михаил Владимирович родился в 1974 г. Кандидат философских наук. Автор книг «Теория заговора. Опыт социокультурного исследования» (2012) и «Теория заговора. Историко-философский очерк» (2014). Живет в Новосибирске.

Шахназаров Давид Александрович родился в 1979 г. в Москве. Окончил МГИМО. Публиковался в журнале «Новый мир». Живет в Москве.

Шелленберг Вероника Владимировна родилась в 1972 г. в Омске. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор восьми стихотворных сборников и книги эссе и стихотворений о Горном Алтае «Под присмотром орла». Публиковалась в журналах «Арион», «День и ночь», «Дети Ра», «Сибирские огни», «Урал», «После 12» и др. Лауреат ряда литературных премий. С 2017 г. председатель Омского регионального отделения Союза российских писателей. Живет в Омске.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 12.03.2018 г. Дата выхода № 4 за 2018 г. в свет 09.04.2018 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.